

Александр Кабаков

ПОХОЖДЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО
МУЖЧИНЫ



ВАТРУСКИ

Александр Кабаков

ПОХОЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

*в Москве
и других
невероятных
местах*

ВАГРИУС 

Москва 1993

ББК 84Р7
К12

Охраняется авторским правом. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается в соответствии с действующим законодательством без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 5-7027-0024-4

К 4700000000
С82(03)—93

Без объявл.

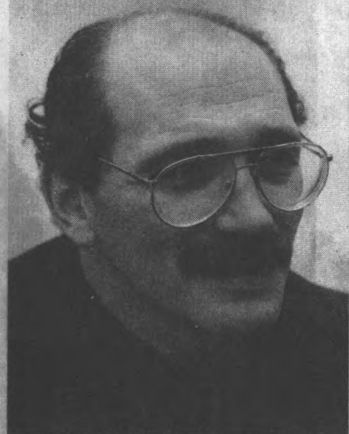
ББК 84Р7

© Александр Кабаков, автор, 1993
© Сергей Михайлов, оформление, 1993

Невозвращенец 9

Сочинитель 55

Самозванец 187



АЛЕКСАНДР КАБАКОВ
родился в 1943 году в семье
офицера-ракетчика.
Закончил мехмат
Днепропетровского
университета, работал
инженером в ракетной
фирме. Более двадцати
лет — профессиональный
журналист, в настоящее
время — заместитель
главного редактора
еженедельника «Московские
новости».

Первые рассказы
опубликовал в семидесятых
годах. Повести и романы при
советской власти не
издавались. Наибольшую
известность получил после
публикации
повести-антиутопии
«Невозвращенец» (1989),
вошедшей в эту книгу. По
мотивам повестей
Александра Кабакова сняты
фильмы, поставлен
спектакль.

Резьбярэны

Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих экспериментов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ, а коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью, — думаю, что недоверие со стороны читателей — если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся — полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь.

Великие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно, обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты немного сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недалновидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние бывали даже более опасны, чем зурядные негодяи, — наркотик тем более ужасен, чем естественней он включается в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно.

Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа, — не более чем реальная иллюстрация вышесказанной мысли.

Они явились прямо в институт.

В лаборатории зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос нашего начальника отдела кадров — сварливый голос в сущности уже довольно беззлобного вдового старика,

чьи наивные хитрости и интриги давно побледнели рядом с элегантным людоедством моих молодых и ученых коллег.

— Юра, — обратился он ко мне на “ты” по праву старшего, — зайди ко мне, пожалуйста.

— Попозже, — довольно небрежно ответил я. Идти через все здание не хотелось, к тому же на столе лежала куча неподписанных таблиц, а до обеда я решил обязательно полностью с ними разделаться. Старик же для меня давно не представлял никакой власти, даже по части характеристики: надо будет — так и без его благоволения подпишу и поеду... Но голос Аверьяна Павловича стал одновременно и тверд, и искателен почему-то:

— Зайди, я тебя ведь прошу. Сейчас зайди, слышишь?

Выражаясь гораздо более энергично, чем того заслуживала ситуация и чем принято при дамах — правда, у нас в институте, как и во многих такого рода заведениях, уже давно было принято и при дамах, — я отправился в кадры. Я вылез из-за стола, выскочил из лаборатории, слетел по короткой лестнице на пол-этажа и понесся по длинному коридору. Грязно-бирюзовые присутственные стены, вечно мигающие полусломанные лампы дневного света и архаические ковровые дорожки, застеленные полотном с грязными следами, придавали нашему институту вид самой что ни на есть заштатной конторы из глухо провинциальных. А между тем это был академический институт, и иностранные делегации изумлялись, не умея совместить проблемы, которыми мы занимались, имена и степени сотрудников с интерьерами институтских коридоров, а особенно буфета и уборных. Сортиры у нас были выдающиеся даже по отечественным меркам.

В кабинете у Аверьяна из-за гигантского сейфа мне навстречу поднялись со стульев двое. Один из них шагнул вперед и удивительно ловко произвел сразу несколько движений: правую руку он протянул для пожатия, на которое я машинально ответил, левой откуда-то вытащил и, развернув, на мгновение близко поднес к моему лицу довольно большое удостоверение, в котором я не успел прочесть ни имени-отчества, ни фамилии, ни должности — ничего, только организацию, тут же удостоверение спрятал и, не отпуская правой моей руки, своей левой повел в сторону то-

варища, невнятно назвав его, одновременно стал сам садиться, потянув и меня книзу, так что и я оказался на стуле. Тут же сел и второй, и вдвоем они образовали как бы коротенький полукруг, в фокусе которого сидел я.

Аверьяна, когда я оглянулся, в кабинете уже не было. Только валялись на его столе какие-то приказы да стояла полуоткрытая жестяная коробочка со штемпельной подушкой.

Я почувствовал, что лицо мое обрело давно не посещавшее его выражение. Мол, что ж тут такого, ничего особенного, мы люди опытные, понимаем все насквозь, и в визите таком нет ничего удивительного, дело естественное и даже необходимое, хотя, конечно, и не без комического оттенка... Примерно такое выражение: ну, ребята, давайте послушаем, чего вы расскажете...

— Юрий Ильич, — сказал, старательно улыбаясь, тот, что пожимал руку, — ну, пришли мы послушать, что вы нам расскажете.

Вопрос был удивительно прям и в то же время абсолютно бессмыслен. Поэтому мне и думать не пришлось, чтобы ответить.

— А собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше не расслышал... и товарища вашего...

— Игорь Васильевич! Это я виноват, голос у меня тихий, да и дикция не очень... Игорь Васильевич я. Простите уж нас, что отрываем... А это вот, прошу любить и жаловать, молодой наш товарищ, начинающий, можно сказать, стажер, я-то уж давно, а он начинает только. Сергей Иванович, его и без отчества можно, молодой еще, а мы думали-думали, к кому бы нам обратиться, и вот решили к вам, вы понимаете, мы, конечно, сначала все узнали, о вас люди, Юрий Ильич, исключительно с уважением отзываются, мы бы к другому еще раз пять подумали, прежде чем обратиться...

— И совсем бы, наверное, не обратились, — вставил Сергей Иванович. Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал.

— Ха-ха-ха, ох, насмешил, Сергей, ох... И конечно, ведь он прав, Юрий Ильич, и совсем бы не обратились, но вас здесь все в институте исключительно уважают, и руководст-

во, и так, знаете, рядовые товарищи, исключительно хорошие отзывы, и как специалист, и по-человечески, а нам ведь тоже не хочется к кому попало обращаться, люди, вы знаете, Юрий Ильич, разные есть, одного спросишь, а он и не знает ничего... Вы курите? Закуривайте.

Тут мы все втроем дружно закурили, причем они довольно долго рассматривали мою пачку сигарет и, переглядываясь, качали головами, так что и я внимательно ее осмотрел, прежде чем спрятать, но ничего не увидел.

— Юрий Ильич, — сказал, сделав серьезное лицо, молодой Сергей Иванович, — ну, мы пришли послушать, что вы нам расскажете.

— А собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше... Сергей...

— Иванович. Вы имена плохо запоминаете? Вот и Игорь Васильевич наш тоже... скажешь ему имя-отчество, а он тут же и забыл. Как, говорит, имя-отчество этого, что ты докладывал, Сергей? Я говорю — ну как же вы не помните, Игорь Васильевич, Джеймс Фрэнклин Лопатофф, а он говорит...

— Бывает, это бывает, Юрий Ильич, — перебил молодого Игорь Васильевич. — Но мы-то пришли послушать, что вы нам расскажете.

— Да, собственно говоря, о чем же я рассказать могу? Игорь...

— Васильевич. Это так уж у нас в роду и велось: я Игорь Васильевич, а отец мой Василий Игоревич был. А дед — опять Игорь Васильевич. Так и шло, понимаете?

— А меня в честь Есенина мать назвала, — тут же влез молодой. Мы снова все вместе закурили.

— Да, — сказал Игорь Васильевич, выпуская дым в сторону и отмахивая его рукой, — это вы, конечно, Юрий Ильич, просто из скромности на себя наговариваете.

— Что именно? — От третьей подряд сигареты во рту у меня было отвратительно кисло.

— Да вот, что у вас таланта литературного нет и тому подобное. Я ведь, вы сами понимаете, по службе все, что вы пишете, читал, но я, конечно, не специалист, так ведь и от специалистов слышал, что исключительный у вас литературный талант и язык очень богатый, правда, Сергей? Вот Сергей не даст соврать, он у нас исключительно честный, но

тоже скажет, что не только в вашем институте, а, может, и во всей Москве сейчас такого языка богатого ни у кого нет. И со стороны руководства о вашем языке самые положительные отзывы, и рядовые сотрудники очень уважают...

— Ну, при чем наш институт,— возразил я, потянувшись было за сигаретой, но раздумав.— Что у нас в институте в языке понимают? Институт-то ведь не литературы же и не русского языка...

— Нет-нет!— закричал Игорь Васильевич и весь подался на стуле вперед, так что пиджак его распахнулся, но он его немедленно запахнул.— Нет, и в институте, и вообще понимают, вы будьте уверены, ценят вас и знают, кому положено, конечно. Вот я вам такой пример приведу: написали вы, допустим...

— Ну что?— перебил я, потому что он меня уже довел этой пустой и полуграмотной лестью.— Ну что я написал? Рассуждение о связи между сущностью учения и формой проповеди? Или насчет иллюзий справедливости? И то и другое — самым сухим, самым казенным стилем...

— Ну, не только,— коротко буркнул Сергей Иванович и даже вроде обиделся по-детски.

— Правильно,— согнав постоянную улыбку, поддержал Игорь Васильевич.— Правильно Сергей говорит: именно не только, Юрий Ильич! Разве вы не можете написать высокохудожественно? Еще как можете. Если захотите нам помочь. Мы ведь думаем, что вы захотите нам помочь, правильно? Мы же вас не заставляем, Юрий Ильич, мы только просим: напишите. Вы же, наверное, не догадываетесь, а нам точно известно: такой поток серости идет сейчас в нашу отечественную литературу, такой поток!.. Ужас. А вы нам очень могли бы помочь.

— Нет, ребята,— сказал я и закурил.— Не понимаю, чем я все-таки могу вам помочь. Совершенно не понимаю. Мало того, что я чутья к слову не имею, я совершенно не умею выдумывать. Я считаю фантазию для порядочного экспериментатора абсолютно неприемлемым качеством и никогда ничего ни о ком выдумывать не буду...

— Вы нас обижаете,— сказал Сергей Иванович,— честное слово. Да разве мы вас просим выдумывать? Нам и в голову бы не пришло вас об этом просить...

— И в голову бы не пришло, — сказал Игорь Васильевич, — вы нас обижаете просто. У нас совершенно и редакция другая, мы фантазиями, или, как вы говорите, выдумками, вообще не занимаемся. Это у вас просто представление такое: раз мы — значит, фантазия, беллетристика, романы, ночные бдения, трагедии, как при Бальзаке...

— Или даже при Достоевском каком-нибудь, — добавил Сергей Иванович и чуть улыбнулся. — “Преступление и наказание” прямо. Это все уже давно прошло, Юрий Ильич, сейчас исключительно документальное всех интересует.

— Время другое, — серьезно закончил Игорь Васильевич.

— Но о чем же я могу написать?! — Тут и я засмеялся. Со стороны мы выглядели, конечно, совершенно одинаково. Коллеги-литераторы беседуют. “Я уже вполне усвоил их тон”, — с ужасом подумал я. — Ну, написать о нашей беседе, например? В лицах...

— Обязательно!!! — закричали они хором и, немедленно встав, кинулись пожимать мне руки. — У вас прекрасно получится. А мы уж позвоним, вы извините, как только напишете, так и позвоним... Счастливо вам! Прямо так и дайте, странички четыре-пять, на машинке, через два интервала, поля стандартные. Так и пишите: дескать, они явились прямо в институт, и так далее. А потом переходите прямо к главному: ночь, улица, фонарь, аптека, ну и так далее. Улицу-то знаете?

— Знаю, знаю, — отвечал я, пожимая руки.

— Ну, так и пишите: улица такая-то, почтовый индекс, если в центре, не обязательно... еще раз пожелаем всего хорошего!

— Давайте я вам пропуск подпишу, — сказал Сергей Иванович строго.

Игорь Васильевич высоко, до хруста заломил мне руку за спину и несильным пинком вытолкнул меня в институтский коридор. В коридоре было пусто, и только в дальнем конце светилась одна — ночная, дежурная — лампочка.

Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что

бил крупнокалиберный с бэтээра. Я вытащил из-под куртки транзистор и ненадолго — батарейки уже и так катастрофически сели — включил его. “Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета господин генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам Америки. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...”

Я выключил приемник и двинулся по Тверской. По обеим сторонам широкой, ярко освещенной луной улицы брели люди. По одному, по двое они шли от Брестского вокзала вниз, к центру. Все несли сумки, у многих за плечами были маленькие тощие рюкзаки — последняя предвоенная мода. И полы многих шуб, курток, пальто так же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес “калашникову” и вовсе — по ночному времени — открыто. Светила луна, и под ее светом ползли, извиваясь, серебряные нити снега, и время от времени нарастал шум, и проносился по самой середине мостовой легкий танк или, грохоча проржавевшими дырявыми крыльями, полузадохшаяся “Волга”, и шли по тротуарам люди — и легкий гул разговоров шепотом, дыхания, шарканья шагов стоял на улице.

Я вспомнил, как когда-то, давным-давно, а если точнее — ровно десять лет назад — я уже шел по ночной Тверской, тогда еще Горького, и цель моего путешествия была почти такая же, что и сейчас. Мне должно было

исполниться сорок лет, было позвано огромное количество гостей, была уже куплена водка, еще продавалась она совершенно свободно, и никто не опасался попасть в очереди у винного в облаву истребительного отряда угловцев, но вот не хватало нам с женой, видите ли, деликатесов к юбилейному столу. Нам казалось, что с продуктами в магазинах плохо, что на стол нечего поставить, что для того, чтобы достать еду, надо слишком много хлопотать... И мы решили сделать ресторанный заказ. И, проклиная наш постоянный дефицит всего, я шел по ночной улице в кулинарию этот самый заказ делать. У той знаменитой кулинарии с аналогичной целью собиралась большая очередь задолго до открытия. И как же я тогда возмущался! “Ночью! Очередь! За продуктами!” А в заказе чего только не было — кажется, даже мясо... или масло... уже не помню. Может, этого не было ничего. Может, мне приснилось это такой же лунной ледяной ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...

Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела — только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол, кинулся к знакомой двери — это был старинный дом, где прошло мое детство, — снова одно из тех многих совпадений, которым мы уже перестали удивляться в эти ночи. Дверь была, конечно, заколочена. Я рванул с шеи автомат, повернул и примкнул штык, подковырнул им доску...

В подъезде я был не один.

— Только стрелять не вздумай, — сказал хриплый голос, по которому не сразу угадалась женщина. — Ты на площадь?

— Ну, допустим, — ответил я осторожно. — Вы... вы где? Я не вижу здесь...

— Москвич, — вздохнула женщина, и мои глаза, притерпевшись, нашупали ее силуэт. Она стояла на площадке между первым и вторым этажами и выделялась на фоне сизого прямоугольника окна. — По выговору слышно, москвич. А я с Днепропетровска, как он теперь?.. С Катеринослава, ага. Вот приехала. А не знаешь, шо у вас тут, в

этой Москвѣ, можно достать какой-нибудь обуви или нема? Одна суета...

— Не знаю, — ответил я гораздо суше, чем даже хотел. — Я не интересуюсь обувью.

— А шо ж вас интересует? — перешла на “вы” женщина. Она спустилась по лестнице, подошла поближе. — Прикурить у вас будет?

Я прислонил автомат к стене, достал зажигалку, чиркнул. Огонек осветил склоненное женское лицо, сигарету, пальцы...

— Ой, спасибо, — сказала женщина, выпустив дым первой затяжки. Огонек зажигалки еще дрожал. Снизу, от моих ладоней, женщина подняла на меня подсвеченные им глаза. Именно такое лицо я и ожидал увидеть — сколько уже видел я их, этих южных красавиц, налетавших в столицу еще в те полузабытые времена, когда стояли они в очередях за сапогами, не рискуя налететь на выстрелы веером из подворотни напротив, на жестокую проверку Комиссии, на толпу одурелых двенадцатилетних бензинщиков... Сколько раз обманывался этими сухими, точно и тонко прорисованными лицами, сколько раз попадался на эту комбинацию паночки и модели из хорошего журнала!..

И снова, во тьме последнего сникшего огонька зажигалки, поплыло передо мной это вечное лицо захватчицы — прямой короткий нос, обтянутые скулы, широко раскрытые, серьезные и ласковые глаза.

— И шо ж сегодня на той площади будет? — задумчиво, как бы сама у себя, спросила приезжая. — Надо сходить...

— Сегодня понедельник, — сказал я. Магия уже действовала, и вся моя доброжелательность вместе с так и не пропавшим бахвальством осведомленного москвитя пришли в движение, ринулись навстречу этому невидимому лику обмана. — По понедельникам там многое бывает. Можем пойти вместе...

— А можно и вместе... — с легким и так складно ложающимся на комический напев ее фраз смешком начала женщина, но договорить не смогла. За дверью, прямо в перелуке, прошумел автомобильный мотор, грохнуло и зазвенело, и тут же — топот многих бегущих, крики: “Куда?! Стой, стой, сука!.. Ворюга! Торгаш!.. Стой!” Мгновенно схватив

автомат, я поймал в темноте женщину за рукав — рукав был скользкий, кожаный — и взлетел вместе с нею на этаж.

— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинутся, — задыхаясь прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.

В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.

— Афган, — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что происходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь.

Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький “мерседес”. Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти, и одновременно вырывался из тащивших его рук... Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили, как мертвую — она висела на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику... Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках, тяжелый пулемет. Двое шагнули в стороны, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды... Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать, — подтянув ноги калачиком.

Через мгновение убийц в переулке уже не было.

— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова

обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно.— Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..

— Надо уходить отсюда, — сказал я. — Через пятнадцать минут здесь будет Комиссея, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец...

— Какая еще комиссия, — женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы, — какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..

— Комиссия Народной Безопасности, неужели вы и этого не знаете? — бормотал я на ходу. — Идемте, идемте быстрее!

Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная “Волга” с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком...

— Все, — сказал я. — Все, сейчас они пойдут по домам...

Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.

— Погодите. — Я сказал это слишком громко и вздрогнул. — Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита...

— Да есть же там сзади другая. — Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт...

Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег здесь не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал назад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормо-

тание: “Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут! Она выйдет — а я...”

Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего в основном футбольных болельщиков между Англией и Швецией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-би-си передавало об этом с глумливым сочувствием...

Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины “Пекина”, миновать их удалось, к счастью, без приключений. Уже давно, с тех пор как гостиница рухнула во время первых артиллерийских боев, с тех самых пор развалины были обжиты подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью “Да здравствуют Люберцы, долой Москву!”, а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме уцелевшего третьего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели “Пекина” обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.

—...А у меня мужа убили еще в запрошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим, с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе, — машины ремонтировал, а они ж его и убили... Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько тех денег было, может, тысяча, старыми еще, “горбатыми”, так они взяли и ушли. Соседи...

Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и

просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей... Мне не жаль было ее умельца-мужа, для которого тысяча "горбатов" — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала "по обувь" и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем...

Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которого дежурили пикеты с нарукавными повязками "свиты сатаны" и в кошачьих масках, мимо Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которыми возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.

— ...И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — Женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно пределало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой "Бурды" до панночки дьявольской. — А я б у вас купила б, один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо...

— К сожалению. — Я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая "калашника" под куртку, я повторил: — К сожалению... у меня есть совсем немного... только не сегодня... впрочем... если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать, по обычному курсу, один к восьмидесяти... на следующей неделе я должен получить еще немного... так что, если хотите...

— Вот же спасибо! — Она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. — Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хотите, вот и на лавочке тут посидеть... пока ж рано?

Слева от нас был маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с

выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.

— Что ж... давайте посидим, покурим.

Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая “Ява”, я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затаились, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь “Иносемьи”. Ее парижская родня одним своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну и настоящие деньги... Транзистор щелкнул и захрипел.

“...столица Эстонской Республики. Здравствуйт-те, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кенигсберга господин Чернов сделал запрос...”

Я крутил настройку: от “Прибалтийского голоса свободы” точного времени лишний раз не дождешься.

“...в Крыму. Так называемое симферопольское правительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой Революционной Российской Армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой “Материк Сибирь” кровавый мятеж повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов “Вашингтон пост”, недавно этот якобы русский писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма...”

Я выключил — батарейки садились, а время говорить,

видно, не собирались. Теперь они говорят время все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь.

— Ото ж сволочи! — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурок в кусты. И тут же, без всякой видимой связи спросила: — А у вас, конечно, извиняюсь, талоны откуда? Может, за границей кто есть, или как?

Черт его знает сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже не привычки — порока: полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!

Я не сказал о родственницах жены.

— Да так... на работе, — бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман. — Нам платят так...

— А где ж вы работаете? — Она говорила все тише, теперь она шептала, хотя недавно, когда было опасно и надо было молчать, она голосила вовсю. — А где, а? Извиняюсь, конечно...

Мы уже сидели обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей на грудь, я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку.

— Замерзла... вот же ж лавка холодная, ты смотри — на ней же мороз...

Я действительно увидел на лавке, на ее выпуклых планках, иней... Ее кожаное пальто свесилось полой, пола слегка дергалась и мела по снегу...

— Ну... ты не сказал... — Ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала. — Не сказал... где... где ты работаешь...

Я сел, застегнул молнию, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто.

— Где, а?

— Ну... в газете, — буркнул я. Я был уже учен и давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился: Она могла и знать, что в редакциях талонами не платят...

Но она не знала.

Когда я поднял глаза, она стояла передо мной и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб.

— Сучка, — сказала она, — сучка, говно. Давай сюда талоны твои сраные, журналист хренов! И вали отсюда! Ото из-за таких гнид началось все! Жили как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ “горбатых” за хороший день зарабатывал, а вам все было плохо! Завидушие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев ваш был хороший!.. Давай талоны и иди отсюда, а то убью интеллигента московского, вот точно — убью! Талоны, блядво!

Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол...

— Тише... — Я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что после этого она с перепугу не разрядит в меня рожок. И в мирные времена эти не слишком были милосердны... — Тише... сейчас я отдам тебе эти поганые талоны... только не стреляй, дура... тебя же Комиссия сразу возьмет... сейчас...

Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее за ноги в скользких полусапогах — и ничего бы она не успела, подумашь, террористка... Но одно она могла бы успеть: выпустить очередь над моей головой, а здесь, среди этих обреченных домов, шум был почти так же убийствен, как и пуля.

Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк — легкий, десантный, следом одна бээмпэ, другая, грузовик под брезентом и танк замыкающим... На Спиридоновке начиналась очередная ночь.

Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую, лежавшую на спуске автомата, — сильно сжав, чтобы, не дай Бог, не успела нажать. И вместе с ней рухнул наземь, за кусты сквера.

Теперь они позвонили домой.

Я собирался в институт, жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал непрерывно — она включала его на все утро: “...быстроходные катера в Персидском заливе... продолжается выдвижение делегатов...

письма наших слушателей подтверждают — альтернативы перестройке нет... Всесоюзная девятнадцатая... а вот мнение академика Татьяны Заславской...”

Я снял трубку.

— Это Сергей Иванович, — услышал я радостный голос стажера. — Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена... Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал я с омерзением и отчаянием. Значит, это еще будет продолжаться! И кончится ли?..

— Очень надо! — радостно сообщил Сергей Иванович. — Очень надо встретиться! Вы же ведь уже написали? Вот и хорошо. Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич. Так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к “Интуристу”. Так точно, четырнадцать часов, Юрий Ильич. Ну, до свиданья, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич...

— До свиданья.

Я шваркнул трубку.

— Кто это? — спросила жена.

— По делам, — сказал я и тут же ужаснулся: значит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены. — По делам, из “Вестника”...

У интуристовского подъезда меня ждал один Сергей Иванович, стажер. Как и положено, он был на посылках. Молча обменялись рукопожатием, молча ехали в лифте в толпе гогочущих и перекликающихся, как в лесу, немцев. Бабка в линялых джинсах, с сиреневой завивкой с доброжелательнейшим интересом разглядывала Сергея Ивановича. Я посмотрел на него ее глазами: нечто пухлощекое, пухлогубое, чубастое — на гигантском теле девяностокилограммового мужика. Она могла нас принять за отца с сыном — впрочем, одет по-сыновнему был я, на нем был приличнейший универмаговский костюм с галстуком.

Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопожатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сформулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современным киногероем и человеком с плаката по технике безопасности. Но улыбка у него была хорошая...

— Как путешествовалось, Юрий Ильич? — Улыбаясь

этой прекрасной улыбкой, морщившей все лицо, Игорь Васильевич двумя руками потряс мою руку и немедленно усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив, а Сергей Иванович пристроился на краю кровати. Номер был полуприбран, как при смене постояльцев. На столик тут же водрузилась пепельница, и мы, как водится, закурили разом. — Довольны экскурсией?

— Ну, — замаялся я, — сами понимаете... интересно, конечно...

— Я думаю! — немедленно перебил Игорь Васильевич. — Это ж надо: девяносто третий!

— Я сам всю жизнь мечтал, — вставил Сергей Иванович, — как Гюго прочитал, так и возникло желание: обязательно девяносто третий. Некоторые хотят, например, две тысячи какой-нибудь, а я почему-то именно в этот самый девяносто третий — и все...

— Ну, нам не положено, — с легкой грустью заметил Игорь Васильевич, — это уж вам... Как говорится, и с профессиональной точки зрения. Думаю, у вас в институте многие хотели бы, да не могут. На полгода-годик — пожалуйста, а чтобы сразу в другую пятилетку... Ну, это же понятно: у вас способности... Если хотите знать, я уже двадцать лет вашими экспериментами интересуюсь, и вот даже Сергею говорил, не даст соврать: Юрий Ильич, говорю, из экстраполяторов самый в институте способный. Еще вы обычным экстраполятором работали, а я, как только в "Вестнике" ваш отчет прочту, так и говорю: обязательно надо бы Юрию Ильичу на пятилетку-другую рвануть! И руководству даже докладывал... Да ведь вы сами понимаете, Юрий Ильич, — времена были другие. Кто бы вас тогда на пятилетку вперед отпустил? Считалось — нецелесообразно... Даже однажды — помнишь, Сергей, ты еще только стажером пришел, семнадцать лет назад — требовали, чтобы я на вас, Юрий Ильич, написал субъективку, как говорится, — ну, это у нас так называется, мое, значит субъективное мнение, — а я говорю: хотите — пожалуйста, вот я кладу билет на стол, и можете тогда делать, что хотите, только я Юрия Ильича знаю и ручаюсь... Видите, Юрий Ильич, и в те времена у нас тоже разные люди были.

— А здорово вы ее, — неожиданно сказал Сергей Ива-

нович и улыбнулся. В отличие от старшего, он улыбался сдержанно и тонко. — Здорово! Раз — и скрутили. Могла ведь шум поднять! Убить, конечно, не убила бы, а шуму было бы много...

— Так я же всегда говорил, — тут же включился в неожиданно повернувшийся разговор Игорь Васильевич, — всегда говорил, что Юрий Ильич исключительно смелый человек! Вы же ведь смелый человек, Юрий Ильич?

— Как вам сказать. — Я смутился, пожал плечами. — В общем, я действительно в последнее время мало чего боюсь. Семья у меня небольшая, жена — человек самостоятельный, чего мне бояться?

— Вот и я говорю, — согласился Игорь Васильевич. — Вы же и нас не боитесь, правда? Написали все, как будет, ничего не смягчили. Как будет — так и написали. И про интернационалистов, и про молодежь... И правильно! Зачем скрывать, если вы уверены? Нам ведь надо знать чистую правду, если мы правду знать не будем, кто же и предостережет руководство? А руководство надо предостерегать...

— И про наших-то, — Сергей Иванович опять тонко улыбнулся, пухлые его щеки едва заметно дрогнули, — про наших-то... как они на стрельбу-то... примчались... и цепью, цепью... тоже не побоялись сообщить, Юрий Ильич?

— И правильно сделали, что не побоялись! — воскликнул Игорь Васильевич. — Кстати: вы случайно в лицо никого из них не запомнили? А то у нас есть такие факты, что там... некоторые товарищи... ну, в общем, не из наших, а только под наших маскируются... Да что я вам объясняю, вы такую возможность не хуже меня знаете, вы в одном из своих экспериментов ее даже отработали, только в прошлом, конечно...

— В ушедших временах, — уточнил Сергей Иванович, — правильно, Юрий Ильич?

— В общем, да, — вяло согласился я, — только не в ушедших, а в давно ушедших, если вы читали отчет...

— Именно, именно, — согласился Игорь Васильевич, — в давно ушедших. Мы того вашего отчета, правда, не читали...

— Но откуда же Сергей Иванович тогда знает? — удивился я.

— Так вы же сами только что сказали, — удивился и

Игорь Васильевич. — Только что: “В общем, да, только не в ушедших, а в давно ушедших...” Правильно, Сергей?

Сергей Иванович кивнул. И тут мне стало нехорошо.

“Они же ни черта не знают сами, — с ужасом понял я, — они же ни черта не знали, пока я сам им все не рассказал, и они могут сколько угодно говорить, что я уже и о последнем путешествии отчет написал, но я ведь точно знаю, что я его еще не писал! И тот, старый отчет они не читали, а уж могли бы прочесть, его только ленивый не читал, и в институте, и вообще, он мне, собственно, и сделал известность, если она у меня есть хоть какая-то... Он был отдельным бюллетенем, о нем даже на конференции докладывали в Риме!.. Они ничего не знали, — повторял я про себя в панике, — они же ничего не знали, я сам им все наговорил, я сам стал им помогать...”

— Вот только зря вы не указали, — сказал Игорь Васильевич, — не встречали ли вы там кого-нибудь из ваших коллег, только... из тех. С той, значит, стороны...

— Да, — подтвердил и Сергей Иванович и стал еще важнее, чем выглядел обычно, очень важный пацан. — Мы ведь чем интересуемся? Мы же ведь женщинами, например, из Днепропетровска или даже ребятами из военно-патриотических объединений не интересуемся, у нас совершенно другое направление.

— Конечно, — продолжал Игорь Васильевич, — только с той стороны! Разве мы стали бы предлагать вам о женщинах или, например, о прохожем каком-нибудь, поклоннике, например, популярной певицы... Это ж все наши люди! Нам это не нужно, и мы вас как порядочного человека об этом и не попросим. Но у нас есть данные...

— Совершенно точные, — вставил Сергей Иванович.

— ...что имеется их экстраполятор, — продолжал Игорь Васильевич, — который...

— Или которая, — уточнил Сергей Иванович.

— Это Юрию Ильичу все равно, — сморщился в улыбке Игорь Васильевич, — вон он... как ловко... Не жарко было, не раздеваясь-то?

— Как жарко, — буркнул я, уже ничего не соображая, — иней на скамейке...

— Иней! — Игорь Васильевич захохотал. — Ну что такому мужику иней, а? Ну, вы даете, Юрий Ильич...

— А экстраполятор с той стороны обязательно там должен быть.— Сергей Иванович стал проявлять странную для него самостоятельность и упорство, вовсе не поддерживая фривольный разговор.— И вам надлежит войти с ним в контакт, не вызывая подозрений, ни в коем случае не пресекая его действий, а наоборот, пообещать ему помочь, даже если его действия будут направлены на дальнейшую дестабилизацию...

— Ну, Сергей, это уж слишком для Юрия Ильича,— примирительно сказал Игорь Васильевич, увидев, наверное, что лицо мое изменилось.— Это уж слишком... Это уж наша работа, Сергей, ты ее на Юрия Ильича не перекладывай... Вы только не вспугните, Юрий Ильич, только не вспугните...

И я уже оказался стоящим у двери в номер. И, заглядывая мне в глаза и снова трясая обеими руками мою руку, Игорь Васильевич повторил:

— И никто никогда ни за что об этом не узнает, поверьте нам, это ж не в наших интересах, вы самый дальний экстраполятор, и талант большой, вам надо писать и писать, а если, допустим, мы вас обнаружим, так нам же от руководства и нагорит, потому что теперь мы уже в одной обойме, Юрий Ильич, и вам надо только не вспугнуть, не вспугнуть, не вспугнуть...

Они оцепили дом в одну минуту. Все были в форме, в своей обычной форме, видимо, дело сегодня предстояло настолько рутинное, что нужды в штатской маскировке не было. Только командовали трое в хороших серых пальто и меховых шапках — они вылезли из последней бээмпэ и сразу стали в стороне.

Мы лежали на тонком снегу за кустами и, еще зажимая ей рот, я прошептал в ухо этой гадине:

— Крикнешь — либо сам тебя убью, либо они возьмут. Они свидетелей не любят. А мне уж тогда все равно. Поняла?

Она кивнула, насколько могла, стиснутая моей рукой. И я отпустил ее — рука уже окоченела, долго лежать так было невозможно. Едва слышно всхлипнув, она повернула ко мне лицо и даже не прошептала — только показала губами: "Прости, Христа ради — прости! Не выдавай! Забудь!"

— Молчи, — шептал я снова ей в ухо. — Лежи молча, не шевелись. Уедут — пойдешь дальше одна. Все.

Она кивнула и сразу же успокоилась — с невероятным интересом она смотрела теперь на то, что происходит возле дома. Я смотрел тоже, хотя то, что там делалось, уже не было ни для кого тайной.

Одно отделение вошло в дом. Все окна в доме уже горели — неяркий ночной свет пониженного, как всегда, напряжения казался на темной улице сиянием. Прошло примерно минут двадцать...

И вот дверь подъезда раскрылась, и показались они.

Мужчины были все как один в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полушубках из овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах.

Их было около сотни.

Они вышли из подъезда довольно тихо и так же тихо выстроились на мостовой в колонну по четыре — два солдата, слегка подталкивая их, справились с построением буквально за минуту. Последний из группы обнаружения, мгновенно вытащив из полевой сумки огромный висячий замок, запер двери и побежал к танку, над которым возвышалась радиоантенна, влез в него. Прошло еще две минуты, и во всех окнах дома погас свет — теперь навсегда.

Прыткий солдатик выскочил из танка уже с небольшой табличкой в руках, снова подбежал к подъезду и повесил ее на ручку двери поверх замка. Немедленно после этого один из тех, что командовали операцией и своей одеждой не отличались от выведенных из дома, прошел в голову колонны и негромко — но в ночном беззвучии было слышно каждое слово — сказал:

— По поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий, я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Народной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер, — он взглянул в какую-то бумажку, — номер восемьдесят три по общему плану радикальной политической реконструкции, врагами радикальной реконструкции и в качестве таковых несуществу-

ющими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за реконструкцию Пресненской части.

Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине...

Через десять минут на улице было пусто и тихо.

— Куда их?— спросила женщина. Она стояла в двух шагах от меня, пытаюсь дрожащими руками счистить снег и грязь с кожаного пальто.

— Неужели не знаешь?— Мне уже не хотелось даже делать вид корректного обращения с этой жлобской бабой, которая, видно, не слышала ни о чем, кроме обувного изобилия в столице.— Во МХАТ на Тверском, потом — туда... — Ствол «калашникова» я показал на небо.

— А шо ж в том мхати?— с ужасом спросила она.

Никакого желания объяснять ей подробности у меня не было.

— Комиссия,— вяло пробормотал я, уже прикидывая, как быть дальше. Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... Хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между нами не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки. Одно ясно — она не отвяжется от меня до самой площади, рассчитывая так или иначе выманить талоны. Воевать не было сил.

— Пошли,— сказал я, и мы двинулись дальше по Спиридоновке. Проходя мимо подъезда, я покосился на табличку. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено» — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее, белые змеи ползли по мостовой все торопливее...

Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней.

Но дойти до Тверской нам не удалось.

Справа, из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени — и через секунду все было кончено.

У меня с шеи сорвали автомат, с треском разодрали ворот свитера.

— Крэст, — негромко сказал, дохнув мне в лицо запахом сырого мяса, тот, что разорвал свитер, — в густой черной щетине, кривоносый. Ворот рубахи под его драной дубленой шубой был распахнут, из ворота лезла черная шерсть. Тот, что стоял сзади, уперев мне в поясницу ствол моего же автомата, уточнил:

— Грегориан, а?

— Православный, — мгновенно сообразил я, — русской веры...

— А, ладно, православный, армян, какая разница! — раздраженно крикнул третий, занимавшийся тем временем чуть в стороне с моей спутницей. Он запустил ей руку за пазуху, она ойкнула, а он, даже вздохнув, сообщил: — И у эта биляд крэст... Во двор веди.

Подталкивая стволом, меня впахнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад.

— Та ой же, — вскричала она почти без голоса, — та який же крест, я ж неверующая, то ж золото, для красоты...

И осеклась. Держа ее в вынужденных объятиях, я, видимо, от этих слов скроил такую рожу, что она испугалась меня больше, чем чернородых.

Во дворе таких же, как мы — с распахнутыми, разорванными воротниками, с болтающимися и поблескивающими крестиками, — было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный, мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе — наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора.

С четырех сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный

ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы — заложники организации Революционный Ка-амитет фундаменталистов Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас!

В толпе раздался тихий стон, и я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю — видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться. В суете эта баба, мое наказание, очутилась рядом, примостила полы пальто, усе-лась, придвинулась...

— Прости... — услышал я спустя несколько минут и взглянул на нее. Она плакала, спрятав в руки лицо, и шептала, будто даже не обращаясь ко мне: — Прости, ради Бога прошу... Разве ж я вбила б тебе? Просто от нервов... Прости, я ж верующая, а этим чуркам от страха наврала... Прости, я ж тебе нравлюсь, разве нет?..

Столько наивной прямолинейности, столько детского убогого желания собственного блага было в ее бормотании. Мы сидели обнявшись, я начал дремать... Меня разбудил крик:

— Идут! Идут!!!

Я открыл глаза. Кричал, видимо, кто-то из заложников, крик шел с земли. В подворотню входили цепочкой люди — точно такие же, заросшие до глаз черными бородами, как те, кто нас захватил. Заложники вскакивали с земли, теснились к краю двора, к стенам... И вдруг над двором поплыло пение. Это было негромкое, но мощное мужское восточное пение, унылый мотив поднимался все выше и выше... И навстречу вошедшим — я понял, что это и были освобожденные наконец пленные, — ото всех концов двора двинулись те, кто их ждал, каждый подходил к какому-то из прибывших, обнимался и застывал надолго. А пение все росло...

Визг, прорезавший это пение, был страшен, но короток. Толпа заложников отхлынула от дальнего конца двора, и я увидел: двое стояли там, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кла-

няясь, подавал им что-то, сначала мне показалось — какую-то кастрюлю...

Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка, а в шапке отрубленной шеей вверх лежала человеческая голова.

Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом лезвием в темной луже лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке.

Тяжелый выдох — не крик, именно выдох — вознесся над толпой. И в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может, еще Первой Гражданской — где они их только выкопали! — шашки... Нас, стоявших ближе других к этому довольно широкому и низкому проему, толпа несла впереди.

Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами, пытаюсь свернуть — первые, следующие уже не пытались... Мы ползли, и за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще... Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали: их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне, они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми... Я успел заметить, что правой рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто... И я успел заметить самое главное: двое с шашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой, и тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает, встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов, и держит шашку — вверх острием, и стоит неустойчиво...

Прямо с земли — я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках — прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного, обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил...

Оружие со звоном, раздрав на плече мою куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже что было сил ударил изумленного мальчишку — смуглого, едва заросшего бородой — коленом в пах и бросил его, обмякшего, на медленно поворачивающееся ко мне лезвие.

Женщина стояла еще на четвереньках, она еще только пыталась встать на ноги, толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих, и убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора, прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно ночь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся, тянулся — и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул — и мы выплыли на улицу, и длинными, все еще подводными прыжками начали уходить вглубь, в переулок, к Палашевскому рынку...

— Кушать хочется, прямо невозможно, — сказала она. — Второй день не кушала, еще с поезда...

Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата: безоружный имел немного шансов дожить до утра на московских улицах.

— Погоди, узнаю время, — сказал я, — может, еще и поедим.

Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно — он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты Комиссией еще прошлым летом: слишком часто их использовали во взрывных устройствах... Я нажал кнопку.

“...выражает соболезнование родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время разрушения плотины погибло около двадцати трех тысяч человек, около восьми тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб

составляет, по предварительным подсчетам, около восьмидесяти миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной комиссии. Московское время — три часа тридцать семь минут. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет...”

Я выключил приемник.

— Пошли.— Я потянул ее, спрыгивая с прилавка.— Тут неподалеку, может, поедим.

Перед тем как позвонить в дверь, я отряхнулся, отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку — в одежде, разрезанной пашкой, ходить в этот шикарный ночной кабаk было не принято.

Открыл почему-то сам хозяин — высокий, худой, молодой еврей в коротко стриженных седых кудрях, по последней моде одетый во все сшитое у лучших крестовских портных. Фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сияли.

— А-а, вольные дети муз реконструкции тоже посещают злачные места,— обрадовался он. Вроде обрадовался... Когда-то, в давно сгнувшейся жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе.— Ну, прошу, и даму... познакомишь бедного артельщика с дамой?.. как это — сам не знаком?! очень приятно, Валентин... прошу вас, Юлечка... а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений?

Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века, и будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великой Реконструкции мы встретились, и не стреляют за глухими ставнями неумные автоматчики — будто сошлись мы в нашем старом доме на Никитском... Как он тогда назывался? Суворовский, кажется... И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки...

— Угощаю, угощаю,— шумел Валька,— пока ты не решился ко мне, в артель, я угощаю... а то давай, бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлomu прошлому! Не надоело еще, за десять тысяч “горбатых”—то ежемесячно, бороться?

Мы шли по залу, и я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами реконструкции с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии эйдса* они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке... И многих из этих привидений я почему-то знал — иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне...

— Я и сам с вами выпью, — сказал Валька. — Вы будете пить?

— У тебя ж не подают, — удивился я. — Откуда?

— Ну, конечно, — расхохотался Валька, — а эти все кока-колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит... Могу угостить отличнейшим напитком, одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского... Лучше доверенной "Пшеничной", честно!

— А угловцев не боишься? — поинтересовался я.

— А угловцев бояться — трезвым капитализма дожидаться! — Валька по обыкновению повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску — огромному, граммов на сто! — настоящего хлеба... Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью...

Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии усилительной аппаратурой! Но ребята уже настраивались, динамики взрывались... И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой, наклонила микрофон...

— Вас приветствует рок-шантан "Веселый Валентин"!

И немедленно ударил сумасшедший вальс, зарычали

*AIDS — СПИД (англ). (Прим. ред.)

гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню:

Я ждала тебя в семь,
Но часов нет совсем
Ни у тебя,
Ни у меня
— Нету часо-ов!
Но что-то тикает внутри,
На это что-то посмотри
И ни тебе,
И ни мне
Не надо слов!

В зале уже подхватывали лихой припев:

Эй-эй, господин генерал!
Зачем ты часы у страны отобрал?

Шантан смеялся над властью...

Когда мы наконец подошли к Страстной, там стояло предрассветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие — глянув в их сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад: в очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из “Сталинского союза российской молодежи”. И снова у них ничего не вышло: фигура была цела, только слетела с постамента, да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, бетонщики ремонтировали столбики.

— А кто ж то заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы — видимо, даже для такой несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием.

— Твои верные сталинцы, — раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что мои неприятности еще не кончились. — Твои сталинцы и патриоты...

— А за шо? — изумилась она. — Это ж Пушкин или кто?

— А за то, — уже в бешенстве рявкнул я, — что с государем императором враждовал, над властью смеялся — раз, в

семье аморалку развел — два, происхождение имел неславянское — три! Мало тебе? Им достаточно...

— А шо ж неславянское, — еще больше удивилась она, — он разве еврейчик был?

Я не нашелся, что ответить.

— В метро пошли, — сказал я. — А то на улице без оружия долго не проходим...

— А в метро там спокойнее? — спросила она. Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать. — Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?

— Ночью там тоже... не рай, — неохотно пояснил я. — Но все же... хотя бы с оружием не пускают... официально.

Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору — когда он двигался сам...

Перрон был почти пуст, только вокруг колонн спали оборванцы — голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько подростков сидели посередине зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними, один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший густой паутиной и рыжей копотью свод.

Поезда с двух сторон подошли почти одновременно — редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел — вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что был нам нужен, к Театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле, километров семь в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть, в чем дело.

В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых, непроницаемо-черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием направив очки на проплывающую мимо станцию, парень, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями.

В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юля взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо... Среди танцу-

ющих была девица, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся взад, у обоих росли редкие усы и бороды. Был парень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева, на левой — обнаженный мужской торс от груди до бедер, мужчина был готов к любви... Когда девушка двигалась, господин генерал совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницей энергичнее... И еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоёвывавших в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов восьмидесятых годов, в балетных пачках, даже в древних джинсах... Посередине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного отечественного производства фраке. Выражение лица его было — сама скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию: именно он держал на плече какой-то дорогой аппарат, беззвучно аккомпанировавший дьявольскому танцу.

Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток, да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа: разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами... Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна... В этих вагонах собралось дно.

Наконец, последний, пятый, был светел, и не просто светел, а освещен так ярко, как уже давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне, посередине, стоял обычный домашний диван, на диване сидел обычный человек средних лет в свитере и мятых штанах и, склонивши набок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела

вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью. Великий неразборчив и в выпивке, и в знакомствах...

Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше чем через полчаса. Ждать не было смысла — он мог быть еще страшнее, ночь выдалась беспокойная. Но и идти с пустыми руками дальше не хотелось.

И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится...

Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий — даже более тощий, чем многие его земляки, — старик, судя по выговору — из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера.

— Чего надо-то? — спросил он, приподняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки.

— Отец, — шепнул я, — слышь, отец, “калашникова” нет случайно? Лучше десантного... Может, от сына остался? Я бы пятьдесят талонов отдал сразу...

Старик раскрыл глаза, сел. Беззубый от пеллагры рот ощерился.

— Отец, говоришь? От сына? Да я ж сам тебе в сыновья гожусь, дядя!

Я увидел, что он говорит правду, этому человеку было не больше тридцати. Но и голодал он уже не меньше года.

— “Калашникова” нет, — с сожалением сказал он. — Продал уже... А “макарку” не возьмешь? Хороший, еще из старых выпусков, я его по дембелю сам у старшины увел... Год назад... Под Унгенами стояли, тут объявляют — все, ребята, домой, смена, я его и увел... Возьми, дядя! За тридцать талей отдам... четыре дня не ел, веришь...

Он уже рылся в лежавшем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру...

Я отсчитал деньги и, не вставая с корточек, чтобы не демонстрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень под куртку, сунул в карман три обоймы. Потом встал — и поймал ее взгляд.

Юля смотрела на карман, откуда я доставал талоны.

И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых.

— Ну, пошли, — сказал я. Она двинулась за мной, как загипнотизированная, ее “горбатые” жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать.

Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно, свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и не признанного мною цвета, глаз.

— Иди, — сказал я, — иди от меня. Талонов от меня не получишь. Хлеб можно купить и на “горбатые”, а без лишних сапог обойдешься. Иди. Хватит. Я боюсь тебя.

— А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокойно. — Ночь же, бандиты кругом...

— До утра побудь в метро. Утром — сообразишь, — сказал я. — Иди. Иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора.

Она кивнула.

Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула качающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице...

В это время над ухом у меня негромко сказали:

— Ну-с, как вам все это нравится?

Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру...

— Да бросьте, вы что, с ума сошли совсем, что ли? — Мужчина в темном пальто и кепке-букле пожал плечами. Откуда его черт принес? Из перехода подошел, наверное... Но как тихо!

— Так нравится или не очень? — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым, кого я только не встречал за жизнь в этом городе... — Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло. Бесповоротно рухнуло, навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Ну, и вы полагаете выжить после такой операции? Да и сама операция — хороша, а? Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметьте... А результат? Генерал присматривает за страной-инвалидом...

— Если вам так уж полюбился ваш довольно убогий образ, то отвечу. — Я привалился к облупленному кафелю стены перехода, достал табак, стал сворачивать. — Извольте: мы еще в реанимации. Еще рано делать прогноз. Осложнения — страшные. Может, и не выживем. Но операция была жизненно необходима — вам знакомо такое медицинское выражение? Или резать, или все равно помрете... Делают аппендэктомию, все хорошо, вдруг — тромб в сердце... Генерал — это тромб; но...

— Варварство и идиотизм, — презрительно скривился собеседник. И я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере... Вот и встретились! Теперь я уже не смогу отрицать — эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в стране слова... — Варварство и идиотизм, — повторил он. — Как и собственно отечественная медицина. Все на уровне каменного века. Или резать, или смерть... А разве лучше умереть зарезанным, чем естественно? По-моему, вам еще час назад предоставлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать...

— И вы?.. — удивился я.

— Едва ноги унес, — вздохнул он. И засмеялся мягким дворянским смешком. — А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились! М-да... Вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас... Потом, естественно, разруха, потом железной рукой восстановление... Бывших партийных функционеров уже по ночам увозит Комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное, — справедливости. Но... Время будет идти... Через десять лет, если доживете, будете отвечать на вопрос: чем занимались до девяносто второго года? А не служили в советских учреждениях? А не состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите — сосед поможет... И поедут оставшиеся в живых верные бойцы реконструкции куда-нибудь в Антарктиду... Лед топить.

— Но ведь нужна же была, черт бы все побрал, операция! — заорал я и закашлялся дымом. — Ведь... доходили же... стыдно было...

— Не орите. Сталинцев назовете или "витязей" черноподдевичных, — холодно посоветовал собеседник. — И что

это за дрянью вы курите? Угощайтесь... — Он протянул пачку “Галуаз”. — Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть... Да-с, ничего вы, значит, так и не поняли... Да не нужна социальная хирургия, зарубите вы это на своем общероссийском носу картошкой! Черт вас раздери, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас “воронки” по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то — консерваторы! То есть хотели, чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровоточит сильнее...

Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал... Я докуривал сигарету тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли.

— Ладно, — вздохнул он, — что теперь говорить... Да вы ведь и согласны со мною, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь — милости прошу. Помогу, чем сумею. Найти меня несложно... — Небрежным движением он сунул в карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник. — Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит — я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время... Засим — желаю здравствовать.

Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной.

— Тут вы, конечно, немножко перегнули, Юрий Ильич, — сказал Игорь Васильевич и, как обычно, засмеялся. — Женщину под пистолетом гнать не стоило. Тем более и пистолет-то... купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?

— Дезертир, — сказал строгий Сергей Иванович. — Совершенно точно дезертир и, как он же сам признался, расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря...

— Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим, позвоним или подъедем, если нужно, — сказал Игорь Васильевич. — Но другому бы пришлось отвечать...

— Вот и не нужно за меня заступаться, — упрямо сказал я и придавил сигарету в пепельнице. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире в одном из старых, давно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартира была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей, да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были завешены желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце... Но пепельница на столике, естественно, имелась. — Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас...

— Да как хотите, Юрий Ильич, — воскликнул Игорь Васильевич, — вы как хотите, мы ж понимаем, что вы человек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный...

— И вообще, — закончил Сергей Иванович, который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня. — Но теперь вопрос другой: ну, прогнали вы эту... даму. И дальше что? Почему же вы дальше не написали, а, Юрий Ильич?

— Что вы имеете в виду? — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невинности, к неконкретной лояльности. — Вообще-то, больше и не было ничего... Ну, прохожие разные... бандиты...

— Нет, Юрий Ильич, — тут посерьезнел и Игорь Васильевич, — с бандитами все уже ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите. Пока с нами говорите — верите, а потом, как уйдете, — так вас кто-то и настроит против нас. Может, жена?

— Почему жена? — Я чувствовал себя все увереннее по

мере того, как нарастал их напор. — Вот вы говорите, времена не те. А если снова будут те?..

— Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович. — Разве можно так рассуждать? Вы же нас, лично нас перед собой видите? Похоже, что мы на такое способны?

— Ну, лично вы, может, и не способны, — замылся я, — но редакция в целом...

— И никто в редакции, уверяю вас! — взвился Игорь Васильевич. — Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга... то есть врага... А у нас теперь все кадры сменились, народ грамотный, вон Сергей даже три института кончил, правильно, Сергей?

— Ну, — сказал Сергей Иванович. — А раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже “расстрел” через одно “э” писал, представляете?

— Представляю, — сказал я, и мы все втроем засмеялись. Хорошо так засмеялись, понимая друг друга...

— Вот я и говорю, — сквозь смех произнес Игорь Васильевич, — если у вас адресок и телефон этого... ну, который вам предлагал кое-что... если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет...

— Это ж ведь он и есть, — сокрушенно вздохнул Сергей Иванович, — экстраполятор ихний. Причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями. С нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уже один раз выдворяли даже.

— Действительно, — я ляпнул и остановился. — Действительно...

— Что действительно? — Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он, по обычаю, устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся — почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать, он был все так же важен, но уже совсем не смешон. — Что действительно? Говорите!

— Я его вроде и раньше видел... — мямлил я. — Довольно

известный экстраполятор... Представляет здесь какой-то их институт. Не помню...

— А мы помним!— Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, два эти лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались.— Помним: Николай Михайлович Лажечников, потомок эмигрантов, Николас Лаже, представитель института экстраполяции Европейского Сообщества, на самом деле — старший редактор одной из редакций! Адрес, телефон! Быстрее, Юрий Ильич!

—Я потерял,— пробормотал я.— Выронил из куртки...

И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской.

— Ну, это совсем другое дело!— опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич.— Так бы и сказали! Что вы, ей-богу, Юрий Ильич? Это ж полностью меняет дело... Потерять каждый может.

— Вот я, например, однажды шесть томов совершенно секретного дела потерял,— засмеялся и Сергей Иванович,— когда еще молодым был...

— Точно!— хлопнул себя по колену Игорь Васильевич.— Ровно восемнадцать лет назад, когда его только из полковников в стажеры перевели, точно, Сергей?

— Так точно,— подтвердил Сергей Иванович.— Потерял— и ничего. Потерять любой может...

— Из полковников — в стажеры,— повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум.

— Ага,— кивнул Сергей Иванович,— у меня тогда еще только четыре класса было, я вечернюю начальную заканчивал... Ну, полковник, сами понимаете: корову через "ять" писал, одно дело знал — иголки да ногти... А уж потом в один институт поступил, во второй, и пошло... Уже восемнадцатый год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались?

— Я по-онял,— хитро протянул Игорь Васильевич.— Юрия Ильича мое звание интересует, правильно? Так я вам скажу: майор я. В восьмой класс перешел только что, с отличием... Еще вопросы, как говорится, будут?

— Никак нет,— ответил я.— Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит...

— Как двадцать пять лет отслужу,— кивнул Сергей

Иванович,— так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание — и в вечернюю. Арифметика, география, то-се...

— Вот так, Юрий Ильич,— заключил Игорь Васильевич.— Обновляем помаленьку кадры. А вы думали — у нас не меняется ничего... Ну, я вижу — вы спешите. Так что пожелаю... А найдете адресок или там телефончик — звоните, ладно?

— Непременно позвоню,— пообещал я, решительно направляясь к двери.

— Или мы позвоним,— сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно: оба были в форме, с ромбами в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах...

Над Садовой желтой гарью светило небо, жара туманила перспективу, и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый.

Жена была дома, она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чаю с молоком.

— Идем,— сказал я.— Собирайся. У нас уже нет и не будет времени.

Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютой, я снова чертыхнулся: несмотря на мои настояния, жена оделась слишком легко. И конечно же, брюки она надела старые! Вот порвутся здесь на третий день, что будем делать тогда?.. Но объяснить ей это было невозможно.

— Давай пойдем...— Она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние "Ведомости". Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту подойти мы могли.

Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались:

— Что там сегодня?

— Вроде ничего интересного... Только, говорят, "Тайная биография генерала" сильная...

— Так и называется? Ну, они дают...

— Подумаешь, называется... Они там пишут, что он в партии состоял! Раскопали... Вроде только в девяностом вышел... Даже в райкоме каком-то работал.

— Не может быть. Кто б им позволил такое писать... А еще что?

— Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в восемьдесят восьмом написано, не то в шестьдесят восьмом... А говорят, сильно написано, как будто вчера, про нас... “Невозвращенец” называется, что ли...

— А написал кто?

— Не помню...

Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось: я точно знал, о каком отрывке речь.

— Ну, наслушалась?— Я взял жену под руку.— Пошли, пошли, нечего здесь больше делать.

Мы прошли к Тверской метров десять, когда я понял, что и на этот раз я ухватил удачу за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись...

Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот — и в мгновение все читающие оказались окружены плотным кольцом набежавших “витязей” в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников, раздались негромкие приговоры:

— Жид... жид... жид... так, крещеный, необрезанный, выходи... жид... опять жидовка... русская? “Слово о полку” читай. Сколько знаешь... так, врешь, мало помнишь, стой... жид, жид, жид...

Мы свернули на Тверскую.

В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки, раздался звук, рванулся вверх — и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон.

Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к старым облакам на светло-лиловом небе.

— Что это?— спросила она.— Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали, здесь хуже...

— Просто ты уже забыла.— Я крепко прижал ее руку, ей

трудно было привыкать.— Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие? Значит, сегодня стачка продолжается, и за Москву-реку не пройдешь — на мостах танки...

Было уже почти светло. По середине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом, в них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно втягивалась, сворачивая, в Чернышевский переулок.

— Куда это их?— Жена оглянулась.

— На молебен, наверное, к Воскресению на Успенском.— Я не вдавался в подробности, постепенно сама освоится.— Перед отправкой в Трансильванию, думаю... Как положено: полковой молебен за победу православного оружия... идем, идем, надо спешить.

Мы подошли к площади ровно в половине восьмого, в проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху,— если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора,— стали бы видны кольца и извивы этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги, ограниченные с одной стороны длинным серым телом Центральных Рядов с давно провалившейся стеклянной крышей, а с другой — деревянным забором, ограждающим большой котлован у стены Кремля и множество мелких ям, оставшихся от выкорчеванных памятников и могил...

Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила, мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит: это со стороны Маросейки, от памятника героям Плевны, свернув снизу, от Старой, несется кортеж.

Вот они влетели на площадь — семеро всадников клином на одинаковых белых конях, в форменных белых полушубках, а следом — одинокий танк в белой же, зимней окраске, с ворочающейся вправо-влево, на толпу, башней. Вот зашвистела охрана у Спасских ворот — и все, проехали, скрылись... Рабочий день господина генерала начался.

— Это правда, что его сопровождают всадники?— спросила жена.— Почему?

— Горючего нет, — ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то... — Тише... Сейчас объявят.

Над площадью раздался мощный радиоголос:

— К сведению господ ожидающих! Сегодня в Централь-ных Рядах поступают в выдачу: мясо яка по семьдесят тало-нов за килограмм, по четыреста граммов на получающего, крупа саго по двенадцать талонов за килограмм, по килог-рамму на получающего, хлеб общегражданский по десять талонов за килограмм, производства Общего Рынка — по килограмму, сапоги женские зимние по шестьсот талонов, производство США — всего четыреста пар. Господа, соблю-дайте очередь! Участники событий девяносто второго года и бойцы реконструкции первой степени имеют право на полу-чение всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Гос-пода, соблюдайте очередь!..

— Идем, — жена дергала меня за руку. — Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем?

— Проживем, — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся.

Мы пошли домой — пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинную, потом в Петровские линии... Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая разбитый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площади, к которой я добирался всю ночь и добрался живым только чудом. Но жена не знала этого — она ведь шла только от Страстной...

Обгоняя нас и навстречу шли люди, среди них все боль-ше попадалось в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из Замоскворечья, из Вешняков и Измай-лова, из рабочих районов, где уже вовсю орудовали “отряды контроля” — боевики Партии Социального Распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых — могу-щественный глава Партии, легендарный рабочий лидер...

— Проживем, — сказал я, сунул руку в карман куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольничек. Телефон, адрес... “Если захотите изменить свою жизнь — милости прошу...” С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. По-

ловина из них тут же унеслась в решетку вместе с талой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара...

— Смотри, — сказала жена, — какая странная машина.

Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые “Жигули”, правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по переднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щерясь, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный “тэтэ”, поэтому грозить пальцем ему было неудобно, приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставляя его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом.

Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из-под вязаной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках... И здесь у нее был всегдашний вид посторонней. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин... Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится...

— Это твои знакомые? — спросила она. — Кто это? Из “Вестника”? А что это у него в руках? Ну что ты молчишь? С тобой невозможно разговаривать...

— Знакомые, — сказал я. — Но здесь я их почему-то совсем не боюсь... Здесь все будет нормально. Главное — что мы уже не там.

“Жигули” подъехали совсем близко, Сергей Иванович стал опускать руку. Я втокнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза, теперь ниша пригодилась для человека.

Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле.

Май, 1988 г.

Carl Gustaf Moberg

*Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Пушкин*

Весна — лето

1

Всегда хотелось начать с описания сумерек в Москве.

Едешь откуда-нибудь в такси, небо приобретает любимый сиреневый цвет, машина взлетает и опадает, по набережным выстраиваются микрорайоны, и, по мере приближения к центру, впереди все гуще светят хвостовые огни других машин, и эта толпа красных огней, все более плотная, дружно, словно стадо с тяжкими подсвеченными задницами, сворачивает, несется, толкается, останавливается перед дальним светофором, такси нагоняет остановившихся, въезжает в толпу, которая тут же распадается на нормальные отдельные машины, справа кавказец раздраженно-бессмысленно постукивает по баранке отчаянно украшенной “Волги”, слева одинокая девушка предлагает набор жизненных тайн для разгадывания и погружения, без аффектации, но и не простодушно держа руль “шестерки”, небо через темную красноту переходит в синее — и все разъезжаются по переулкам вокруг Пушкинской и Маяковки и пристают к темным тротуарам — приплыли.

Эта картина полна, если сквозь нее просвечивает воспоминание о только что оставленном явлении любви.

Женщина, уже ставшая обычной приличной пассажиркой другого автомобиля, подъезжает тем временем к своему дому. Вполне тщательно одетая, подкрашенная, снабженная сумкой с купленным за день, с серьезным и твердым вы-

ражением лица входит в полуразрушенный подъезд. Поднимается в нечистом и узком лифте, открывает дверь своими ключами, повесив сумку на предплечье. Переодевается сразу в ночную рубашку и халат, немного короче рубашки, и двигается по кухне, чтобы приготовить слишком поздний и слишком плотный ужин.

А полтора часа назад она была той, которую и вспоминаешь в сиреневых, быстро синеющих сумерках, полных красными хвостовыми огнями. Она лежала поперек чужой кровати, хвастаясь загаром предосеннего отпуска и своей всегдашней бурной и быстрой реакцией на любовь, горячим и неудержимым истечением жажды. Я мокрая, — радостно и гордо повторяла она с легким полувопросом. — Я мокрая, это хорошо или плохо? Конечно, хорошо, разве ты не видишь, не чувствуешь, разве ты не знаешь, я ведь сто раз говорил, что я это люблю больше всего в тебе, что ты намокаешь сразу и тебя уже ничем не просушишь, ты неиссыхаема. Это тебе хорошо или вообще хорошо? Что значит — вообще? Я тебя спрашиваю! С кем это еще вообще? Ну-ка, расскажи, расскажи... Ну, перестань, ты же знаешь, никто никогда так... Хочешь, поклянусь? Не смей клясться... Ладно, но ты же правда знаешь... Знаю. Молчи. Молчу. Выше, ляг выше. Так? Так, так. Боже мой, я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Ноги. Так. Боже мой, люблю, люблю тебя. О Господи, прости меня, люблю, люблю. О нет. Нет. Ну вот. Вот. Вот.

Но через это все — как она ходит, одеваясь, уходит в чужую ванную, берет чужой стакан, открывает чужой кран, стоит с сумками на краю тротуара, садится, втаскивает сумки и полу плаща в такси, уезжает, оставаясь в памяти на сутки-двое лежащей поперек чужой кровати, — сквозь это все и сквозь сиренево-синие сумерки проступает третьей экспозицией неизбывающийся сюжет. Точнее, самое начало сюжета, завязочка, а дальше от каждого из узелков — след. словно тот, что остается на фотографиях с большой выдержкой от выступов и углов промчавшегося автомобиля или любого другого быстро движущегося предмета. Смазанные, расширяющиеся и размывающиеся полосы. Сюжет — Боже, дай мне додумать Сюжет!

Балеары. Июнь

— Sergei, I wanna just now... Sergei, well, now, I said, come on... Let's go... fucking... Sergei!*

— Ну, блядь, когда же ты от меня отвалишь!— сказал Сергей громко, глядя прямо перед собой на дорогу. Голос Юльки доносился из глубины комнаты, не заглушаемый даже треском моторов. Так же просто через час она будет требовать еды.

По дороге примерно раз в полчаса проносились компанией в пять-шесть машин веселые ребята в джипах “судзуки-сантана”. Какая-то фирма удачно придумала эти экскурсии по острову для богатых юных остолопов, готовых арендовать тридцатитысячедолларовую машину. Выложить несколько тысяч песет, чтобы промчаться под июньским белым солнцем, в пыли, вцепившись в толстую трубчатую раму, торчащую над кургузым кузовом, в цветастых шортах, в драных майках, в бейсбольных шапках козырьками назад, с девками, не напоказ, а, видно, вправду забывшими, что титьки, трясущиеся под майками, — это отличие пола, а не просто так.

Сергей ненавидел этих говнюков. Ненавидел в одном ряду с сухим, высоким, платинового цвета солнцем; с небом, появление облаков на котором непредставимо; с белой чистой пылью, не пачкающей тело и одежду; с легким воздухом, как бы лишающим человека части веса; с морем, в котором видны камни и раковины на четырехметровой глубине; с лесистыми скалами и обрывами к воде, похожими на декорации к костюмному фильму; с террасами, по которым бродят, брякая колоколами, бараны в ватном меху; с петляющими дорогами, где все разъезжаются и разъезжаются джипы, и автобусы, и “сеаты”, и фургоны “вольво”, и бетоновозы с крутящимися косыми трехтонными кувшинами, идущие к строительству очереднойвиллы... Разъезжаются на горной дороге метра три в ширину — и ни одна зараза не заденет другую, не чиркнет по крылу, не закрутятся колеса над пустотой, не затрещат деревья и ограды

*Здесь и далее персонажи пользуются странным английским, что в конце концов получит объяснение.— Авт.

террас под кувыркающимся через раму, расшвыривая цветастые шорты и майки, джипом...

Здесь, на ближней к Пальме окраине деревни Эстаенч, у прошивающей деревню трансостровной дороги, Сергей снимал номерок в двенадцатикомнатном пансионе уже не то десять месяцев, не то сто лет. Он точно знал, что этот остров — лучшее место на земле, лучше не то чтобы не бывает, а и не должно быть. И он ненавидел это место так, что внутри все заходило и в глазах темнело.

Юльку он ненавидел еще больше.

— Серг'эй, ну, ти, старайя жоп'а.— Юлька перешла на русский, Сергея передернуло.— Езли твой уже не зтоит, скажи честьный. Old bloody abstinent.

— Я тебе, падла черная,— пробормотал Сергей, разбирая шторы, чтобы вернуться с балкона в комнату,— сейчас дам абстинента...

Юлька валялась на кровати — почти прямо на матрасе, большая часть простыни съехала и лежала на полу из искусственного, прохладного только на вид мрамора. На пол же были брошены толстый, развалившийся на две части номер “Космополитена”, Юлькины черные джинсы и ее же, не по размеру широкая, белая майка с желтым кругом и надписью “Hard Rock. London”. Бессмысленность, которую видел Сергей в этой надписи, приводила его в бешенство.

Он остановился у кровати. Солнце процеживалось в комнату сквозь кирпично-красные шторы и жалюзи на створках окон по сторонам балконной двери. Бордельный свет от штор наполнял комнату, но кровать стояла у дальней стены, и здесь освещение было уже не красным, а скорее лиловым, цвета сливы или кровоподтека. В таком освещении Юлька выглядела лучше всего — потому, а не только по лени, вечно здесь, на кровати, и пребывала. Кожа блестела темным золотом, цепочка на щиколотке посверкивала золотом светлым, глаза, черно-золотые в голубом, чуть покрасневшем обрамлении белка, отражали какие-то дальние, невидимые огни, и черно-коричневые кудри вокруг головы и под животом дымились. Одну ногу она согнула в колене и поставила ступню на полусъехавшую простыню, другую закинула на колено согнутой и покачивала, подрагивала цепочкой на щиколотке в такт вондеровскому, никогда не на-

доедавшему "I just call to say I love you". Батарейки сели, и маленькие колонки плеера хрипели едва слышно и с подвывом, но Юльке это было все равно. Цепочка вздрагивала, волосы дымились, лиловый свет сгушался к подушке, и невидимые огни отражались в глазах.

— Come on,— сказала Юлька.— Come on, Серг'эй, хоч'ю, трахни меня... Honey... Do it, honey.

Сергей стащил длинные шорты, одна штанина у них была розовая, другая желтая, Юлька когда-то купила их в Пальме, это уродство. Но старые английские военные, купленные еще на Клиньянкуре, давно разодрались полностью, и пришлось натянуть клоунские — модные. Юлька была от них в восторге. Сергей стащил шорты и стряхнул с ног зеленые альпартаты с примятыми задниками.

— Держись, зараза,— прошипел он сквозь зубы и повалился, вцепился в нее, в потный ее загривок под этими проклятыми дымящимися кудрями, уперся, стирая локти о жесткую обивку матраса, саданул изо всех сил, словно вбивая ее, да и вправду желая убить, растереть, уничтожить, обратить в ничто, снова саданул, уже ткнувшись лицом в подушку, забивая рот волосами, хрипя,— держись, я убью тебя... убью...

— Oh, yes,— она запела свое всегдашнее,— oh, yes, yes, yes... fuck me, fuck me... oh, yes, yes, yes...

Красное, лиловое, золото, дым. Сергей поднял лицо. Юлька лежала, крепко зажмурившись, ему так и не удалось приучить ее держать глаза открытыми, она взвизгивала все громче и при этом скалилась, обнажая и зубы, и десны, и он уже знал, что сейчас будет, приготовился, напрягся, упершись в матрас выпрямленными руками,— и она извернулась, мгновенно стекла, съехала вниз, а он, выгнувшись, тут же почувствовал чуть-чуть, не больно сжавшиеся зубы и язык, двинувшийся по кругу.

Красное, лиловое, золото, дым. Сергей застонал, взлетел над нею — и рухнул рядом на спину.

Тут же дверь номера открылась, и вошли двое. Сергей узнал в них русских немедленно — хотя никаких русских здесь не было и быть не могло.

Обязательно привяжутся к тому, что она черная. Будь она брюнеткой, рыжей, хоть зеленоволосой — это стерпела бы любая, но черная кожа будет слишком сильной метой, все начнут ломать голову еще при чтении, а потом кто-нибудь и прямо спросит. Мол, это кто же? Где же? Откуда такой опыт по части дымящихся негритянских волос?..

И конечно, не миновать обиженного, повернутого внутрь взгляда, молчания, потом слез, тихо ползущих от уголков глаз вдоль носа красивыми каплями и расплывающихся в бесформенную мокроту в складке возле рта. Никогда не поверю, теперь я уже точно знаю, что у тебя с нею роман все это время. У тебя-то сил не хватает? А то я не знаю тебя, это ты кому-нибудь рассказывай насчет сил, а не мне. Потом слезы все-таки высохнут, только останется обиженное выражение, а глаза уже просияют. Не пиши больше такого, ладно? Мне от этого ущерб. Ишь ты, будет каких-то черных расписывать и воображать их в постели! Меня воображай... Это и есть ты, везде ты, только я придумываю разные воплощения тебя — какие могу вообразить... А, значит, ее ты можешь вообразить? Значит — было! Да не было, если б было, я бы тебе сказал, я же тебе все рассказал, что было... И что помню... “Помню!” Ты бабник, я тебя ненавижу. А я тебя люблю. Правда? Правда, и ты сама знаешь, а ты меня любишь? Любишь — любишь. Скажи так еще раз. Как? Скажи “любишь — любишь”. Любишь — любишь. Еще. Любишь — любишь. Еще. Любишь — любишь, а ты уже опять? Да. Опять можешь? Я всегда могу с тобой, помнишь, в Риге мы оба уже спали, а я мог еще и во сне. Скорей, ну, скорей. У нас с тобой никогда не будет революции. Почему? Потому что у нас верхи всегда могут, а низы всегда хотят. Ты болтун. Я молчу. Нет, говори, говори что-нибудь. Потом. Потом. Говори. Говори. Я говорю, я люблю тебя. Люблю. Девочка, милая, солнышко, люблю тебя. Говори. Люблю. Говори, говори. Люблю, люблю.

У себя дома она такая же, как в пыльной полузаброшенной мастерской, ей не мешают тени и следы домашних, все время лезущие в глаза; женщины устроены куда проще,

смотрят на адюльтер трезвее; однажды она сформулировала это раз и навсегда — ведь никому никакого ущерба, если никто ничего не знает, значит, надо только, чтобы никто ничего не знал, надо все устроить, продумать и ничего не бояться.

За окнами, наверное, день, солнечно, микрорайон пуст, только бредет по школьному двору пацан-прогульщик, да сквозняки гуляют в проемах, устроенных будто специально для сквозняков посередине нескончаемо длинных домов. Теплый Стан полон сквозняков, ветры пробирают Теплый Стан до самых его панельных костей и упираются в лес, стоящий на задворках детского комбината. Смешное название, будто именно здесь делают детей. А их сюда отдают уже сделанных, а делают вокруг, в ячейках этих несчетных крольчатников, ночами, после телевизионных новостей или видеофильмов. Видео за последние пару лет наполнило крольчатники, как лет десять назад стерео. Некоторые успевают и утром, потом, правда, приходится очень спешить к метро, навёрстывая пятнадцать потерянных минут, или психовать у светофоров, постукивая по тонкой, нищей баранке “жигуля”. Сейчас день, только здесь, за шторами, время неопределенно, как неопределенна, ненормальна ситуация. Эта клетка крольчатника не в порядке, здесь ночь не вовремя и страсть не по телепрограмме, а за окнами Теплый Стан пуст, только сквозняки и солнце...

Понимаешь, там, на этом острове, обязательно должна быть чернокожая, с золотой цепочкой на шиколотке, ленивая, распушенная, научившаяся по-русски только мату, абсолютно безудержная в постели, это ты же, только цвет другой и судьба соответствующая. Но ты была бы такой же, если б в семнадцать лет сбежала из своей айдахской или канзасской глуши, от родителей, верующих в телепроповедников еще сильнее, чем в Бога, — и пошла шляться по Европе, и на Бобуре, полной кдоунов и безумцев, бродяг и международной шпаны площади, косо лежащей у похожего на корабельный дизель центра Помпиду, встретила бы русского. Отец — офицер-десантник, брат — офицер-десантник, рязанское училище, кроссы, кроссы, кроссы, каратэ, стрельбы, стрельбы, стрельбы, Кабул, Кандагар, Герат, гашиш, гашиш, гашиш, удар прикладом, к счастью, через

подшлемник, выше шеи, плен, Пешавар, деревня под Цюрихом, Квебек, Мюнхен, Париж...

На Майорке, на богатом пляже Форментор, где бродят по сверкающему белому песку богатые немки, шведки и американки с лицами тридцатилетних, подтянутыми титьками на хорошие сорок и узловатыми коленями, выдающими настоящие шестьдесят, он пристроился. Носил за такой красавицей шезлонги и полотенца, натирал ее сухую и тонкую, сплошь в рыжих веснушках кожу английским кремом, кидал в воде огромный мяч, приносил пол-литровые серые банки пива “Хенингер”, которое она пила, чередуя с вином, как франкфуртский вокзальный алкаш. Бродил по пляжу в длинных и широких шортах, выцветшие добела волосы были собраны сзади в косицу, в левом ухе болталась серьга — все, как положено здешнему жиголо. А вечером надевал черный шелковый пиджак, подвертывал рукава — бабам очень нравилась эта мода, открывающая мощь волосатых рук, на правом запястье брякал браслет, на левом — два, цепочки блестели на шее, выделяясь на красно-бурой коже вечно загорелого блондина... И шли танцевать, он плотно прижимал мягкий живот и туго упакованную грудь, прижавшись, крутили задницами под суперхит сезона, гремющий круглые сутки по всему миру. Потом он гладил как бы ничем не наполненную кожу,двигающуюся под руками, словно шелковистый полупустой пакетик из супермаркета, более или менее профессионально стонал, воспроизводя страсть и бдительно следя, чтобы она, взревев, не вцепилась ногтями, — потом же сама будет на пляже смущаться — и, переждав минуту-другую после того, как она кончала орать и дергаться, бурно демонстрировал собственные судороги. Через полчаса, приняв душ в ванной, жарко блистающей медными кранами и черным кафелем, выпив стаканчик “Гленфиддиша”, дивного виски, которым, с учетом его вкусов, всегда был полон бар в номере, он целовал усталую старушку, наивно делавшую вид, что уснула, сиделся в приличненький “остин”, подаренный ее предшественницей, совершенно потрясенной русской мощью и размахом, — и ехал к Юльке.

Тогда они жили в Пойенсе, вскрыв брошенный каменный сарай на запущенном винограднике. Юлька возвраща-

лась иногда чуть раньше его, иногда на рассвете, с дороги раздавался рев тормозящего “БМВ” или “сааба”, хамски громкий немецкий или шведский гогот — и она появлялась, на ходу стягивая черную блестящую юбочку и развязывая золотистую косынку, которой обматывала минимум верхней части тела, швыряла эту свою ночную спецовку на стоящий посреди сарая резной ларь, притараненный Сергеем с придорожной свалки, и через десять минут они оба уже хрипели в смертельной, на истребление, войне, начавшейся еще в Париже, да так и не кончающейся. Тонкими, но удивительно сильными ногами она упиралась ему в грудь и шипела: “No... You can't do something... You can't... no... oh... yes, yes, yes... do it... fuck me, you, Russian bastard, do try...”

Оба побаивались эйдса, но делали, что могли: она — ртом, не давая опомниться изумленному баварцу или фламандцу и вытащить из памяти все остальные картинки в детстве изученных руководств, а он — старательно организуя ситуацию, в которой затисканная, зацелованная до темных синяков бабка не замечала или считала приличным не заметить его недолгой сноровистой возни с супернадёжным, электронно испытанным изделием сингапурского индустриального чуда.

...Из сарая их выгнала полиция, наведенная перепуганными соседями-индусами. Никак они не могли привыкнуть к Юлькиной манере идти утром в деревенский магазин попляжному. Почему-то вблизи моря вид голых сисек их не шокировал, по Форментору уже и пятидесятилетние бродили, размахивая и шлепая своими пустыми останками, а в лавке их, видите ли, это коробило. Если б не Юлькин паспорт с орлом — могло бы кончиться и хуже.

Но денежки уже поднакопились. В то утро Сергей заехал попрощаться с милой подругой — благо ей подошло время переезжать на очередной месяц в Дубровник. Юлька ждала в машине, матеря на двух языках индусов, испанцев, немцев и прочих дикарей. Сергей расцеловался, искренне пожелав мамаше веселой любви с сербскими коллегами, шагнул к двери, глянул на расписную ацтекскую сумочку, валявшуюся на полу, — и поднял ее, посмотрел хозяйке в глаза. Наполненные светлыми старческими слезами глаза мигнули, дама закивала: “Si, si... moneda... si, Serhio... si...”

Она всегда почему-то говорила с ним, собирая свой десяток испанских слов, говорить с русским по-английски или тем более по-немецки ей казалось странным. Сергей раскрыл сумку и из свалки банковских карточек, узких крон, мятых рыжих пятидесятимарковых бумажек вытащил серо-зеленые, узкие и длинные доллары, будто специально для него туго свернутые в толстую трубку, перехваченную желтой резинкой. Она кивнула еще раз, уже не так уверенно. Сергей сунул деньги во вздувшийся задний карман шортов и вышел.

В Эстаенче они бездельничали, ругались и трахались. К осени собирались в Лондон — еще в марте один малый предлагал Сергею место гарда в какой-то пакистанской конторе, контора была не слишком чистая, наверняка приторговывали и оружием, и гарду обещали платить прилично.

...Был июнь, над Майоркой бесновалось, выжигая мысли, солнце. Когда они вошли, Сергей удивился, почему он понял все и сразу. Тот, что стоял справа, наверняка и сам прошел через Афган, может, даже прапор. Левый был похож на комсомольского вожака — обрюзгло-бабье лицо бывшего мальчика, причесан старательно, чуть на уши, и воротничок рубашки аккуратно отложен. Сергей опустил руку — на полу с его стороны, рядом с кроватью, всегда лежал нож, мощное оружие *magines*, черный широкий клинок и ручка в кожаных кольцах, ровно и тяжело, как снаряд, летящий нож со странным названием “Ka-Bar”. Тот, что стоял справа, поднял руку с короткоствольной “коброй”. “Не дергайся, Серега, — сказал он, — я не тебя, а девуку, если что, мочить буду”.

Ты все придумываешь, как в американском кино. Ну и что, разве не интересно? Интересно, но не похоже на правду. Если будет похоже, ты не будешь слушать, и потом у нас ничего не получится. А так немного отдохнем — и снова... Разве плохо? Хорошо. Ну, рассказывай, рассказывай... И вот еще что я хочу тебе объяснить: это на нашу жизнь не похоже, на твою и мою. Так ведь мы же не такие, я не жиголо, а сочинитель московский, и ты не черная бродяжка, а мирная дикторша, царица перестроечного эфира, здравствуйте, дорогие телезрители, сегодня на съезде народных депутатов... Но уже и здесь, рядом с нами, живут другие люди,

в кооперативных обжорках стреляют из автоматов, в роще у Лобни вешают на деревьях и мозжат голени монтировками, лубянские специалисты готовят автокатастрофы — что же ты можешь представить себе про ту жизнь, где жара, белое небо без облачка и свобода? Поверь, там все покруче... Да ладно, не заводись, рассказывай, рассказывай... Уже не хочу. Лучше иди сюда... Вот так. Так лучше. Вот. Хорошо.

Мюнхен. Май

Дождь прошел, между плитами велосипедной дорожки, отделенной от тротуара свеженакрашенной белой полосой, еще стояла влажная чернота. Двадцатый трамвай, чуть громыхнув, пересек Принцрегентенштрассе и понесся вдоль низкой ограды Энглишгартена.

По широкой аллее, идущей в парке параллельно улице с трамвайными рельсами, он привычно спешил, треща косями каблуками ковбойских сапог по мокрому серому гравию. Ветер еще был не летний, прохладный, на ходу он поймал и застегнул молнию черной кожаной куртки, мысленно обругал свою модную прическу, выстриженные виски — холодно же, мать бы их с ихней модой!

Так и не привык он после родной своей Харьковщины к холоду. Ни к страшным, проклятым, срезающим любой открытый выступ — хоть палец, хоть нос — ветрам, полировавшим палубу в Северной Атлантике, ни к ледяной мороси норвежской осени, когда, голодный до кругов в глазах, шатался он бессмысленно по Гренсен, сворачивал на Акерсгата, и чистые грубоносые норвежцы сторонились колеблющейся, неверно шагающей фигуры, ни к сырости здесь, в сравнительно теплой — а все ж не Украина! — Баварии.

И остался вечным ужасом тот, последний, разрушающий холод черной жирной воды между черными, уходящими в черное небо стенами бортов, когда он плыл, и плыл, и плыл, с эквадорского рефрижератора на весь порт грохотала музыка, на причалах сияли слезливые огни, и он плыл, делая перед самым собой вид, что не замечает, как теряет дыхание...

Он перешел по короткому мостику над бурно, по-театральному несущейся водой и вышел к станции, пошел вдоль забора. На противоположной стороне улицы жались одна к

другой машины сотрудников. Как повезло все же, подумал он, что среди этих приличных, хорошо образованных, серьезных людей нашлось место. Кто он такой, в сущности, какой из него оператор? Два года возился с убогими пультами непрофессиональной советской рок-группы, да три года службы... Беглый корабельный радист, вот и вся профессия. Диплом нужен, диплом, а то выпрут со станции — и конец...

За воротами, миновав будку охранника, который ему кивнул и даже подмигнул — мол, опять без мотоцикла, значит, вечером по пиву, как-то они потрепались немного с этим немцем, — он поднялся на низкое крыльцо, прошел мимо еще одного охранника, не останавливаясь, поскольку тот проверял только сумки, — и тут из-за стеклянной двери ему замахал Глебка из украинской службы, выскочил навстречу:

— Слухай, тобі до дому потрібно зараз, понял? Ютта зазвонила, шось с хлопчиком, не зна шо...

— Шо таке? — От неожиданности и с перепугу Юра тоже перешел на мову, хотя они с Глебом обычно говорили порусски, на чем и сдружились: и хохлы нечистопородные, и в москалях не вышли, харьковчане. — Шо зробилось?

— Я знаю? — Глеб пожал плечами. — Давай зараз твоим сэрвиси пиду скажу, а ты в такси да ехай...

Юра выскочил за ворота, на счастье, тут же тормознул такси. Пока ехал, в уме мелькало, повторяясь: Юра унд Ютта... Юра унд Ютта... Едва ли не первые слова по-немецки, которые он услышал. Они ехали в ночном грязноватом поезде, в соседнем купе турки громко спорили за картами. “Юрик?” — не поняла она его харьковского имени. “О, Юра, я, я... — И несколько раз повторила: — Юра унд Ютта, Юра унд Ютта”. И вдруг погладила его по голове — сразу, в мгновение, став и матерью, и женой, и сестренкой, и любовницей — хотя еще месяц гуляли вечерами по Кауффингерштрассе, держась за ручки и даже не целуясь... А теперь не было дня, чтобы хоть раз он не подумал: лучшей семьи, чем эта немка на десять лет старше и ее тринадцатилетний пацан, для него, харьковского хулигана — “ракла”, да еще и еврея, только здесь, не в России, ставшего “русским”, — лучшей семьи не могло быть, хоть бы всю жизнь искал...

Он со второго раза попал ключом, и широко распахнул дверь, и крикнул: “Ютхен... Ютта...”, и тут же заткнулся, почувствовав словно давно ожидаемое: ствол, прижатый к спине, к пояснице, к почкам...

— Не гаркай, — сказали ему сзади, — охолони, хлопец.

3

День брал резко с утра, небо прояснялось часам к одиннадцати, солнце шпарило над Пушкинской, над средоточиём новой жизни — между рекламой “кока-колы” на доме, где еще помнилась стоявшая на ротонде имперская каменная девушка, и мавзолейной очередью в “Макдональдс”, котлетный остров свободы на месте еще вчерашней хулиганско-фарцовочной “Лиры”. Над шизоидной тусовкой у полусторевшей газеты, над подземным переходом, собравшим все девять кругов нового ада, заменившего рухнувший старый, над нищими, богачами, бандитами, милиционерами, железными трубчатыми переносными загородками, над очередной телегруппой, снимающей очередное безумие вечно безумной страны, — надо всем шпарило солнце и выцветало желтоватое дневное московское небо. День набирал скорость, мчался, гремел мелочью получасовых опозданий, ненадолго застывал в какой-нибудь забегаловке, делающей деньги и иллюзию сытости с помощью пирожков с чем-нибудь пока недефицитным, горячих бутербродов, скрадывающих мыльный вкус сыра, и чудовищного азербайджанского коньяка — и мчался снова к концу, к семи, когда пора тормозить, валиться на отвратительный для потной кожи шершавый палас, покрывающий старый диван, и бредить картинками, воображать слова и одежды, машины и оружие, смуглых и рыжих людей, объятия и убийства, постели и мостовые — жизнь.

Картинки плыли, звучали голоса, а придумывать между картинками связки и последовательность не было сил. Да и не важно это — как они открыли дверь, как вошли неслышно, почему впустила их женщина, как выследили, проникли в страну, подкараулили... Все это было возможно, логика не имела значения, а все детали не прорисуешь — жизни не хватит. Если описывать жизнь в темпе и с точностью самой

жизни, успеешь описать только свою. И то не отвлекаясь, а лишь покрывая страницу за страницей двумя словами: “я пишу, я пишу, я пишу...” Значит, надо опускать детали, авось остальное допридумают, а твое дело — бредить картинками и записывать главные из них так, чтобы заставить прочесть и увидеть сыроватый после дождя Мюнхен, или раскаленную каменную деревню на откосе лесистой горы, спускающемся к спящей зелени воды, или сизую пыль, ложащуюся на лондонский тротуар под строительными лесами, загроздившими со всех сторон Пиккадилли-серкус.

Как, уже Лондон? Ну ты даешь! Теперь уже и я ничего не понимаю: а в Лондоне-то кто? Тут нечего понимать, ты просто слушай и старайся представить себе картинку, а остальное придумай сама — кто кого находит, и как, и зачем... А потом все окажется не так! Вот и хорошо, вот и интересно, разве нет? Сочинитель. Да, сочинитель, профессиональный вран. Хороша профессия! А чем хуже другой? Вот ты лежишь себе, а я тебе картинки рисую, сказки рассказываю, а другой уже включил бы телек, посмотрел бы сессию — да спать... Другой бы не мучил, и я бы не мучилась. А разве тебе не хочется мучиться? Хочется, но не настолько, я умеренная мазохистка. Ну, расскажи, расскажи, ну, из-за чего ты сейчас мучаешься? Ты правда этого хочешь? Ну, слушай: ты уйдешь, и у тебя там будет другая жизнь. И ты там тоже будешь счастлив и добропорядочен, и будешь сидеть, чистый и благостный, и будешь записывать свои дурацкие картинки. Да, буду, а ты? А ты будешь так же сиять глазами ему, и он будет ждать тебя в машине после эфира, и перегнетса из-за руля, и ты его поцелуешь в щеку... Ведь поцелуешь же? Ну и молчи, и хватит, иди сюда, молчи.

Все так и было. День неся, рассекая все существо пополам, рвалось сердце, она стояла босиком на грязном полу, широкобедрая, сразу уменьшившаяся без туфель, с чуть выступающим животом над светло-рыжим удлиненным островком тонких и почти не выющихся волос, надо было торопиться, стаскивая с себя одежду, а она бормотала как во сне. Вот здесь, здесь... немножко... ну немножко укуси, ладно? И теперь сбоку, пожалуйста, я хочу сама, ты мне меша-

ешь... не двигайся.. Ее рука ползла вниз, палец прятался, она стонала все громче, закинув голову назад и чуть вбок, палец скользил все сосредоточенней и неудержимей, и надо было лежать, не двигаясь, все новые и новые толчки горячей влаги обнимали, и, наконец, мир рушился.

День преодолевал остаток дистанции, шершавый палас впивался в потную спину, и картинки плыли в сумерках, пора было ужинать, но в Москве в жару есть не хочется. Разве что сначала рюмку-другую проклятого азербайджанского...

Ты отсутствуешь, мы уже давно не разговариваем по вечерам, ты ешь с отсутствующим видом.

Надо промолчать. Все справедливо, вы все правы, но почему-то никто, никто из вас не хочет вместе со мной, сейчас, без всякой логики и пересказа предшествующего — туда, в Сюжет, который заключается в том, что самые разные и трудно представимые картинки могут вдруг оказаться связанными неразрывной, прочнейшей цепью внутри еще одной картинки, в которой — все концы и начала, вся жизнь. Как в одной давно виденной карикатуре: на руке, на пальцах, кукла, а на кукольной руке — меньшая кукла, а на ее руке — еще меньшая... Я придумываю картинку, а в той картинке люди придумывают картинки, а в тех картинках...

Только в обратном порядке. Предположим, очередная маленькая картинка как раз и может быть там, под лесами, в сизовой пыли ремонтируемого этой весной знаменитого лондонского круга.

Лондон. Апрель.

В это воскресенье они, как всегда, встали рано, а выбрались из дому только около полудня. Поехали в Сохо, бродили, сначала с удовольствием, а потом не без отвращения пробиваясь сквозь толпу. Посидели, взяв по кружке светлого, среди полоумных на Карнаби, поели в “Симпсоне” на Стренде, выбравшись туда заплыванными переулками и всю дорогу обсуждая, как возникла обнаруженная в одном из закоулков Сохо странная, но абсолютно грамотная русская надпись четвертьметровыми черными буквами на глухой стене: “Это нечто большее, чем судьба,— это в крови”. Кто этот придурок среди немногих лондонских

русских — это ведь не Нью-Йорк и не Париж, — додумавшийся до такой многозначительной бессмыслицы?

Со Стренда они повернули направо, миновали Трафальгарскую площадь. У южноафриканского посольства прыгали, колотя в барабаны и распевая всякую дурь, протестующие против апартеида, полицейский со свежевыстриженным затылком стоял рядом, заложив руки за спину. Шлем он снял и держал за спиной, короткие светлые волосы над загривком были мокрые от пота — жара стояла ненормальная. Внизу, у колонны, фотографировались туристы, японцы образовали идеальный групповой снимок, итальянские дети лезли на постаменты памятников и гоняли голубей. Вниз по Уайтхоллу неслись машины, из-под носа дабл-дека выворачивалась очаровательная каракатица “Morgan”, спицы мелькали в колесах.

Тут он почувствовал, что безумно дорогой и омерзительно невкусный симпсоновский обед — вечно по воскресеньям они выбирали что-нибудь несообразно дорогое и невкусное — уже дал себя знать. Они быстро, срезая углы и переходя на красный, вышли на Пиккадилли-серкус, бог плотской любви был загорожен щитами на ремонт, что-то тут натворили очередные сторонники справедливости, здания вокруг площади через одно были в лесах, на тротуаре лежал тонкий слой белой строительной пыли, и даже рекламы на знаменитом углу были будто слегка припорошены. Впрочем, ничто не мешало толпе жевать котлеты под навесом “Burger King”.

Он спустился в сортир у входа в метро, прошел в кабинку, заперся, с отвращением уставился в однообразные — правда, некоторые были исполнены весьма умело — картинки и надписи, бесконечно предлагающие одно и то же. Здесь были fuck и suck в переносном смысле, в основном по адресу враждебных болельщиков, но были и в буквальном, с телефонами и адресами встреч, — заведение имело ярко выраженный гомосексуальный характер. Кто-то даже поднялся на политический уровень, создав призыв: “Gays, be proud!” Лозунг этот был написан как бы на стяге, а стяг укреплен на двух напряженных предметах, которыми, видимо, и предлагалось гордиться пидорам всех стран... Он застегнулся, туго затянул ремень.

И почувствовал, что сейчас должно произойти нечто, почувствовал так же точно, как если бы кто-то вдруг крикнул: “Внимание, капитан Олейник! Внимание!”

Дважды было с ним так. Первый раз в Анголе, когда этот голос крикнул ему прямо в ухо: “Встать! Тревога!” Он открыл глаза, но ничего не увидел — беспросветная тьма наполняла палатку, и снаружи не проникало ни лучика, облака шли густые уже неделю, вот-вот могли начаться дожди. И во тьме он услышал даже не шаги — ровный глухой гул, топот многих десятков ног по выбитой земле, и мгновенно понял, что все уже произошло и сейчас раскрашенные совершенно им не нужным маскировочным камуфляжем ребята из УНИТА заканчивают окружать каждую палатку в отдельности, следуя точным командным жестам южноафриканских инструкторов в косо примятых шляпах. “Тревога, — заорал он не вставая и, в нарушение всех инструкций, по-русски:— Тревога! К бою!” И тут же скатился с койки, пополз уже между ногами мечущихся по палатке кубинцев туда, где был оставлен взводный огнемёт, схватил его, потащил ползком, рванул кверху полог палатки и саданул первую порцию косо вверх, и попал, лагерь мгновенно осветился, факелом вспыхнул малый в одних шортах, его “калашников” взлетел вверх и исчез во тьме, вопли заполнили мир реальностью, рухнул кошмар, и начался обычный, бестолковый, больше руками и зубами, чем оружием, ночной бой. Он полоснул еще раз, стараясь захватить как можно больший сектор, бросил трубу огнемёта, рванул из-под корчащегося и сворачивающегося, словно сторевшая ветка, еще одного черного его старенький “томпсон” с круглым магазином и пошел вперед, расчищая перед собой пространство веером. Он шел прямо, автомат дергался и рвался из рук, ответных выстрелов он не слышал... Вдруг он оказался на дороге. Здесь стоял “Т-62”, из люка высунулась голова и спросила с неистребимым кременчугским или кировоградским спокойствием, обращаясь к самой себе: “А шо ото оно стрэляе?”

...Повторилось это в Страсбурге в прошлом году. Они гуляли где-то в районе Гран рю. Был изумительно теплый августовский вечер. С какого-то моста они рассматривали людей в кафе на набережных, огни в сияющих окнах дворца на

острове — потом оказалось, что это дом престарелых. Из медленно ехавшего вниз, под мостом, сиреневого джипа бухала музыка — такая была в этом году у молодых по всей Европе мода: включать на полную стерео в открытой машине и гулять, наделяя всех набравшей новую популярность в связи с мировым туром Тиной Тернер. Музыка на мгновение заглушила все, неистовая Тина завопила “Look me in the heart!”, и тут он услышал: “Внимание, Володька, сзади справа...” Он оглянулся, одновременно положив руку Гале на плечо и отталкивая, отодвигая ее от себя. Справа по мосту подходили двое — обычные здешние пацаны, в сапогах, в кожаных куртках “перфекто”, в джинсах, обтягивающих, как рейтузы. Он продолжал отодвигать от себя, отталкивать как можно дальше Галю, а сам уже шагнул им навстречу и увидел в руках у одного хорошо знакомые палки, связанные цепочкой, палки качнулись и закрутились, сливаясь в мельницу. Второй сунул руку назад под куртку и мгновенно вытащил ее с ножом, рукоятка-кастет, толстый клинок...

Он понял, что его нашли. Он был уверен, что в конце концов его найдет ГРУ или болгарские друзья по поручению Старшего Брата. Но в полиции оказалось, что ребята обознались, они искали какого-то торговца, задолжавшего поставщикам уже чуть ли не за полкило порошка. Им было велено выбить долг, больше ничего они не знали, а этот русский очень похож — тоже такой приглаженный, прилизанный, галстучки-платочки, настоящая буржуазная свинья. Кто ж его знал, что у него коричневый пояс... Он прыгнул, нунчаки очень удачно улетели сразу за перила, их оглушенный владелец поднял было руку ко лбу, на котором остался точный отпечаток каблука, — и рухнул, как бычок на арене. Второй прыгнулся, низко опустил нож, парень, видно, соображал в драке, пришлось хорошо крутнуться... На мосту уже визжали, от центра пробивалась полицейская сирена, он едва не задел какую-то тетку в широких шортах и сиреновой майке, оперся на правую и после еще одного оборота нашел-таки пяткой стриженный затылок.

Счастье, что не только оружия — даже ножика перочинного при нем не было. В полиции и без того достаточно

подозрительно рассматривали его бумажку, Галин немецкий паспорт и весьма холодно слушали ее объяснения на неблестящем французском...

Теперь он уже хорошо знал, что голосу надо доверять. Все-таки нашли, решил он, да и смешно было бы, если бы такой побег и все, что он здесь рассказал о доблестной рабоче-крестьянской, ему бы простили. Он вышел из кабинки спокойно. Он был вполне готов, и если они не начнут стрелять сразу, с тремя он сумеет работать на равных.

У дальней стены, у писсуаров, стоял немолодой джентльмен в темно-сером двубортном костюме, в хорошем галстукe, шелковый, вишневый, в мелкий рисунок платочек парашютиком выпирал из нагрудного кармана. Джентльмен мягко улыбнулся и механическим жестом слегка почесал мизинцем за ухом — будто прическу поправил.

— Драться не будем, Владимир Алексеич,— сказал он.— Мы ж не мальчики здешние, чтобы в сортирах драться. Галина Александровна сейчас движется в сторону Сент-Панкрас. Может, знаете: там как раз напротив вокзала есть торговля подержанной мебелью? Не обращали внимания? Ну ладно. Значит, если удачно такси сейчас возьмем, ей нас там и ждать почти не придется. Поехали, Лексеич, поехали, не волнуй бабу...

4

Ты знаешь, мне уже не очень все это нравится. Ты накручиваешь, и накручиваешь, и накручиваешь из своих путешествий, и получается просто среднее видео — дерутся, стреляют, стреляют, дерутся... Конечно, за всем этим стоит какой-нибудь полковник кагэбэ Торov или Нинов — они там всегда русские фамилии придумывают похожими на болгарские. Но ты же русский писатель, зачем тебе вся эта чепуха? Можно быть старым стилигой и не носить ничего отечественного, вплоть до трусов, но литература — это же все-таки не тряпки!..

В тот тяжелый, нелепый, с самого утра не задавшийся день они поссорились. Она смотрела перед собой упрямо, коротко сфокусировав взгляд. Глаза, когда на них падал свет

от промчавшейся навстречу машины, сверкали, в них стояли, слившись к нижнему веку, слезы. Он вез ее в такси, машина пробиралась по Шереметьевской, въезжала на один путепровод, другой и уже выворачивала на финишную прямую, на Королева. Приехали минут на пятнадцать раньше, чем рассчитывали, остановились доссориться под редким и крупным дождем, он закурил, и тут же тяжелая капля брякнулась на сигарету, намочив ее почти всю.

Знаешь, ты не заметила, наверное, но ты нарушаешь определенные границы. Мне в голову не приходит учить тебя адекватной мимике, дикции и даже грамотной речи, хотя ты постоянно говоришь о “другой альтернативе” и “отпаривании”. Что ж, что ты диктор, а текст готовит редактор, ты же считаешь себя интеллигентным человеком и могла бы не пользоваться советским новоязом...

Она уже откровенно плакала, отвернувшись от проходящих и отчаянно промокая еще не потекшую тушь, он курил, всасывая мокрую горькую сигарету, и чувствовал, что уже не остановится, что кончится плохо.

Ты хочешь меня обидеть, ты специально говоришь обидные вещи. Я думаю о твоей работе, о твоём достоинстве, а ты идешь на меня войной! Все, не могу больше... По-моему, ты просто решила, что можешь руководить мною, даже сочинительством! А я, между прочим, не мальчик, и есть читатель, которому именно мой кич, поп-романчики мои — подходят!.. Да я сама!.. Ну что, что ты сама?!

Она ушла на вечерний выпуск, он докурил и уже собрался ловить такси обратно, как увидел коллегу. Коллега прибыл на молодежную передачу в качестве именитого гостя и комментатора, редактор со всем почтением встречал знаменитость у входа. Через несколько минут был выписан еще один пропуск, они с коллегой уселись за кофе в полутемном баре. Кофе наливали в граненые стаканы — до половины. Коллега вытащил из заднего кармана чудесную английскую фляжку — в коже, с завинчивающейся крышкой, изогнутую по форме ягоды, — предложил хлебнуть скотча. Был он в последний год удачлив необычайно, быстро богател, с удовольствием этим пользовался, реализуя свои давние желания провинциального пижонистого парня, но глупел на глазах, становясь каждой бочке затычкой, ком-

ментировал даже и конкурсы красоты, и парламентские дебаты, рассуждал об экономике и истории и все время приплетал нравственный императив — увы, не всегда к месту.

— А я с бабой своей поругался, — глотнув, сообщил он знаменитости, тут же обругав себя в уме за идиотскую откровенность.

— Не переживай, старик! Поругались, помирились, дело житейское, а мириться всегда приятно, потом так получается, будто только что познакомился. — Гений хохотнул, порадовавшись своей пошлости, хлопнул его по плечу и пошел комментировать.

Он понял, что коллега имел в виду семейную ссору, и еще раз проклял себя за болтливость — при случае в общей компании этот самодовольный придурок чего-нибудь ляпнет... Еще ужасней было, что после глотка виски жутко захотелось выпить еще, а выпить было нечего и негде взять.

...Потом, как подростки, они стояли в чужом подъезде. Как хорошо, что ты дождался меня, какой ты умный и добрый, я ревную тебя ко всему, к твоим поездкам, к твоему тексту, и потом — почему это у меня халат короче рубашки? Значит, ты так меня видишь? Ну, не говори чепухи, нельзя же воспринимать беллетристику так буквально, а то припишешь мне все драки и убийства, которые я напридумывал, а какой из меня каратист и стрелок, если мне до сих пор жалко воробья, которого когда-то погубила моя кошка... Ну, я уже не сержусь, ты дождался, и все хорошо. Хорошо. О-ох... Знаешь, знаешь, на что это похоже? Когда водишь пальцем по переводной картинке, бумага сначала только сворачивается серыми катышками, потом начинает еще тускло, от середины к краям, проступать рисунок, тогда уже становится ясно, чем все кончится, и нужно слюнуть палец, и водить аккуратно и равномерно, не прижимая сильно, чтобы не повредить цветной слой, вот точно так слюнуть и, несильно прижимая, водить кругами и не отвлекаться — не отвлекай меня, — и наконец проступает все, и края, и краски оказываются яркими... Это бабочка... Или какой-то цветок? Нет, бабочка! Я поймала ее!.. Вот.

Снова ехали в машине, это был не таксист, а ночной

многоопытный левак, в Коньково он запросил четвертной и, получив согласие, тут же врубил музыку на полную, вездесущая Тина Тернер закричала на всю московскую ночь, в мокром асфальте отражались огни. Мокрая ночная Москва, да ночная же в свежем снегу, да, пожалуй, утренняя на исходе листопада — вот и вся красота этого проклятого, единственного в жизни места, а в остальное время видны помойки, руины, лужи в выбоинах и вечные стройки.

Понимаешь, совершенно неважно не только о чем сочинение, но и какова его каждая строка. Нужно только, чтобы время от времени возникало у тебя самого такое чувство, вернее, предчувствие... Ну точно, как у тебя с твоей переводной картинкой, понимаешь? Ты ведь знаешь, что эти занятия очень похожи... И вот, когда хотя бы одна картинка ожила, засияла, вспыхнула жизнью, — уже все в порядке, уже не зря сядил за машинку. Тогда остается еще одно: надо все дописать и кончить так, чтобы эта яркая картинка не умерла, не засохла, не перестала сиять, надо сохранить это дыхание и так кончить. Понимаешь? Здесь есть полная аналогия: у тебя одна картинка, другая, они проявляются, прорываются одна за другой, а я должен терпеливо тянуть свою линию, выдерживать ритм и при этом сохранять интерес, и стремиться к концу, к завершению изо всех сил, и в то же время сохранять для этого завершения силы, чтобы все не испортить!.. Ты слышишь, что я описал нашу любовь? А я слышу, что это инструкция по изготовлению романа. Собственно, любовь ведь так и называется — роман... Ты сентиментальный, старомодный, милый, любимый, красивый, я тебя люблю. И я тебя люблю.

Такси, такси, такси. Я пошла. Пока. Хлопнула дверь подъезда, загудел лифт, встал. Зажглось окно.

Поехали, командир.

Загляни в мое сердце, рыжая Тина советует правильно, загляни в мое сердце, любимая. Кто бы заглянул в мое сердце да объяснил мне, что там делается! У самого-то все времени нет.

Архангельское. Июль

То, что днем было очевидно как прозрачная узкая рощица, возможно, даже искусственного происхождения, но-

чью стояло непроглядно темным, угрюмо-шумным на ветру лесом; из тьмы тянуло сыростью, и узкий асфальтовый подъезд, ныряя в заросшую лощину и поднимаясь на невысокий холм, едва заметно светлел под дымящимся, скользящим в облаках лунным светом. Сырой и жесткий ветер входил в машину поверх левого приспущенного стекла, путался в коротко стриженных волосах водителя “Волги” и закручивался над пустыми задними сиденьями.

Аккуратный, в полушерстяной гимнастерке столичного округа, краснопогонный солдатик вышел на крыльцо кирпичного домика у ворот, осветил фонариком номер машины и скрылся в сторожке. Темно-зеленые ворота в глухом заборе поехали вбок, и “Волга” продолжила путь по узкой асфальтовой дороге среди точно такого же темного, но уже за забором, леса. Метров через двести водитель затормозил. Свет, падавший из широких стекол большой веранды сквозь полупрозрачные оранжевые шторы, оставляя во тьме зубчато-неровный силуэт большого трехэтажного дома, обозначил матовое золото погон, седину — и вновь прибывший ступил в яркий, теплый мир ночного застолья.

Вокруг застеленного цветастой клеенкой стола сидели четверо почти одинаковых мужчин — вроде спортивных тренеров: крупные, тяжелые, груболицые, между пятьюдесятью и шестьюдесятью, в тренировочных трикотажных куртках с высоко застегнутыми молниями, в кое-как натянутых трикотажных же штанах. Один сидел, далеко отодвинувшись от стола вместе с тяжелым, довольно обшарпанным стулом, темно-красная плюшевая обивка которого по краям сильно вытерлась и лоснилась белесым. Он покачивался на задних ножках стула и, закинув ногу на ногу, старательно удерживал шлепанец, зацепив его растопыренными пальцами и напрягая ступню. Трое, наоборот, придвинулись к столу очень близко, налегли на него локтями. Коньяк, несколько тарелок с нарезанной дорогой рыбой, остатками икры, жирной копченой колбасой, две переполненные окурками пепельницы создавали обычный натюрморт мужского стола, только качество еды и питья отличало этот стол от сотен и тысяч других, вокруг которых сидели в это время десятки тысяч мужчин в стране...

— Здорово, Иван Федорович. — Раскачивавшийся на но-

жках стула кивнул вошедшему, с неудовольствием глянув на его костюм. — Лучше ничего не придумал, чем в мундире приехать? Тут по трассе кто только не шагает, и дипломаты, и корреспонденты, вокруг их дачи, а ты своими эполетами сверкаешь... Небось еще и шофера привез?

— Сам за рулем, — обиженно ответил генерал, подсаживаясь к столу. Один из аборигенов в спортивной одежде тут же отыскал чистую рюмку, налил коньяку, поставил перед гостем. — Сам всю дорогу, понимаешь, за баранкой, как пацан, а ты еще мне вычитываешь...

— Ладно, — вздохнул, продолжая качаться, будто испытывал устойчивость стула, человек в шлепанцах. — Ладно, что с тобой делать... Ты же небось без своих звезд поспать не ходишь... ну, выпей, расслабься да включайся в разговор.

Лампы сияли на веранде, теплом наливались оранжевые шторы, светлые квадраты лежали на асфальте подъезда, на траве. И уютен был страшный ночной разговор.

— Значит, этот... танцор хренов, — генерал уже глотнул рюмку-другую коньяку и зажевывал их бледным куском осетрины, которую он, довольно сноровисто орудуя ножом и вилкой, завернул почему-то в лист гурийской капусты, — ебарь тропический... готов?

— Угу, — односложно ответил один из ожиревших спортсменов, с седовато-сизыми волосами, аккуратно уложенными и слегка начесанными по давней комсомольской моде на уши. Он потянулся чайной ложечкой, зачерпнул икры, ровной горкой свалил ее на микроскопический кусочек хлеба и мгновенно закинул все сооружение в рот. Прожевал одним коротким движением мощных челюстей, проглотил и продолжил: — Танцор-то он танцор, а пыли мы с ним наглотались будь здоров, пока уговаривали. Ломался, как целка. А сам небось и в Афгане не одного замочил, и когда по Европе катался, я точно знаю, руку в бабью сумку запускать не раз и не два... Сука — больше ничего! Ребята из плена на карачках к своим ползли, а он на второй день в мусульмане запросился! Мало ему, жаль, обрезали, на немок осталось... Еще полез на меня, гнида...

— Ну и на хера, спрашивается, такое сокровище нужно? — Тот, что продолжал качаться на ножках стула, про-

изнес свой вопрос упрямо-настырным тоном, видно, задавал его не впервые.

— Ты, видать, таких много знаешь, — неожиданно обиделся седой комсомолец, — а вот я в этом деле разбираюсь, все-таки десять лет после обкома — это тебе не хрен собачий, я профессионалом стал, и я тебе говорю, что в деле этот трахальщик стоит взвода, а то и роты вот его ребят, — он ткнул в генерала, — вместе со всеми их беретами...

— Ну, моих ты еще не пробовал, они бы тебе яйца-то вывали. — Генерал набычился так, что можно было бы и испугаться, но мужики вокруг стола, наоборот, засмеялись. Генерал треснул по клеенчатой столешнице кулаком: — И не хрена ржать! Я еще посмотрю на ваших специалистов драных, если я вам моих в помощь не дам. Джеймбонды штопаные!

Застолье разразилось смехом с новой силой — генерал, несмотря на три ряда цветных планок на широко наваченной груди мундира, здесь, видимо, ни уважения, ни страха не вызывал.

Один из смеявшихся вдруг резко умолк, перестал раскачивать стул. Это был лысоватый человек с черепом удивительно неправильной формы: плоский затылок, скошенный лоб и сильно выступающий вдоль лысины, как невысокий петушиный гребень, шов черепных костей. Тонкие светлые волосы вокруг лысины стояли ореолом.

— Хватит, действительно, ржать, — сказал он. — Не дети... Докладывай дальше, Игорь Леонидович.

— Ну, с еврейчиком было проще, — продолжил комсомолец тем же тоном застольной байки. — Даже не вякнул, как увидал своего фашистенка к розетке подключенным...

— Вот они, твои жиды да пижоны, так тебе и наработают, — перебил генерал. Все еще красная от возмущения шея его начала багроветь гуще. — Если ты их на бабах повязал, так не ты один такой умный...

— Помолчи, Ваня, — тихо сказал лысый, и генерал тут же заткнулся, продолжая багроветь уже угрожающе, предынсультно. — Давай, Игорек, давай...

— А вот капитан, — седой Игорек вздохнул, — действительно... как есть самый серьезный из них мужик, так себя и показал...

— Ушел? Плохо...— Лысый медленно поднял глаза, и отражения света вспыхнули и застыли в их желтизне.

— Ну, не ушел...— Игорек помялся, — но парня нашего одного, хороший парень, сейчас на полковника его представляю досрочно, повредил сильно... позвонки смещены, едва вывезли через Хитроу... В госпитале сейчас, на Соколе... Но все равно мы были правы — на бабу и этого взяли. Всех разметал, а бабы-то нету!.. Ну и сам к нам приплыл... Потом уж все кончилось, а он на коленях стоял: скажите, что будет жива, покажите ее, все сделаю. И заплакал, представляешь, Федор Степаныч?

— Представляю, — коротко ответил лысый. Свет опять блеснул и погас в желтых глазах. И в тишине он сказал задумчиво:— А мудака был все-таки этот... как его... ну в Африке где-то был наш парень... Амин, что ли? Людей жрал, мясо человеческое в холодильнике держал... Ну мудака — и больше ничего.

Потом они парились в бане, а краснопогонный солдатик, намертво заперев ворота и караулку, маясь вдруг беспричинной тоской, в нарушение всех инструкций бродил по участку и иногда заглядывал в окно предбанника. Сквозь щель, образованную чуть разошедшейся занавеской, ему были видны пятеро жирнобоких, тяжелоплечих мужиков. Они сидели на лакированных деревянных лавках вокруг лакированного деревянного стола и все жрали и жрали коньяк, и заедали рыбой, икрой, финской колбасой, бананами, тушенкой из железных банок, ананасами, американской жвачкой, сгущенным молоком, марокканскими апельсинами, сухумскими гранатами, сырым мясом с базара по тридцатке килограмм, швейцарским шоколадом, и сахарным песком без всяких ограничений посыпали ровненькую экспортную воблу без голов, туго набитую в стоячем положении в круглую банку. Дым “Мальборо” и “Кента” полускрывал порнуху, прокатываемую на видеке, и гремели двухкассетники.

Солдатик видел это совершенно ясно. И подумал, что, если бы туда воткнуть хотя бы одну гранату, кишками и мясом забросало бы все вокруг. И с этой мыслью он вернулся к воротам, потому что вот-вот мог пойти по постам проверяющий.

Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках, — приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия.

Все чаще в последнее время он задумывался о тех странных, по привычке казавшихся бессмысленными годах, которые принято считать, не вдаваясь, счастливыми, — о детстве и молодости. И получалось, что между ними и нынешней жизнью был какой-то незамеченный провал или рубеж, какое-то пространство, перейдя которое, он сначала изнутри, а потом и во внешних своих чертах стал совершенно другим. Что-то такое случилось, после чего и читать стал по-другому, и музыку слышать иначе — музыку, кстати, хуже и тупее, а видеть всё ярче и подробней, хотя иногда и наоборот: смазанно и без настроения... Главное же — думать стал. Не то чтобы как-то глубже или серьезней, а просто — стал думать. Выяснилось, что раньше не думал вовсе, обнаружили чудовищные пробелы не только в знании, половину классики из школьной программы либо вообще не читал, либо помнил смутно, но, что хуже, сам заметил удивительные лакуны в собственной системе мнений и взглядов. И вот заполнение, причем очень быстрое, всех этих пустот сделало его совершенно новым человеком, а прошлая жизнь ушла, исчезла, и если вспоминалась, то исключительно как чей-то не слишком интересный рассказ.

Вспоминался двух-трехэтажный поселок, степь окружала его полынью цвета парадных офицерских шинелей летом; дикой глинистой грязью — осенью; редким, с черными прорехами, постоянно сдуваемым снегом — зимой; снова грязью, начиная с марта; и наконец тюльпанами всех цветов. Мелкими разноцветными тюльпанами.

В поселке дома были двух типов: восьми- и двенадцатиквартирные, в один или два подъезда, как во всех поселках, выстроенных в начале пятидесятых. Посередине несообразно большой асфальтовой площади стоял дом культуры с колоннами и портиком. В левом от портика крыле

был спортзал, запах пота и пыльных матов, в правом — библиотека с невесть откуда взявшимся американским журналом “Popular Mechanics”, в котором джентльмен с узким длинным галстуком предлагал купить изумительную газонокосилку с незасоряющимся карбюратором. Вдоль узких асфальтовых дорожек внутри поселковых дворов к концу лета, когда уже приближалось возвращение в школу, пышно разрасталось кустообразное растение с поселковым названием “веники”. Солдатики с гауптвахты, без поясов, умеряли его рост — под наблюдением конвойного с автоматом ППШ, опущенным дырчатым стволом вниз, — без всяких косилок, косами, прямо посаженными на короткие ручки, вроде шашек, изогнутых в обратную сторону...

На кухне стоял приемник “Москвич”, отделанный по закругленной панели розовой пестровой пластмассой. Если хорошо постараться, на средних волнах, медленно перемещая по кругу тонкую красненькую стрелку, можно было обнаружить особенный хрип, потом неземной какой-то оркестр — и баритон: “This is the Voice of America. Jazz hour...” Иногда в словах Виллиса Коновера (с которым потом, пятнадцать лет спустя, то есть уже и пятнадцать лет назад, познакомился), иногда в его словах можно было услышать имя и узнать таким образом, что это оркестр Вуди Германа играет такую музыку, от которой возникает картинка улетающей назад дороги, движение входит в душу, и летишь в одной из тех хвостатых машин из журнала “Popular Mechanics”, и длинный узкий галстук закидывает ветер на плечо... В школе учили наизусть про птицу-тройку. Потом любил Гоголя, разлюбивал, опять любил безумно — и точно знал, что птицу-тройку выдумали в Штатах. О, бедная моя школа!

Пришла молодость, все продолжалось, и узкий галстук действительно отдувало ветром, оркестры, старательно и прилично снимавшие Вуди Германа и Каунта Бейси, гремели в торжественных залах дворцов культуры под красными узкими и длинными полотнищами, извещавшими, что нынешнее поколение советских людей будет, мать бы его так, жить при коммунизме, — все было, но растения “веники” уже отшумели, и, если бы оказался вдруг в их зарослях, они бы не достали и до колен.

Тут, видимо, и был тот самый рубеж между жизнью и жизнью, пустое время молодости, тупое тренировочное время, однообразный пот и пыльные маты не задевших души постелей, с прочитанными и вошедшими только в подкорку книгами, с чувствительностью кожи слишком сильной, делающей наслаждение быстрым и кратким, легко забываемым в нескончаемых повторениях... Боже, было ли это? Ну было, было. А зачем, Боже? Неужто сейчас дано понять смысл и назначение?

Ломая красные, реже желтые, еще реже синие тюльпаны, катались по пыльной даже весной степной земле, под ее грудью не было складок, потому что была то еще не грудь, а сильно вспухший сосок, и резинка, вытащенная из вздержки и-связанная для тугости узлом, с трудом пропускала руку, и пальцы обжигало обнаруженными как бы не на законном месте волосами, тут все и кончалось. С этого все и началось.

Теперь можно иногда случайно, в самой неожиданной части города, встретить немолодую женщину с пустым и озабоченным выражением лица, которое проступает сквозь любой грим, оглянуться, кивнуть — и не почувствовать ровным счетом ничего. Между жизнью и жизнью была нейтральная полоса, а может, жизнью было даже больше, чем две. Вскрытие покажет, как принято выражаться, теперь уже вскрытие покажет...

А пока идет, длится другая, новая, последняя жизнь.

Ну, как работается? Ничего, нормально, все нормально. Сколько у тебя сегодня времени? Часа полтора, может, два, извини, больше не получится. Почему ты извиняешься, я тоже больше не могу, мне к пяти на передачу. Хорошо, я отвезу тебя, пока идем где-нибудь попробуем пообедать. Да где же ты пообедаешь, опять будешь искать и злиться, давай просто где-нибудь выпьем кофе, а поем я в Останкине. Ты-то поешь, а я сам голодный, идем, идем... Ну, а как у тебя дела? Были новые предложения? Кто из режиссеров глаз положил? Не говори чепухи и пошлостей, это уже не ревность, ты просто хочешь меня обидеть. Извини, ну извини... Ладно. Только не пей сегодня, хорошо? Хорошо, не буду, только одну рюмку. Ну грех же не воспользоваться, если в этой помойке оказался приличный коньяк... Командир, в

Останкино, червонец, поедешь?.. А, мать... В Останкино, командир... Слушай, я опоздаю, давай в метро, будет быстрее. Если следующий не повезет — хорошо, пойдем в метро... Вот видишь, все-таки едем. Поцелуй меня, и давай больше не спорить, ладно? Ладно. Ты меня любишь? Любишь-любишь.

И никогда, никогда, никогда не описать эту тьму, и огни, и асфальт, и дождь, и езду. Так и сдохну, и никто не узнает, что это такое — вечерняя, ночная езда по Москве в такси, на леваке, под слишком громкую музыку... Может, кто-нибудь уже описал или опишет? Ну, спасибо тебе за такую перспективу! Я сам хочу, понимаешь, сам, и никто это не опишет никогда — то, что видел я, понимаешь? Понимаю, конечно, понимаю... И если я это не опишу, то это умрет, понимаешь, значит, я вместе с собой уморю все это... извини, я говорю банальности, мне не хочется искать другие слова... Ничего. Не расстраивайся, милый, любимый, не расстраивайся и не пей, пожалуйста, я тебя прошу, хорошо? Хорошо.

Самое главное — это именно красные хвостовые огни, это важнее всего. И еще исчезновение деталей в темноте и под дождем, праздничная нарядность мокрого асфальта и красных уплывающих огней...

Если это вдруг случайно можно продолжить, если повезло и в сумке болтается купленная у ханыги возле Елисейского за двадцатку бутылка — тогда есть смысл в очередной раз попытаться. Уже вернувшись, ощущая двойной жар — в затылке и шее от проглоченного перед тяжелым поздним ужином неполного стакана, и во лбу, в надбровьях, от усталости и желтого света лампы, — чувствуя, кроме того, что минут через двадцать, через полчаса кайф пройдет, жар схлынет, и останется только усталость, потянет в сон... Вот тут-то и есть надежда поймать эти огни, этот мокрый блеск и впихнуть их в серые строчки, выезжающие из старого "рейнметалла" с блеклой лентой.

Лишь бы поймать! Тогда уже можно спокойно закурить и, слегка улыбаясь хитро-безумной улыбкой в пустоту, отодвинувшись от стола, додумывать и довязывать эту детскую забаву — Сюжет. Сюжет, Сюжет, Сюжет, будь он неладен! Ну почему же нельзя, невозможно, самому становится тоск-

ливо не выдумывать картинки, не связывать их, не видеть белую дорогу, сияющую под белым солнцем, проселочный съезд в сторону, в лес, выбитую полянку — стоянку над откосом, заросшим буйным, слишком ярким лесом, и злых, жадных, хрипящих ненавистью людей, таких лишних здесь... А ведь, казалось бы, хочется совсем другого: писать и писать об этой жизни, об этой женщине, ничего не выдумывая, не вызывая в памяти чужие картинки, не доводя их до ясности галлюцинаций, а просто писать о вечере в Москве, о людях, говорящих понятным языком, об их нищете, о том, как дерутся в очередях, как затравленно-зло смотрят на танки, идущие в начале октябрьской ночи посередине улицы, сверкая белой парадной краской по обводам, о нашем с нею страшном счастье, о нелепых поцелуях на улице, когда девчонки рядом хихикают над старым козлом и его пышной дамой, о том, как стыдно быть счастливыми, когда в метро бабы везут вырванные с боем макароны, о любви, которая всегда не ко времени, но никогда так, как сейчас.

И можно так писать бесконечно, но вдруг выплывает белая дорога и большой темно-синий автомобиль, жарко сияющий под солнцем, проносящийся по этой дороге.

Безумное занятие, постыдное для взрослого мужчины — придумывание сказок. Впрочем, этим всегда занимались именно взрослые мужчины, знающие, что это такое — придумывать другую жизнь. Голова тяжелеет, вместо кайфа уже нарастающая боль, и перед сном надо принимать спазмалгон.

Балеары. Июнь

Они приехали на темно-синем “вольво-универсале”. Тяжелая темная машина выглядела нелепо на узкой жаркой дороге, но уж тут, подумал Сергей, совки себе изменить не могут: “мерседес” или “вольво” — вот их рай, их Царствие Небесное, уж если возможность появилась, они не упустят.

Мчались по направлению к Андрачу, седой комсорг лихо управлялся с рулем на горной дороге. Все-таки чему-то их там учат, под Минском или где там... Юлька не то стонала, не то шипела сквозь зубы, руки ее напряглись, наручники до сизой белизны передавливали по-птичьему костлявые запястья.

Сидели на заднем сиденье вчетвером, вжавшись друг в друга, у Сергея затекла левая нога, нестерпимо ныла мышца. Он был прижат к левой дверце, поверх его ладоней, соединенных наручниками, лежала ладонь прапора-афганца, было похоже, что между ними есть противоестественная ласка. У правой дверцы сидел третий, это был белобрысый, аккуратно стриженный, краснолицый, как всякий загорелый северянин, паренек, больше всего похожий на путешествующего амстердамского или стокгольмского студента. Его ладонь лежала в свою очередь на Юлькиных ладонях, вид был вполне лирический, если бы не побелевшие ее запястья.

— Fucken Russian bastard, — шипела Юлька, белки глаз ее стали уже совершенно красными, и лицо исказилось до полного сходства с африканской деревянной маской, — fucken bloody shit, you, Russian cocksucker... You, listen! Wouldn't you fuck me in your fucken Paris with your fucken prick, I never have such fucken position with fucken cops. You, old asshole, old assfucker.

— Shut up, you. — Сергею надоело, он негромко бормотнул в ответ: — Now you will be shot together with such old shit, like me... And shut up, don't fuck me...

— Хорош, Серега, спикать, — не оборачиваясь, сказал от руля комсорг. — Я хоть по-английски и секу, но черт вас разберет, может, у вас не семейный разговор, а код... Помолчи, не раздражай ребят, им и так тесно, жарко... перевозбудятся, куда мне тогда твою черножопую от них прятать?

Сергей не успел даже дернуться. Юлька взвилась, белобрысый пацанчик стукнулся головой о потолок, а Юлька уже колотила кулаками, браслетами наручников комсорга по седине, рука белобрысого выворачивалась и хрустела, машина вильнула и, ломая низкие кусты, въехала на поляну над обрывом. “С'ам тшерножопи, — визжала Юлька, — тшерни, хрясни, я мил жоп'а чистий за твой морда, плиать, сук!..”

На поляне Юлька лежала лицом вниз, белобрысый с побелевшими глазами поливал запястье с начисто сорванной кожей люголем, прапор, зашелкнув вторую пару наручников на Юлькиных щиколотках, — золотая цепочка блеснула — поволок уже глухо замолчавшую, с быстро вспухающим кровоподтеком на скуле Юльку к открытой за-

дней дверце машины. Блондин оскалился и пнул Юльку кроссовкой в живот: “Гнишь, сука черная, лезь, потом не так согнем”.

Сергей сидел на траве, вытянув перед собой скованные руки, рядом валялась вторая пара наручников. Прапор уже подходил к нему — они собирались и Сергею сцепить ноги, положить рядом с Юлькой, перекрыть уже приготовленной полосатой брезентухой — мало ли что лежит в универсале, прикрытое куском пляжного тента.

— Зря вы дергались, — сказал седой комсомолец, — и баба твоя, и ты... Теперь до Пальмы поедете багажом, там на яхточку... Белеет парус одинокий, понял?

Он доставал из алюминиевого ящичка шприцы и ампулы. Ящик сверкал на солнце, тишина и солнце стояли над поляной, деревья уходили в небо, их вершины были и вверху, и рядом — лес по откосу спускался к морю, прореженный дорожками, усыпанными мелкими острыми камнями. Внизу, под откосом, пустел маленький песчаный пляж, отливающий светлым серебром, и зеленела мелкая бухточка.

Сергей подтянул ноги к груди и резко разогнулся. Лбом он точно въехал в низ живота склонившегося к наручникам прапора и, почти одновременно двинув затылком, разбил ему лицо. Через секунду он уже прижимал изувеченного к себе спиной, передавливая ему горло перемычкой наручников.

— От машины, — негромко скомандовал Сергей белобрысому. Прикрываясь прапором, он шагнул к поднятой вверх задней дверце “универсала” и мгновенно оказался под ее прикрытием. Белобрысый стоял в метре, все еще скалясь, — не успел сменить выражение лица.

— Отомкни, — так же негромко скомандовал Сергей прапору и наклонил его к Юльке. Прапор дернулся, Сергей чуть напряг руки, прапор захрипел, вытаскивая из кармана ключ от наручников. Ключ болтался на длинной цепочке, прапор никак не мог его ухватить, слюна бежала из углов его рта, руки у Сергея уже были мокрые.

Юлька застонала, выползла, встала на земле, с трудом разгибаясь, сделала шаг из-за машины. Белобрысый уже подался назад, но было поздно — тяжелый розоватый комок

Юлькиной слюны плюхнулся ему точно в глаза, потек по щеке. “Shit”, — сказала Юлька и окончательно разогнулась.

И тут же Сергей понял, что он проиграл еще раз — и теперь непоправимо, потому что больше глупостей эти ребята уже не наделают, спешить не будут. Седой стоял, чуть расставив ноги, как в тире, и с двух рук целился в Юльку широким, страшным стволом.

— Стой спокойно, солнышко, — сказал он, — don't move, molly, be quiet... Серега, объясни ей: у меня обойма специальная, ей такая здоровая дырка лишняя будет... И сам брось человека душить, слышишь? Он, может, однополчанин твой, а ты его душишь. Иди ко мне спокойно, повернувшись задницей, понял?! А то я точно твою шоколадку пополам сломаю...

Белобрысый ткнул плохо, колоть не умел, Сергей почувствовал, что игла, проткнув шорты, пошла косо вверх, будто на кнопку сел.

...Один раз он сел на кнопку. Сзади сидел Володька, переросток, с любыми двумя в классе справлялся одной левой. Сергей встал, аккуратно вытащил кнопку из тут же промокших небольшим еще более темным пятном темных сатиновых шаровар, бросил кнопку в дальний угол, к экономической карте, Володька смотрел спокойно, с легким интересом, не вставая из-за парты, — ноги его помещались в ней враспор, китайские кеды сорок четвертого размера твердо стояли на полу, колени вдавливались в нижнюю доску ящика, трикотажные тренировочные штаны с разошедшейся застрочкой вдоль штанины — “стрелочкой” — натянулись штрипками. Сережка вцепился, почувствовал, как заскрипели, затрещали мышцы, — и перевернул парту вбок, Володька упал в проход, завозился, пытаясь высвободиться. И, точно замахнувшись, словно на штрафной, Сережка ударил его добела ободранным носком почти до праха доношенного отцовского ботинка — в лицо. Если бы Володька встал, Сережке был бы конец. Но Володька не встал. Слепо стирая, и стирая, и стирая кровь, заливающую лицо, он кричал без слов и лежал, так и не вылезши из парты.

Через три недели сняли все швы, и он уже гулял по больничному саду, дожидаясь, когда выпишут после сотрясения. Вдруг над забором взгромоздился Сережка. Снизу его

держали Толик и Круглый, но забор был глухой, Володька не мог их видеть, и они согласились держать.

— Видишь, — сказал Сережка и поднял над забором тяжелый штык от карабина СКС с полусгнившей ручкой. — Видишь? В степи нашел. Выйдешь отсюда — уходи в “молоточки”. Придешь в школу — убью.

Пацаны устали, плечи их стали дрожать. Сергей прыгнул на землю, спрятал штык в сумку “Динамо”, между тетрадками и всяким барахлом, и пошел в степь, где в ту весну проводил почти целые дни. Володька после больницы перешел в железнодорожное пэтэу, ходил в рваной куртке с молоточками в петлицах, однажды — их было человек восемь — с друзьями встретил Сережку после школы прямо во дворе. Сережка рванул навстречу, прямо на Володьку — и тот отскочил в сторону, втиснулся в забор, побелел. А Сережка вымахнул на улицу, и “молоточникам” уже было его не догнать...

Он упал лицом вниз, седой успел придержать его одной рукой, другую, с пистолетом, не опускал.

— Иди сюда, солнышко, — сказал он Юльке. — Сейчас и тебя спать уложим. Иди, иди, не притворяйся, ты по-русски понимаешь, иди.

Юлька подошла медленно, тихо постанывая. Лицо ее уже было совершенно изуродовано разросшимся фингалом, перекошено. Она подошла к комсомольцу почти вплотную. Белобрысый и блондин уже укладывали Сергея в машину. Юлька глянула комсомольцу в глаза, растянула косо вспухшие губы в улыбке — и, круто повернувшись, низко склонилась, отставив задницу.

— Do it, — сказала она разбитым ртом невнятно, — do it. You, son of fucken bitch. If you can't do something, do it with your bloody hands, you, piece of cat's shit...

Седой усмехнулся и ловко ткнул шприцем.

Мюнхен. Май

— Отпусти пацана, — сказал Юра, стволом почти продавливая висок того, лица которого он так и не увидел. Оборот, высоко, до лопатки вывернутая рука, перехваченный в воздухе, выпавший из этой руки короткоствольный револьвер — и вот уже они поменялись местами, Юра стоял за

спиной высокого малого в длинном и широком модном плаще, почти весь укрывшись за этой обширной спиной, упирая ствол револьвера в его висок. — Отпусти, я стреляю...

Он не выжил бы в том проклятом городе, если б не секция. Однажды трое решили поучить жиденка прямо в центре, на пустой аллее сквера перед университетом. Одному из них Юра сломал ключицу, был суд, и Михаил Ефимович привел всю секцию и сказал, что гордится таким учеником, как Юра.

— Стреляй. — Второй, в почти таком же плаще, в нелепо сидящей на слишком большой и какой-то кривой голове твидовой панаме, пожал плечами. Он был за тем креслом, в котором Юра больше всего любил сидеть перед телеком, на полу рядом с правой ножкой осталось не очень заметное пятно, туда ставилось пиво... — Стреляй, стреляй, мне за него не отвечать, сам виноват, что физподготовку сачковал... Стреляй, а я пацана включу. Пусть споет гимн ихний, что ли...

Кресла стояли точно так же, как накануне вечером, когда все вместе смотрели очередную серию "Далласа". В правом сидела Ютта, вывернутые за спиной руки ее были стянуты свешивающейся до полу джутовой веревкой с разломаченными концами, эти ребята не слишком трудились по части оснащения, взяли на операцию, что нашли в первом же кауфхофе, на этаже, где продается всякая хозяйственная ерунда. Обрезками этой же веревки были привязаны ее щиколотки к ножкам кресла, и Конни они связали так же... Грудь Ютты выгнулась под Юриной старенькой черной фуфайкой с желто-красной надписью "I love Bayern", вместо love красное сердечко. Она была без лифчика, соски натягивали черный трикотаж, все вместе — точь-в-точь картинка из какого-нибудь древнего комикса. Рот ей они заклеили пластырем, но глаза — темно-серые, почти без выражения — были открыты и смотрели прямо. Когда Юра впервые произнес "Отпусти пацана", она перевела взгляд на Конни, будто только сейчас заметила его, — и обмякла, голова свесилась к плечу, веки опустились, плечи еще сильнее выгнулись, потому что всем своим весом она стала сползать — потеряла наконец сознание.

Мальчишка сидел ровно, и его голова в туго натянутой

до горла вязаной шапочке была неподвижна. Юра знал, насколько прилично Конни понимает по-русски, слово “включать” он наверняка знает... Да и без слов понять нетрудно: молния на джинсах Конни была расстегнута, оттуда тянулся оторванный от утюга, валявшегося тут же, посреди комнаты, провод. Вилку дебил в панаме держал в руке, шнур телевизора он уже вытащил из розетки. Юра представил, как глаза мальчика глядят в душную тьму под шапкой.

— Wie geht's dir, Konny?— Юра удивился сам, как спокойно прозвучал вопрос.

— Es geht, aber zu heiv.— Голос мальчишки из-под шапки был еле слышен.— Und wie ist meine Mutter?

— Alles ist in Ordnung,— сказал Юра.— Konny, alles ist...

Дебил шевельнулся. Юра отнял ствол револьвера от почти продавленного виска и перевел на дебила:

— Ну, все! Отпусти его на счет “три”...

— Стреляй,— еще равнодушнее, чем раньше, сказал дебил.— Не промахнись только... А с пацаном не разговаривай, ему хуже будет...

Тот, за которым Юра стоял, резко дернулся, решив, что самое время, но Юра напряг левую руку, которой он старым милицейским способом сжимал сквозь плащ и штаны мошонку, малый взвыл, ствол вернулся к его виску. Стрелять в дебила было нельзя: он сидел на корточках за креслом Конни, выглядывала только голова в дурацкой шляпе, которую он мог мгновенно спрятать за мальчишку.

— Ладно,— сказал выродок,— остобубнел ты мне, Юрик. Пора пацана закону Ома учить...

Рука его потянулась к розетке.

Глухо стукнул упавший на ковер револьвер. В ту же секунду малый, почувствовав, что и левая рука Юры разжалась, со стоном согнулся, подхватил оружие, выпрямился и что было сил ткнул стволом Юру точно в печень.

— Делай,— Юра говорил неразборчиво, густая слюна капала изо рта в приступе горькой тошноты,— делай, падла, что хочешь, пацана с жинкой отпусти...

Дебил уже встал, в руке его был разовый шприц в пластиковой запайке.

Юра лег на пол. Он старался не закрыть глаза, закры-

вавшиеся непреодолимо, укол подействовал почти мгновенно. Он лежал на животе и, мучительно напрягаясь, чтобы не ткнуться носом в блекло-зеленый ворс ковра, смотрел, как сначала выносят Конни, заснувшего сразу, а потом Ютту, у которой обморок, перейдя в сон после укола, вдруг обернулся какими-то странными судорожными движениями — когда ее сгибали и втискивали в длинный складной кофр-шкаф, в котором до этого унесли в машину Конни, вещи, оставшиеся в кофре с прошлого отпуска, вывалив грудой в прихожей, — рука Ютты вдруг судорожно сжалась, и дебил едва выпростал из ее пальцев обшлаг плаща. “Осторожно, — сказал ему второй, — повредим эту сучку немецкую, жидяра полоумный вовсе озверевает, на пулю начнет нарываться. Осторожнее... Надо же, сколько немцы ихней нации в печках пожгли, а он за эту старую манду и поганца ее чуть сам не подставился и нас мог замочить! До чего ж они себе на уме — ужас... Давай бери аккуратно, да не пыхти: соседи не поймут, чего такой чемодан тяжелый”.

Они вышли, задевая плечами дверные косяки, и Юра наконец опустил голову в зеленоватый ворс. Собственно, это уже был не ворс, а жирная ледяная вода, но вода почему-то пахла не соляжкой, как обычно в порту, а едва ощутимо пылью, безумно хотелось и даже необходимо было поспать, потому что иначе не доплывешь, а первый помощник уже поднимает по тревоге и вооружает вахту. Поэтому надо было быстро, быстро заснуть, вдыхая запах пыли, — хрен с ней, с пылью!

Лондон. Апрель

Они лежали на полу, он уложил их по всей науке, лицами вниз, руки в наручниках за спину. Джентльмен в сером глухо стонал, потом попросил — почти неслышно, лицом в пол: “Переверни... наручникиними и переверни, слышишь? Ты мне, сука, позвоночник сломал, гестапо... Переверни, не денуть никуда...”

— Не сломал пока, а помял только. — Он шагнул к серому, наклонился не низко, чтобы контролировать все помещение. — Но сломаю обязательно, понял? Через десять минут Галя должна быть здесь, иначе...

Он носком ботинка поддел сцепленные наручниками

руки, чуть дернул вверх, выгибая лежащего в йоговскую позу змеи, тот взвыл, зашипел, забулькал, затих — и сунулся снова лицом в пол, когда носок ботинка выскользнул из-под скованных кистей. Минуты три лежал без сознания, потом прошептал едва слышно: “Мудила... Мудила ты, капитан... От меня не зависит... Они твою бабу сюда не приведут, они тебя к ней присоединить должны, понял? А что ты меня убьешь, им насрать... Давай, калечь дальше, палач...”

Уже два часа прошло, подумал он, после того как я заставил эту падлу позвонить в посольство — и никакого толку. Похоже, им действительно плевать на исполнителей захвата, Галю не отдадут, хоть я их пополам перерву.

— Ладно, едем...— Рывком за шиворот он поднял на ноги сначала одного гэбэшника, потом второго.— Давайте в машину, быстро!

Такси стояло здесь же — да, работали эти ребята грамотно, использовать в оперативных целях старый лондонский кеб с фальшивым номером было самым разумным, этот черный старомодный ящик никто не запомнит в городе, где он обязательная часть пейзажа. Гэбэшники неловко пролезли в широкий проем двери, плюхнулись на сиденье.

— А ну, на откидные!— Тычками он помог им пересесть на откидные сиденья, спиной к движению, так спокойнее.— А ты здесь полежи.— Он покосился на серого, который стонал все громче.— Галю получу — тут же отдам товарищам ключи от тебя... Пока отдыхай.

Он распахнул ворота мебельного склада. Уже совсем стемнело, St.Pancras сиял сквозь стекла негасимыми вокзальными огнями, справа, черная на черном, едва заметно, но тяжело прорисовывалась на фоне неба гигантская скала старого дворца. Он сел за руль, вывел машину в узкий проезд между вокзалом и путепроводом, вылез, запер ворота, сунул ключ в карман и через минуту влился в череду такси, отъезжающих от боковой стоянки у вокзала. Сзади, за сеткой и стеклом, кряхтели гэбэшники. Ему хотелось думать, что это именно Комитет, а не ГРУ. “Аквариума” он боялся помимо сознания, если бы поверил, что ребята с Хорошевки,— наверное, сдался бы сразу. Слишком хорошо помнил кадры: связанный живой Пеньковский, въезжающий в топку подвальной котельной, старательно сделан-

ный крупный план лица. — учебный фильм, воспитание высоких морально-политических качеств советского военного разведчика...

— Мой кеб на углу, — сказал он в трубку, прижал ее плечом и плотней прикрыл дверь старомодной телефонной будки. — Ваши гаврики в нем. Жду пять минут, потом сдаю их местным ребятам. И очередную сотню своих готовьте на выдворение... Пусть ребята уже багаж пакуют, в будущей невыездной жизни пригодится. Ясно? Значит, через пять минут моя жена должна сесть в мою машину — иначе уже сейчас пишите ноту про недружественный акт...

Галя сидела молча, она пристроилась на откидном, и он чувствовал, что смотрит ему в затылок, не отрываясь. Когда на углу напротив посольства она села в машину, бережно поддерживаемая под локоток лбом из службы безопасности, он даже в зеркальце увидел, что руки ее дрожат, подергиваются и голова — вернулся тик, приобретенный лет пятнадцать назад, когда ее вместе с другими отказниками, засевавшими в "калининской приемной", погрузили в ментовский автобус, вывезли километров за пятьдесят от Москвы и выкинули — ночью, на пустой дороге, в двадцатиградусный мороз. Декабрьский, с ветром...

Сейчас она сидела молча, смотрела в его затылок, и дрожащие руки чуть слышно скребли, царапали, дергали сетку, отделяющую водителя от салона.

Только когда через яркие, но уже пустые переулки вырвались в Chelsey, переехали мост и ровно, почти не тормозя у светофоров, поехали к Vauxhall, она заговорила, и Володя почувствовал, как тяжело, с усилием разжимаются ее губы — он уже знал такое ее состояние, когда она впадает в оцепенение, и чем дольше в нем находится, тем тяжелее ей заговорить.

— Опять, — сказала она, и голос сорвался в высокий, болезненно-детский. — Опять ты меня вытаскиваешь, опять я гиря на тебе... Им бы не зацепить тебя ничем, если бы не я... Сколько же ты будешь возиться со старой, измочаленной бабой...

Слева кадром из хоррора возник чудовищный контур Battersy Power, давно не работающей городской электростанции, которую собирались превратить не то в музей ин-

дустрии, не то в отельный фешенебельный комплекс. Диккенсовские трубы торчали в небо, и за глухим забором чудилась страшная и тайная жизнь.

— Прекрати, я тебе уже сто раз говорил.— Володя не оборачивался и ему пришлось повысить голос.— Прекрати эти бессмысленные и оскорбительные для меня выдумки. Чего же я стою, если ты старая баба? Я бы со старой бабой не связался. Я за любимую дерусь, а не за старую, понятно, нытик ты мой несчастный?

Тут наконец пришлось остановиться перед светофором. Справа вывернул и медленно поплелся перед Володиным носом такой же черный ящик кеба, Володя, рванув резко под зеленый, попробовал обойти его справа же, но усталый, видно, таксист ехал как-то неуверенно, мотаясь поперек улицы, и Володя решил обойти его слева, но, видно, очухавшись, и тот надал, и к следующему светофору они подошли под красный — рядом.

— Как ты там?— Володя, остановившись, обернулся к Гале, она сидела боком на откидном сиденье, их глаза оказались близко, только мелкая сетка разделяла их. Как всегда, когда он видел эти чуть слезящиеся желто-карие глаза близко, Володя почувствовал изумление — как долго останется во взгляде боль и страх...

В эту же секунду ее зрачки стали расширяться, она начала как бы приподниматься, тянуться к нему, губы шевельнулись, он поймал ее взгляд, устремившийся за его плечо, — но дверь уже рванули, и, сразу потеряв сознание от профессионального удара чуть ниже последнего шейного позвонка, он выпал на руки подбежавшим, и они мгновенно перетащили его в соседнюю машину — только каблук скребанули по асфальту — и бросили на пол пассажирского отсека, и один уже присел над ним, сноровисто выпрастывая из упаковки разовый шприц, а другой уже вывернул руку Гале, сбросив ее с сиденья на пол, спокойно и внятно сказал: “Заорешь — пополам порву”, — и так же умело всадил иглу прямо через ее джинсы.

Патруль дорожной полиции, скучавший у перекрестка Alberts embankment и Lambett road, с интересом проводил глазами два такси, пронесшихся одно за другим в сторону Waterloo. Впрочем, ехали они в пределах разрешенной ско-

рости, и не было никаких оснований препятствовать растяпам-пассажирам, вероятно, опаздывающим на последний поезд в Portsmouth.

6

Весь городишко был засыпан белой пылью.

Крупнейший в крае цементный завод все рос, строился и получал переходящие знамена министерства, принимал высоких гостей, и пыль все безнадежнее ложилась на пятиэтажки, скрывая купоросно-синюю краску, которой были покрыты их фасады по дикой фантазии городского архитектора.

То, что она будет артисткой, знали все, второй такой во всем городе не было, только одно ее смущало — как ей играть “Чайку” со своими казачье-турецкими, в отца, кудрями.

В Москве она сразу как-то ввалилась в компанию полудиссидентов, каких-то странных поэтов, художников, устраивавших выставки своих запрещенных непонятных картин по квартирам и пыльным мастерским, сильно и некрасиво пьющих джазовых музыкантов... В Щукинское провалилась с треском, но в общежитии продержалась до ноября, спала на чужих кроватях, и единственные трусики сохли за ночь, накрученные на батарею. Потом пришлось перебраться в общежитие Гнесинки, там было поспокойнее, но и оттуда выперли.

Неожиданно пристроилась помрежем в областной театр. Одновременно появился и Олег, маленький, щуплый человек с большой рыжей бородой и прекрасными глазами янтарного цвета, открывавшимися, когда он снимал подтемненные красивые очки. Он был художником, искусства его она не понимала совершенно, главный шедевр в его мастерской представлял собой где-то украденный медицинский муляж грудной клетки с раскрашенными мышцами, укрепленный на лакированной черной доске. Грудная клетка распаивалась, четверть ее открывалась, как калитка, и в груди обнаруживались напиханные туда Олегом спирали старых часовых пружин, гипсовые носы и как бы случайно смятые обрывки газет с крупными заголовками: “Идеи Октября

живут и побеждают” и “Путь предательства”. Обычно грудная калитка была закрыта на маленький сортирный крючок. Олег распахивал ее только перед приходом гостей, особенно иностранцев, всегда приносивших красивые бутылки и иногда покупавших его маленькие рисунки — будто сломанные в поясице, угловатые голые женщины, взлетающие вверх ногами в пустое небо...

Днем она осторожно сметала пыль с того, с чего он разрешал, — с маленького столика, на котором ели, с книжных полок, потом готовила что-нибудь к ужину, чаще всего жарила филе трески и открывала очередную банку лечо. Омерзительная старуха соседка Полина Власьева, редакторша из “Профиздата”, как только выходила на кухню, начинала громко, хорошо поставленным голосом лекторши, объяснять второй соседке, вдове шофера-золотаря Файзуллаева, как в ее время относились к свободной любви. “Мы были единомышленницами, а не содержанками”, — говорила она, а старая седоусая Фатима испуганно кивала, не понимая ни единого слова.

Олег был весьма скуповат. Филе трески ели пять дней в неделю, но к приему иностранцев он приносил хорошую баранину, которую покупал у школьного друга, ставшего мясником, и внимательно смотрел, как она готовит. Подлая Полина на кухне не появлялась, так как Олега побаивалась, — однажды она провизжала: “Между прочим, я считаю, что наши товарищи должны знать о ваших связях с буржуазными меценатами!” — и Олег абсолютно спокойно ответил: “Еще посмотрим, к чьему стуку сильнее прислушаются... Караганду забыла, или мало было по рогам?” Из глаз Полины сразу потекло, и она убралась в свою комнату...

За год подготовилась серьезно, да и в театре пообтерлась.

Однажды после премьеры поехали в ВТО, актеры быстро и решительно напились, режиссер Валерий Федорович встал из-за стола около десяти, огляделся — и предложил заехать к нему, выпить еще по рюмочке, посидеть. Олег в этот день был в Ленинграде, поехал по каким-то своим делам, готовилась там какая-то очередная подпольная выставка, что-то еще невразумительное сказал насчет желания

попрощаться с каким-то приятелем, собравшимся уезжать. Друзья его уезжали каждую неделю, многие “сидели в отказе”, заходили по договоренности поздно ночью. Олег впускал их осторожно. До утра курили, вполголоса обсуждали, кто уже получил вызов и собирается, кто уже подал и каковы шансы на разрешение. Шел семьдесят второй год, в январе она сшила Олегу новые брюки по моде — клеш и с широкими манжетами...

Утром Валерий Федорович твердо пообещал ей помочь при поступлении. А через месяц Олег объявил, что тоже уезжает.

...Теперь ей вспоминалось все это как одно непрерывное унижение. И иногда, по дороге домой из Останкина, на последней своей прямой “Киевская” — “Фили”, сидя в метро с прикрытыми под темными очками глазами, — чтобы не узнавали постоянные зрители вечерних новостей, — она замечала, что плачет, мелкие слезы ползут, прорезая нечисто смытый грим, плачет от старого унижения. От Олеговой скупости, от того, что не предложил ей уехать вместе, от того, что был бездарен вместе со знаменитым его муляжом и летающими бабами, украденными у Шагала, — теперь она уже знала. Все было унижением — и то, что Валерий Федорович не только не помог поступить, но просто исчез, как раз на август уехал с театром на гастроли в Польшу, а ее не пустили, она оказалась невыездная, наверное, из-за своих диссидентских знакомств. А потом многие годы на всех углах, во всех застольных компаниях он говорил о ней: “Моя ученица, мое изделие, я ее сам придумал, в училище впихнул при ее тогдашней темноте, корову через “ять” писала и Островского знала только того, который “Как закалялась сталь”, а теперь, гляди-ка, выработалась в актерку...”

А поступила она сама, со зла и отчаяния, оставшись без Олега, без театра, опять ночуя по подругам, общежитиям и — иногда — по несчастным любовникам. Поступила, блестяще прочитав-таки из “Чайки”, которую потом возненавидела на всю жизнь...

Все вспоминалось как унижение, и за все надо было посчитаться. Вернувшись с гастролей, Валерий Федорович держался с ней как ни в чем не бывало, и что еще хуже, и она

держалась, будто с нею так и нужно. И это продолжалось долгие годы — пока он не запил наконец безудержно, пока не погнажи его по требованию коллектива из театра. Это и совпало с ее освобождением от его чар, давления, власти.

Казалось, что жизнь начала отдавать ей долги. За пять-шесть лет она превратила свою неудачу — попала после училища совершенно случайно на телевидение, прошла дикторский конкурс и застряла — в блестящую карьеру. Вела самые популярные передачи, на улице узнавали немедленно, получила однокомнатную близко к работе, на Аргуновской.

Однажды вела какую-то муть, случайно, в несмособельное время, днем, что-то про науку. Молодой, огромного роста, как с фирменной рекламы красавец предложил после передачи отвезти домой...

Был Андрей уже доктор, по своим химическим делам не вылезал с конгрессов то в Маниле, то в Брюсселе, ездил на "Волге", а жил у приятеля — три месяца назад вернулся из Челябинска, что-то там консультировал две недели, и застукал жену. Сын был у бабушки. Ключ в скважине натолкнулся на другой, вставленный изнутри. Он позвонил. За дверью шла суетливая жизнь, наконец жена открыла. На ней были брюки и тонкий свитерок, она была аккуратно причесана и вид, как обычно, имела строгий — преподавательница в техникуме. "А ребят увезли на картошку, — сразу объяснила она свое нахождение дома в разгар учебного дня, — мы с Леонидом Владимировичем оказались не у дел, я и пригласила его кофейку попить..." Позади нее маячил Леонид Владимирович, преподававший в том же техникуме общественные дисциплины. Однажды Андрей его уже видел — после какого-то техникумовского празднества, скорей всего, восьмого марта, жена привела домой много народу — допивать, Леонид Владимирович был безумно остроумен, но каждую шутку повторял дважды, чтобы все расслышали... Аккуратно обойдя жену и Леонида Владимировича, Андрей прошел в спальню. Постель была убрана, но из ящика торчал впопыхах не замеченный край простыни. "Можно тебя на минуту?" — позвал он жену. Она вошла, остановилась у двери, чуть пошатнувшись, оступившись. "Зря ты надела брюки на голое тело, — сказал он. — Все остальное могло бы

сойти, но это заметно и трудно объяснимо". В прихожей стукнула дверь — Леонид Владимирович удалился...

Через полтора года однокомнатную они поменяли с большой доплатой, Андрей встречал ее после каждой поздней передачи и, перегибаясь из-за руля, целовал, чуть прикасаясь сухими губами к губам. Завидовать ей стали еще больше... Так они прожили восемь лет. Дочка пошла в школу, помогала бабушка, его мать, поочередно пасшая то старшего внука, то младшую внучку и одинаково ненавидевшая их матерей. Она была вдовой академика и оба брака своего сына считала непристойными мезальянсами; от нового тоже не ждала ничего хорошего, но детей воспитывала по-своему, серьезно, потому что академическая фамилия не должна была прерваться вырожденками, каким-нибудь рокером и шлюхой.

Но и тут, в этой благопристойной жизни, унижение не кончилось. Именно теперь, когда можно было бы существовать прекрасно, достойно, чисто, — одолела ее страшная, давняя, с отрочества, пагуба. Не знал об этом никто — ни Олег, ни сгинувший где-то в провинциальных постановках стадионных концертов Валерий Федорович, ни случайные мужчины — о неутолимости ее, которую смиряла всю жизнь, да так и не смирила. И теперь, в покое и довольстве, страсть, бешенство, жажда вылезли на поверхность, стали крутить ее и корежить. В первую ночь Андрей был счастлив, такой любви он не знал, техникумовская учительница была жадна, но зажата, лишена фантазии и понимала только одно: еще, еще, еще...

Хриплые крики этой женщины, ее судороги, то, как она изгибалась, становясь на миг сильнее его, радостно изумили... Но прошли годы — и однажды днем, когда свекровь увела внуков в Пушкинский музей, в спальне с задернутыми шторами она открыла глаза, отстонавши, отхрипев, отдергавшись, — и встретила взгляд Андрея, удивленно-холодный и даже — потом убеждала себя, что показалось, но знала, что так и было, — слегка брезгливый. Резко оттолкнувшись мощными руками байдарочника, он встал и, не оглянувшись, молча ушел в ванную. А она осталась лежать, только медленно перекатилась лицом в подушку и, закидывая назад руку, нащупывая, натянула на себя простыню.

Это был последний раз днем, да и вообще — последний раз по ее инициативе. Теперь пару раз в неделю она лежала ночью неподвижно, глядя в невидимый темный потолок или плотно закрыв глаза, и повторяла про себя: “Я не хочу... ничего не хочу... это не я... не я...” Андрей будто ничего и не заметил.

Между тем жизнь изменилась непредставимо. С экрана она произносила немыслимые слова, в студии появлялись люди, заставлявшие вспомнить молодость, пыльные мастерские и ночные разговоры, в которых она, тогда еще ничего не понимая, радостно ловила отзвук, эхо опасности, наслаждалась привкусом недозволенности и находила в этом выход своей вечной неутоленности. Теперь люди, неуловимо похожие на Олега и его друзей, приходили в студию, она их представляла зрителям, а они, лихорадочно спеша сказать, выкрикнуть застоявшиеся слова, смотрели сквозь нее и даже, как она иногда замечала, с некоторым раздражением — эта накрашенная телефункционерша, смазливый попугай, наверное, вот так же несколько лет назад сообщала об очередной Звезде выжившему из ума борцу за мир.

А Андрея выбрали членкором. Она же искала в этой новой жизни свой ход — и нашла: стала пробиваться в комментаторы, читала сутками все подряд, от обезумевших газет до недавно еще запрещенных философов, и уже однажды вела какую-то из новых, бесконечно болтливых передач и произвела прекрасное впечатление на участников, и какой-то старикан в неприлично модном пиджаке и с легко летающими вокруг пергаментно сухой плечи белыми волосиками, дружески наклонившись к ее уху, когда на мониторах шла информационная перебивка, спросил: “А вы, милый друг, у хозяина почалиться-то успели?” — видимо, совсем потеряв реальные представления о возрасте, поскольку, как удалось у него же шепотом выяснить, темная фраза на лагерном языке означала именно сидение в лагере.

Словом, в новой жизни стало не хуже. Хозяйство, правда, вести было все труднее, с едой делалось все больше сложностей, но свекровь взяла дочку уже почти на полный пансион, Андрей, когда бывал дома, — а все чаще где-нибудь в Штатах, — ел в столовых, в институтах, на приемах у шефов

непрерывно открывающихся фирм, а она сама почти каждый день — с этими новыми хозяевами жизни, бывшими диссидентами и заключенными, бородатыми, усатыми, длинноволосыми, легкомысленно одетыми — в неприлично дорогих кооперативных забегаловках и обжорках, полутемных и, как она ощущала, полуприличных.

Весной ее пригласили участвовать во встрече европейской общественности — такое примелькавшееся лицо было, конечно, необходимо организаторам для полноты картины. Толпы модных политических людей бродили по гигантскому и нелепому вестибюлю огромной гостиницы на окраине, в конференц-зале сидело с сотню безумных интернациональных старух и американцев, остальные ждали перерыва и болтали. Кто-то познакомил ее с каким-то: среднего росточку, среднего сложения, с неприметными чертами лица — впрочем, вполне правильными, если присмотреться. Одет был элегантно, в руках вертел, почти никогда не надевая, круглые, в стальной оправе очки, смотрел все время в пол и немного в сторону — только и глянул в глаза, когда знакомили. Она удивилась: до чего же прямо глянул, не нагло, но откровенно, не противно, но вполне определенно, и при этом до того добро, что сначала, изумленная, даже не расслышала, как представили. Какой же я писатель, поправил он, это Тургенев был писатель, ну, может, еще Панферов, а я... сочинитель. Так, выдумываю истории для утехи голодной публики. Она не почувствовала иронии, такая манера говорить ей была совершенно чужда. Андрей в разговоре с нею был сух, Валерий Федорович — или высокопарен, или груб, а давние и теперешние знакомые, начиная с Олега и кончая нынешними политиками, между собой говорили в нормальной интеллигентской стандартно-шутливой манере, но, обращаясь к ней, становились почему-то серьезны, галантны и даже слащавы, и она думала, что по-другому с дамой и нельзя.

А он говорил все время хотя и с легкой, но агрессивной иронией, причем ирония была одинаково направлена на всех участников тусовки — слово бешено вошло в моду — на него самого и даже на нее! Ее немного коробило, но было интересно, кроме того, он как-то удивительно слушал — не поддакивая, но всем видом поддерживая ее в каждой фразе,

и она незаметно стала говорить с ним о том самом и, по сути, единственно для нее интересном, о чем поговорить было не с кем, — о себе самой.

Начался перерыв, обедать они пошли вместе, и в гуле общего застолья — ресторан обслуживал, конечно, только участников — она все говорила, говорила, говорила, а он все слушал, вставляя иногда: “Да я и сам не из благородных, ма-тушка...” или “Ну, мать, ты даешь...” — и она уже привыкла к этой полуусмешке, стала понимать, что это от неловкости, от боязни обнаружить больше доброты, чем принято. И говорила бесконечно.

Москва. Август

Стояли жара и сушь. Естественно, все припоминали, когда именно стояли такая же жара и сушь, сходились на знаменитом семьдесят втором, когда все горело и по Красной площади полз сизый торфяной дым, а относительно других, более поздних годов спорили — то ли восемьдесят первый, то ли третий...

Жизнь шла, собирались митинги, в метро больше обычного пахло потом, потому что дезодоранты исчезли напрочь и, видимо, навсегда, и отключали, как обычно, горячую воду. В метро ехал парень с длинным древком, обернутым флагом, — непонятно каким, но не красным. Над Лужниками собиралась гроза и рассасывалась, будто смущенная толпами. И еще можно было иногда купить чего-нибудь поест и выпить...

Жаркая стояла погода в августе.

Едва наметившаяся под животом складка намокала потом, соленый его вкус оставался во рту, потные волосы спутывались, невозможно было толком вымыться под ледяным душем, и они разъезжались, влажные, а в метро казалось, что другие, тоже потные, все же чувствуют этот несправедный пот. С тобой невозможно ездить, тебя все узнают, хоть бы ты перешла на радио, что ли... Ну я же не виновата, это профессия, зато тебя знают по имени, если бы они догадались, кто едет со скромной дикторшей, вовсе не было бы прохожу... Перестань. Это ты знаменитая, а я просто удачливый, за сценарии хорошо платят, но все это скоро пройдет, деньги ничего не стоят, и ты меня бросишь. Тебе

не стыдно? Это ты меня бросишь, начнутся съемки, ты уедешь — вот и все. Или она вернется с юга, почувствует что-то неладное, устроит тебе скандал — и ты перестанешь мне звонить, устанешь от скандалов... Хватит, замолчи. У тебя есть еще минут сорок? Выйдем здесь.

Шли в парк. Между деревьев была влажная духота, где-то, совсем близко, мелькали тени людей. Забирались в полусгнившую не то беседку, не то сторожку у пруда. Ее сумки лежали на полу, тонкая скользкая юбка норовила съехать на положенное место, белела кожа, живот чуть провисал, приходилось неловко подгибать колени, на мгновение возникала ясная и простая уверенность: “Это безумие, мы оба безумны” — и уже все рушилось, ломалось, исчезало все, утрачивалась даже способность — необходимая для безопасности! — непрерывно следить за окружающей обстановкой. Потом ночь и тени в ночи возвращались. Вместе, изумленно сияя в темноте друг на друга глазами — ее светились уж совсем сверхъестественно, — они поправляли одежду и бежали назад к метро. Парк шумно дышал вокруг ночным неровным дыханием.

...И садился самолет на военном аэродроме, и вытаскивали из него длинные ящики из хорошо пригнанных досок с аккуратно просверленными дырками, и трейлер “Совтрансавто” тормозил у бетонной ограды военного городка на окраине столицы, и из багажного вагона поезда, прибывшего на Белорусский, вытаскивали огромные картонные коробки, ставили их на тележки, а носильщики под строгим наблюдением ребят в аккуратных летних рубашках везли эти коробки к военным “газикам”, на площадь...

Что же это такое ты придумал, любимый? Неужто не страшно тебе? Ради Христа — сохрани нас, не убивай! И пусть эти твои злыдни, звери вообще перестанут убивать и мучить женщин и мужчин, любящих, пусть уже будет всем хорошо, если невозможно, чтобы хорошо было нам! Придумай счастье, милый мой мальчик, придумай счастье для всех — и, может, нам достанется тоже, хотя бы немного...

Я постараюсь.

По сути дела, все было предсказуемо.

Банальнейшая из истин — что имеет начало, имеет и конец — есть самое неприятное правило, по которому до нас жили, мы мучаемся, и после нас, покуда не изведутся люди, будут они страдать, терзаться и друг друга терзать. Осознавшие свою временность и сразу ставшие навеки несчастными существа...

Проходят годы — а иногда бывает достаточно и месяцев, — и казавшееся единственным, наконец и навсегда достигнутым, бесконечно прекрасным и необходимым становится столь же скучным, докучливым, доставляющим счастья не больше, чем утренняя овсянка. И все начинается сызнова — неосознанный поиск, бесконечно подворачивающиеся случаи, романтические ситуации... В сумерках валит снег, невнятно бормочет мотор, наезжает, стелется дорога, в машине тепло, ехать еще долго. И ты говоришь: “Представляете... если бы в конце пути нас ждал дом в снегу, камин... немножко выпить, посидеть у огня... и уж не расставаться... и знать, что еще будет утро, и дорога назад, и снова куда-нибудь ехать, лететь, и так вечно...” И теплая, час назад еще совершенно чужая, и потому сейчас необыкновенно близкая, необходимая, почти родная рука трогательно ложится на твое колено, и ее тепло чувствуется сквозь ткань, и спутники делают вид, что ничего не видят. Через месяц — да, всего через месяц, трудно представить, как все меняется за один только месяц, — жизнь уже несется вскачь, в сердце возникает томящая боль, даже приходится пить валокордин, глаза то и дело постыдным образом оказы-

ваются на мокром месте, и счастье, снова вполне незамутненное, новорожденное счастье наполняет день с самого утра, и в какой-то трезвый миг говоришь себе — да успокойся же, очнись, это просто ощущение начала, это новизна, это острота, если уж быть до конца честным, и ничего больше, очнись же, старый придурок, или мало учен, мало мучил и сам мучился?

Поздно. Счастье уже при тебе. Как говорили в детстве, меняясь марками, монетами, перышками, ножами, патронами: тронутое считается купленным. И за счастье, пока едва тронутое лишь краешком сердца, предстоит платить, и ты хорошо знаешь, чем.

Жизнь раздваивается, и уже очень скоро шизофреническая ревность становится как бы телом счастья, а душа счастья, то есть горячая поглощающая сладость, блаженное окончание мук — это все оказывается, как и всякая душа, скрыто глубоко и трудно достигаемо. Неразрешимость, бесперспективность, жажда и необходимость новой стабильности и ее очевидная невозможность становятся навязчивой идеей. С бессмысленной настойчивостью сумасшедшего изобретателя ты ищешь решения, веря в его существование просто потому, что ведь иначе тебе будет очень плохо, а за что? Представить и тот и другой разрыв становится все более невозможно, жизнь прорастает в обе стороны, как дурной ноготь, и продолжает расти, причиняя страшную боль. И обрезать нельзя — вросло, и не обрезать нельзя — продолжает расти, раздирая живое... Водевильное слово — адюльтер.

Она плакала, и все становилось более и более непоправимо, потому что она уже охрипла, а вечером должна быть важная передача, она готовилась к ней чуть ли не полгода, теперь она будет распухшая, и может пропасть голос, потому что несмыкание связок — это возможно в любую минуту, все ходят под Богом, любой певец, актер это знает и предпочитает не задумываться, как о смерти, потому что несмыкание — это конец почти всегда... Она плакала, горько, и он ничего не мог сделать, потому что нужно было остановить слезы, это главное, объясниться можно потом, и он просил прощения, ради Бога, ну, перестань, ну, милая, солнышко, ну, перестань же, зачем ты мучаешь се-

бя, все это выдумка на пустом месте, ты себя просто заводишь, ну, я тебя прошу, нет же никакой серьезной причины, я тебя люблю, я тебя очень люблю, перестань, перестань же...

Она все плакала. Ты ведешь себя, будто меня не существует, будто меня можно в любой момент включить, завести ключиком, а потом выключить, и меня нет, все в порядке, а я так не умею, ты, видно, думал, что можно найти такую, которая сумасшедшая только в постели, а как оделась, так и рассудительность, так и спокойствие, да? А я вообще сумасшедшая, и лучше брось, оставь меня! Милый, оставь меня...

Слезы были, как сама любовь — чем дольше, тем невозможнее прервать, тем отчаянней и безнадежней, уже нельзя было поверить, что может не кончиться полным разрывом. Но не мог поверить и в разрыв, потому что, чем дольше длилось, тем разрыв был непредставимее, слишком много уже было вложено, разрыв становился все больше подобен смерти, прекращению жизни...

А выхода не было никакого, потому что причинить острую боль там, где и без того уже безусловно виновен, преступен, вообще невообразимо. В конце концов, казалось бы, там-то уже пусто, и потому можно все — но выходило наоборот: ничего нельзя. Недовольный взгляд, недоумение, несчастье чувствовались как смертная вина, истинный грех. Здесь был не долг, здесь была кровная связь, родство. Хотелось освободиться, но освободиться от Ольги было так же нереально, невыполнимо, как освободиться от своего тела. То же неплохо бы, да как?

Ты со своей Оленькой против меня, проплакала она, и он понял, что это просто истерика, она никогда не говорила об Ольге так зло. Ее уже трясло. Вы оба идете на меня войной, вы защищаетесь от меня, Боже, ты от меня защищаешься, что же ты говорил, разве это та любовь, о которой ты говорил? Ты ее жалеешь, а меня любишь? Нет, ты с ней заодно, а от меня вы защищаетесь, Боже, я не могу так!..

Это несправедливо, я же просто хочу избежать катастрофы, ты ведь тоже не можешь бросить его, Андрей этого не заслужил, ты ему обязана, ты сама говорила о долге перед ним, и дочка, ты же сама говорила, вот и я тоже... Ее нельзя, понимаешь, нельзя оставить, понимаешь?!

Я... да я разве прошу ее оставить?! Что ты говоришь?! Как тебе не стыдно мучить меня? Разве я когда-нибудь покушалась на твою семью? Я знаю свое место — распутная бабенка, — но зачем еще ты его мне указываешь?

Ничего не получалось. Она бросала трубку, он хватал такси, мчался встречать после передачи. И все снова было прекрасно, глаза сияли, люблю, люблю, ничего не хочу, только не бросай меня, — но уже через полчаса все заходило сначала, обвинения, обиды, счеты... Все портилось на глазах...

В октябре начинались съемки, уже были паспорта и визы. В конце октября должна была уехать и она: на месячную стажировку в Японию. К этому времени у нее уже был прекрасный английский — независимо ни от каких переживаний она делала все, за что ни бралась, старательно, результата добивалась блестящего и быстро. Услышала от него новое слово и повторяла несколько раз в постели: “Я перфекционистка”.

Постели, собственно, не было. Только раз удалось все в той же мастерской, и этот раз был испорчен: пришел хозяин, позвонил. Лихорадочно шепчась, одевались, хозяин, будто смущенный, но, кажется, чем-то и довольный, ждал у подъезда, когда вышли, деликатно отвернулся. Она, вся в красных пятнах, неловко поправляя поднятый воротник, стояла за углом, пока он отдавал ключ. В такси ехали почти молча, поцеловались на прощание быстро и сухо, он будто в бумагу ткнулся губами. Потом долго, ласково прощались по телефону, и еще из аэропорта он звонил и клал трубку — все время подходили то дочь, то свекровь. Ольга ждала у тележки с чемоданами, безразлично спросила: “Ну что, на студии не отвечают?” — он просто промолчал.

Вот и все, думал он, пока старательные стюардессы возили столики на колесах и раскладывали подносы с убогим по международным, но шикарным по отечественным меркам завтраком. Вот и конец, думал он, расплачиваясь из тоненькой пачки долларов за пластиковую фляжку виски и сворачивая с нее крышку. Конец жизни, это неизбежно, но тяжело, хорошо только, что его можно так скрасить, думал он, прислушиваясь к первому горячему глотку и закрывая глаза, это вроде самоубийства в ванне, уют горячей

воды, и надо закрыть глаза, чтобы не видеть, как она окрашивается темно-розовым, как толчками выбивается под ее поверхность кровь из вены. Наступает жизнь после смерти, “Ил-62” неплохое средство для форсирования реки Стикс, и там, потом, еще будут прекрасные картинки парадиза.

Посмотрим, что они там наснимают, думал он, как они там устроят натуру для моих ребят. Интересно, какой получится у этого американца Сергей и кого они нашли для Олейника и для Юры...

Мы будем там играть, думал он, и постановочная группа будет мучиться с эффектами, и всем будет казаться, что это уже почти настоящее... А ребята будут париться в Заволжье, и редкий снег будет змеиться по замерзшим колеям, и ночью тепло будет кончаться в метре от батареи, а в темной казарме будет стоять ледяное удушье.

Среднее Поволжье. Ноябрь

Брызги жидкой глины, выбитые “Уралами” из глубокой колеи, застыли и торчали сквозь редкий, непрестанно сдуваемый снег острыми иглами.

Шли по обочине. Сзади приближался, нагонял истеричный, сбивающийся на визг рык мотора. Виляя и дергаясь, чтобы не ввалиться в непроходимо-глубокую, по мосты, колею, подъехал “ГАЗ-66”. По низким металлическим бортам хлопал плохо закрепленный, в засохших потеках грязи брезент, откидывающаяся кабина дергалась и дребезжала. За рулем сидел солдат в затертой до белизны синей куртке с меховым воротником и по-дембельски сдвинутой на брови маленькой ушанке из свалявшейся до войлочной плотности искусственной серой цигейки. Рядом с шофером сидел Барышев — как всегда, словно картинка из альбома форм, на этот раз почему-то в парадной светло-серой шинели, в фуражке с витым золотым шнуром и “капустой” вокруг кокарды. Щеки его матово светились ровным, чуть коричневатым румянцем, ясные, до каждой реснички промытые глаза смотрели весело и спокойно. Ему можно было дать лет двадцать пять, подполковничьи погоны выглядели маскарадом.

— Бойцы! — Приоткрыв дверь, он слегка склонился с высоты. Почти на уровне их глаз оказался сияющий сапог с

ровным высоким голенищем, острым носом — в столичном еще округе, видать, в академии полученный, парадный, для ежегодных прогулок мимо гранитного морга.— Здравствуйте, товарищи солдаты... Куда двигаемся? Кто старший?

Если бы про старшего спросил другой, можно было бы принять за нормальную шутку, но Барышев не шутил никогда — органически был не способен. Сергей молча отвернулся, ткнул сапогом глиняную колючку, еще раз ее поддел — обломанную... Юра застыл неподвижно, по привычке вернувшемуся солдатскому правилу: как только нет нужды двигаться — расслабиться и застыть. Руки он держал в карманах бушлата, воротник поднял, тесемки от опущенных наушников чудовищно мятой солдатской шапки болтались вдоль нечисто выбритых щек.

— Олейник, я спрашиваю, кто старший?— Барышев не повысил голоса, продолжал смотреть спокойно, все больше становясь похожим на человека с плаката по ношению формы.— Вопрос не понятен?

— Старший не назначен, товарищ подполковник,— негромко сказал Олейник. Он стоял ровно, так что можно было бы при желании считать это строевой стойкой, но он стоял ровно всегда.— Группа направляется на третью площадку для занятий. Докладывает капитан Олейник.

— На вас знаки различия рядового.— Барышев чуть откашлялся.— Вам звание не возвращено, Олейник...

— Так точно. Виноват.— Он приложил ладонь к ушанке.— Разрешите идти?

Сергей сбил сапогом вторую глиняшку, она полетела вдоль дороги, распалась на мелкие комки. Юра стоял, глядя в землю.

— Садитесь, я тоже еду на “тройку”.— Барышев чуть двинул головой назад-вбок, показывая на кузов.— Сегодня у вас занятия со мной, я не хочу вас ждать...

— Сука,— сказал Сергей. В кузове было пыльно, ледяной брезент все хлопал, их бросало на каждой выбоине.— Какая ж сука! В Кандагаре он бы покрасовался...

— Брось, охота тебе...— Юра и здесь старался не двигаться и даже не держался, руки из карманов не вынул, сел сразу на пол у кабины, чтобы швыряло меньше, и при

толчках только голову втягивал. — Не реагируй. Все ж ведь ясно, чего дергаться? Будешь дергаться — не выживешь...

— Учитель... Мне раввин не нужен, понял?! — Сергей было заорал, но Юра поднял глаза, глянул, и Сергей осекся, полез за сигаретой, долго прикуривал от дергающейся спички. — Ну, прости, сорвалось... Ты ж знаешь, я не по этому делу... Юр!..

— Не собачьтесь, мужики. — Олейник тоже сидел на полу у кабины, ноги подтянув к груди, упираясь каблуками в пол, сигарету держал в едва шевелящихся губах, не вынимая, а ладони спрятал, обхватив себя под мышки. — Барышев впервые будет сам занятия вести, поняли? Соберитесь, это если еще и не зачет, то что-то серьезное. Я его знаю, я вам рассказывал — у нас более профессионального киллера не было, ясно? Надо собраться...

Машину швыряло, железный кузов гремел, носилась под брезентом морозная пыль... И нельзя было представить никакого другого мира — кроме этой серой степи в лишаях снега, серого неба в лишаях облаков, колеи метровой глубины, мути поверх всего — и холода, холода, холода... Такого же постоянного, как грязь.

Сергей приподнял край брезента, бросил окурочек, плюнул:

— Родина, мать бы ее в гроб!

И прикрыл глаза.

2

Группу уже было просто невозможно выносить. Он неделю терпел, на площадку являлся точно вовремя, то есть раньше всех, стоял без всякого дела в сторонке, разглядывая зевак, которые разглядывали русских, снимающих свое кино с натугой и без улыбок. Но как бы он ни был, ему казалось, тих и незаметен, а кто-нибудь обязательно подходил, заводил полный убогого яда разговор. Чаще всего это была хорошенькая, но низкорослая и расплывшаяся, будто осевшее дрожжевое тесто, дама — редакторша Леночка. Говорили, что муж этой пятидесятилетней Леночки был огромное начальство где-то в науке, но это ее не утешало, она ненавидела всех, кто бывал за границей больше ее, и даже

всех, кто оказался за границей сейчас, вместе с нею, это казалось ей несправедливым. Впервые, говорила она, случилось такое: сценарист едет с группой, да не куда-нибудь в Крым, что тоже неплохо, а в Париж, с ума сойти! Причем с женой! Так ведь она в счет моих постановочных, робко перебил он. Ну конечно, согласилась она, вы ведь у нас теперь знаменитость, звезда, против вас никто слова не сказал, и я считаю, что это вполне справедливо, должен ведь и любой автор, даже начинающий, вы ведь все-таки, извините, начинающий, что-нибудь получить... Поговорив так минут пятнадцать, она исчезала до вечера и появлялась только в гостинице на ночных планерках у Редько. Михаил Антонович, заявила она в тот вечер в первой же паузе, — когда Редько, наоравшись, на забаву французским горничным, тяжело глотал пиво, — а мы, например, сегодня беседовали, — тут она кивнула в сторону, приглашая в союзники, — и пришли с автором к выводу, что в три съемочных дня нам с этим эпизодом не уложиться. Это совершенно однозначно... И она решительно закурила, сразу выпустив огромное количество дыма.

Хотелось умереть. Все-таки не выдержал, возразил: разве мы говорили об этом, Леночка? Я бы никогда не взялся судить, уложимся или нет. Я не специалист и вообще не очень представляю, что это такое — съемочный день, да меня это и не должно касаться, я здесь не для этого, я здесь...

И замолчал, потому что действительно было непонятно, для чего он здесь. И все молчали. Редько сделал вид, что ничего не заметил.

На следующий день услышал, как Леночка говорила на чудовищном английском с Бернаром, оператором — милейшим, абсолютно бессловесным и, судя по его предыдущим фильмам, очень талантливым парнем. Леночка объясняла ему, что триллер не в традициях русской литературы, что серьезный писатель не гоняется за коммерческим успехом и не станет проводить время, отираясь в группе, экранизирующей его модную, но совершенно пустую вещь. Лишь бы за границу поехать... Зэй лост зе шэйм, ауэ райтерз, Бернар...

После этого на съемки ходить перестал, шатался по го-

роду. Трещал пыльный гравий на Елисейских полях, солнце картинно садилось в Триумфальной арке, со стройки перед Лувром ехали грузовики, там росла стеклянная пирамида. Чтобы не пачкать улицы, грузовики выезжали по гигантским щеткам, положенным щетиной вверх, — обметали от строительной пыли колеса...

Любимый маршрут был длинен, и никто из постепенно появляющихся французских знакомых не верил, что они несколько раз проходили его с Ольгой пешком. Шли, привычно переговариваясь — ну почему этого, и этого, и этого у нас нет и быть не может? — и, как всегда, посмеиваясь над собой: именно за границей русские особенно счастливо предаются национальному мазохизму, и все, от качества и, главное, наличия пива до чистоты в подъездах, не радует нормального русского путешественника, а огорчает сравнением с отечественным безобразием. Мирный разговор переходил в мирное же молчание. Шли, наслаждаясь миром, взаимопониманием, во всяком случае — Ольга. Здесь, во Франции, ее жизнь выравнивалась, она ощущала свое спокойное и уверенное существование, постоянно присутствовавшие в ее московском житье тень угрозы, неопределенность исчезали: он был все время на глазах, все время занят, а люди вокруг были чужие, и отношения его с ними не вызвали ревности.

И его тоже на какое-то время охватывал покой. Разглядывал прохожих, витрины, бесконечные ряды машин вдоль тротуаров, привычно запоминал детали и радовался узнаванию того, что было известно и памятно с давних платонических времен, с картинок в "Popular Mechanics" и карикатур в "Крокодиле", с описаний в романах, публиковавшихся "Иностранкой". Рядом с "ягуаром" жался умильно интеллигентный и хипповый "ситроен-дош", разрисованный вишнево-черной загогулиной... Немолодой твидовый джентльмен, на ходу откинув полу длинного пальто, совал в карман толстую газету... Деловая дамочка спешила куда-то на сильно кривых в коленях, тонких ногах, и сумка-портфель крокодиловой кожи колотилась на ее бедре, кости которого выпирали из-под классической юбки в клетку "пепито"...

Маршрут был просто гигантским: от вокзала Сен-Лазар,

рядом с которым было главное место съемок, к Большим Магазинам, сделав небольшой крюк через улицу Будапешт, по одной стороне которой стояли черные проститутки, а по другой их сутенеры, и идти было неуютно; через пассажик между двумя зданиями Галери Лафайет, мимо маленького камерного оркестрика, всегда играющего рядом с распродажей спортивного трикотажа и одеял, мимо парня, изображающего под магнитофон, взгромоздясь на урну, оживший манекен; потом к Опере; к тяжелой, питерски-мрачной колоннаде Мадлен; на Конкорд; по пыльным, лишенным тени аллеям Тюильри к Лувру, через его двор, сквозь узкий проходик в углу на мост Академии; наконец, на улицу Сены — и, не чуя ног, сесть за стаканом пива в успевшем стать любимым кафе “Ля Палетт”, одном из самых понтырских мест Левого Берега. Раскланяться с мгновенно впавшим в приятельство русским художником в бирюзовом пиджаке, розовой рубашке и сиреневом галстуке — все сочеталось, черт его деря, все! Вышел он из беглых, с какого-то торгового советского корабля, матросов, уже здесь начал рисовать — и за двадцать лет стал вполне парижским профессионалом жизни с художественным уклоном. Вместе с ним закурить, конечно, “Житан”...

Ольга сидела рядом, наслаждаясь безопасностью, хорошей жизнью и пампльмусс джюсом. Воздух имел принципиально другой оттенок, чем в Москве. Здесь совершенно не было расплывчатого золотисто-сиреневого, четкий серосиний определял все — окраску стен, неба, тротуара и интонацию речи.

Думать, что полностью прожил отпущенное, угомонился, впереди только работа, — и влюбиться впервые, понять, что до этого не было ничего, совершенно ничего; что все женитьбы, связи, приключения были не до конца, не на полную катушку, не всерьез; что и не знал, насколько пошло может совпадать ежедневная реальность с литературой самого банального, самого сентиментального толка!.. Боже мой, думал он, этого же нельзя представить — что будешь действительно мучиться не где-нибудь, а сидя в парижском кафе! Что отношения перестанут быть игрой и станут жизнью — реальной не меньше, чем боли в подвздошье. Что иногда даже будешь не в состоянии наблюдать процесс —

настолько погрузишься в его глубь, настолько будешь в потоке...

Он заметил, что плачет. Совсем дошел... Не умею курить, не вынимая сигарету из рта, объяснил он Ольге: слезы от дыма. Пойду позвоню в гостиницу, узнаю, не оставяли ли мне месседж Редько.

Он встал из-за столика, перешел маленькую площадь, вошел в будку с поворотной стеклянной дверью, сунул в щель телефонную карточку, закрыл шторку щели...

На экранчик высыпали нули и отдельно цифра 69 — столько франков оставалось на его телефонной карточке...

набрал код международной — 19...

на экранчик выползло 19...

Советский Союз — 7...

7 на экранчике...

Москва — 095...

095...

номер...

прорвался с первого раза, раздался вмятый длинный гудок...

Ответил муж.

Господи, сказала Ольга, здесь можно просидеть остаток жизни! Идем, сказал он, пора спать.

Среднее Поволжье. Ноябрь

От холода, ветра, тоскливой пустоты было только желание сжаться, сесть на корточки, не двигаться, холод давил, как враждебный взгляд, заставлял искать незаметности.

Но они шли быстро и непрестанно. Это отличает опытного солдата, вора, заключенного — умение заставить себя действовать как бы отдельно от собственного состояния. Как бы направить вместо себя в дело подчиненное существо — свое тело, или свой мозг, или то и другое.

Им почти не приходилось разговаривать, теряя время на обсуждение плана, — они поняли друг друга быстро и почти без слов. Сработал опыт каждого в отдельности и пять недель общих занятий в холодных унылых классах.

Занятия вели странные люди.

Был капитан в общевоисковых погонах, с непропор-

ционально огромной головой, с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы не прикрывали широкую лысину, маленькие и очень близко поставленные голубые глаза всегда гноились в уголках, как у медведя. Мундир был весь в белесых пятнах и сидел нелепо на квадратном, как сейф, торсе. Капитан не признавал спортзала и вел занятия в небольшой комнате, заваленной полусломанными столами и стульями. Мундира он не снимал. Сергею на второй день едва не сломал челюсть, несмотря на то что курсанты были в защитных боксерских шлемах. Юра сделал над собой усилие, вышел на середину комнаты — и успел схватить ножку стула... Но капитан, чуть дернул чудовищной башкой, ножка скользнула по прилизанным волосам и опустилась на погон с малиновым просветом; погон оторвался. “Молодец, еврейчик, — сказал капитан, — не боишься...” Подвигал плечом под оторванным погоном — и, почти не пригибаясь, двинул Юру левой в низ живота. С бушлата, который Юра получил разрешение не снимать из-за склонности к простудам, полетели пуговицы. Юра пригнулся, и капитан, занеся над его затылком сцепленные в замок руки, сказал: “Удар обозначаю. После удара тело противника должно быть уничтожено, потому что причина смерти может быть установлена...” Сергей сидел на полу, закинув голову, чтобы остановить кровь, Юра кашлял и хрипел. Капитан усмехнулся: “Мой удар они знают, сразу поймут, кто учил...” Олейник уже подходил к нему. Капитан смотрел на него, все еще усмехаясь. Усмешка еще была на его лице, когда он лежал в углу, а Олейник стоял над ним, обозначив ломающий горло удар ногой. “Ты на занятия больше не ходи, — сказал капитан, не пытаясь встать. — Ты дерешься хорошо, я в следующий раз отвечу полностью, потом за тебя не отчитаешься”.

Приходил человек в камуфлированной полевой форме, но без знаков различия вообще, красавец, в котором Сергей долго пытался узнать своего знакомого, а потом сообразил, что парень просто одно лицо с Полом Ньюменом. Красавец был молчалив и только тихонько мычал про себя невнятную мелодию, когда готовился к стрельбе или рассматривал измочаленные мишени. Стреляли и в тире — в холодном ангаре, в котором никогда не оседала белая пыль осыпавшейся

штукатурки, и на открытом стрельбище, туда топали полчасика по грязи, красавец приезжал на “Волге” с солдатом за рулем. Шел к траншее, держа в левой руке за ремни “калашников” и “М-16”, в правой — большой рюкзак с патронами россыпью и снаряженными рожками. Однажды Олейник отстрелялся хуже обычного; чувствовал себя плохо, видимо, подскочило давление — накануне опять пытался выяснить у Барышева хоть что-нибудь о Гале, но тот отвечал, как магнитофон: “Вам будет сообщено, когда положено... Продолжайте занятия... Вам будет сообщено...” И на стрельбище никак не удавалось наладить дыхание, в голове стучало, особенно остро и отвратительно чувствовался запах выстрелов... Он всадил две короткие очереди из “калашникова” в самый верх мишени. Красавец глянул на него брезгливо, взял автомат в одну руку, повел стволом — и через минуту солдатик бегом принес щит. Мишень была перерезана ровнейшим крестом, пули легли, как по линейке, и даже расстояния между пробоинами были примерно одинаковыми. А красавец еще раз приподнял автомат — и на следующем щите пули нарисовали круг. Он переложил автомат в левую руку, расстегнул кобуру, всегда висевшую у него на поясе, и наконец обнаружил ее содержимое — никелированный “ТТ”. Огляделся... Ровный серый свет лился на грязный пустырь стрельбища, на разбитую дорогу и серо-зеленое поле вокруг. Вдоль дороги тянулись, провисая и взлетая к столбам, провода, метрах в ста на них ногами расселась стайка воробьев. Красавец поднял пистолет, выстрелил три раза. Три растрепанных комка полетели на землю. “Занятий сегодня не будет, вы не готовы”, — негромко сказал красавец и пошел к “Волге”, таща за ремни оружие.

Вождением занимался совсем молодой малый с простоватым испитым лицом пэтэушника, в облупленной летной кожаной куртке и солдатских штанах, заправленных в нечищенные хромовые сапоги, смятые гармошкой на сверхъестественно кривых ногах. Водили грузовой “ЗИЛ”, “уазик”, “Волгу” со специальным двигателем, полицейский “БМВ” — по бетонке, асфальту, самому разбитому проселку, по полю в сгнившей стерне, среди мертвых деревьев редкой рощи... Перелетали на “Волге” метро-

вую траншею. Въехав правыми колесами на эстакаду, специально переворачивались на грузовике. Лучше всех получалось у Юры, мотоциклетный навык сгодился. Сергей ничего не мог с собой поделаться — боялся. “Мать твою в кудри,— сказал малый,— из тебя водила, как из говна пуля...” Выпихнул Сергея из кабины, рванул к эстакаде. Перевернувшись, “ЗИЛ” встал на смятую крышу кабины, заскользил, скребя по дороге и разворачиваясь вперед кузовом. “Эй,— заорал малый через открытое окно,— сюда идите, салаги! Смотрите, как люди ездят...” Он висел в кабине вниз головой, упершись коленями в приборную доску, руками в прогнувшуюся крышу. “Понял, что главное, кудрявый?— обратился он к Сергею и сам ответил:— Главное не бздеть, в кабине и так душно”.

С Юрой еще отдельно занимался радист, невысокий, складный майор в модных очках. Металлическая оправа оставляла на тонком носу красные вмятины, заметные, когда он, сняв очки и низко наклонившись, наблюдал за Юриными руками. Однажды Юра, почувствовавший к этому интеллигентному парню и блестящему профессионалу симпатию, пошутил: “У них здесь связь — черта оседлости, да, майор?” И встретился с таким неистово ненавидящим взглядом близоруких карих глаз, что осекся. “Из-за таких, как ты,— тихо сказал майор,— меня в училище принимать не хотели... Из-за предателей... Я к Арафату просился, понял? Я вас ненавижу, всех...”

С Олейником стал заниматься азиат, не то киргиз, не то кореец, работали в спортзале, в кимоно, но иногда и на воздухе, в полевой армейской форме. Уровень восстанавливался быстро, однажды азиат проиграл вчистую, и Олейник, к собственному удивлению, пришел в хорошее настроение. Все нормально, подумал он, Галя жива, я жив, значит, все еще можно сделать, поправить, я их сломаю, они еще ни разу не одолели меня до конца, я всегда выползал... Он поклонился азиату и пошел к казарме, повторяя про себя: “Галя жива... Галя жива...”

В казарме, в огромном зале, заставленном рядами пустых коек, из которых застелены были только их три, да еще три, стоявшие с ними вперемежку,— на этих спали три человека, явно не призывного возраста, но обмундированные в

обычное, солдатское — в казарме они почти не разговаривали между собой. После занятий не было сил, при надзирателях не имело смысла, да и без разговоров все было ясно. В субботу, после обеда, шли в штабной двухэтажный кирпичный барак. Садись у стола, неотрывно глядя на простой телефон с треснутым диском. Раздавался звонок. Первым брал трубку Олейник, а соединяли первой почти всегда Юльку. Лицо Сергея приобретало зеленоватый оттенок, как обычно бывает у рыжих, когда они бледнеют. Двое выходили в коридор курить — до короткого звонка отбоя. И снова звонил телефон, и снова...

Все были живы, сыты и здоровы. Юлька матом не ругалась, говорила только по-английски и всегда об одном и том же: ей ничего не нужно, она вполне легко терпит, пусть Сережа не волнуется, конечно, она кошка, но даже кошка от испуга может забыть о своем естестве... Naturally, I need... but not so extremely, you see? Honey, believe me, this true... love — after. You see? I fuck such shit, like love, without you...

Ютта говорила спокойно, коротко, давала трубку Конни, парень говорил, что у него все в порядке и он уже подтягивается на притолоке двенадцать раз, потом Ютта брала трубку снова — только чтобы закончить разговор: "Gott sei mit dir! Yurik..." Когда Сергей и Олейник входили в комнату, лицо Юры было мокрое, все, сверху донизу, как будто он умылся, не вытираясь. Он доставал платок и вытирал слезы, не отворачиваясь.

Галя почти не плакала, только повторяла: "Володя... Володенька, ты не болеешь? Не болей... Володя..." Однажды вместо нее он услышал приятный женский голос с заметным южным выговором: "Владимир Алексеич? Та вы не волнуйтесь, у Халы все в порядке, просто охрипла немножечко, так просила позвонить, а через недельку она сама вам все расскажет, и еще просила поцеловать, так я вам и передаю же..." Потом Галя выздоровела, но как раз в ту неделю у него звенело в ушах, и, когда работал с азиатом, перед глазами плыли цветные круги.

...Теперь они шли по пустынной дороге — три человека, слишком легко одетых для конца ноября. Первым шел Сергей. Его рыжие кудри были скрыты туго натянутой вязаной шапкой, зеленая полувоенная куртка застегнута до горла,

джинсы заправлены в высоко зашнурованные желтые ботинки. Слева куртка топорщилась — там под ней висел стволом вниз “узи”, он выбрал его, а не “калашников”, и это был его последний жест отворачивания к стране. Старшина-оружейник хмыкнул и выдал автомат. Карманы куртки были набиты магазинами — больше он не взял ничего.

Юра шел вторым. На нем была черная нейлоновая шапка с длинным козырьком, широкая короткая кожаная куртка на меху, черные спортивные штаны-шаровары и высокие кроссовки. В левой руке он нес длинную спортивную сумку. Из-под шапки провод наушников незаметно тянулся под куртку, да если бы кто и заметил, решил бы, что парень, по виду обычный фарцовщик или качок, слушает на ходу вокмэн, наслаждается Розенбаумом или Токаревым. Но провод тянулся к мощной рации, висящей на Юриной груди, и в наушниках непрерывно повторялось: “Восемьсот сорок один, семнадцать, девять... восемьсот сорок один, семнадцать, девять...” Механический голос бубнил, и это означало, что все идет по плану, что двигаться в том же направлении с той же скоростью и готовность акции — получасовая.

Последним шел Олейник. Клетчатую английскую кепку он низко надвинул на глаза, руки глубоко сунул в большие карманы бежевого шерстяного пальто, легкие замшевые ботинки — любимая его модель, та самая, что была испытана еще солдатами Монтгомери в пустыне, — он ставил твердо, и при каждом шаге отмечал про себя, что лучшей обуви для прыжка не найдешь — лучше работать только босиком. Но не в России в ноябре...

Они шли примерно метрах в тридцати друг от друга, и в наушниках Юры все бубнил тот же голос: “Восемьсот сорок один, семнадцать, девять... Восемьсот сорок один, семнадцать, семь...” Готовность была уже двадцать минут.

Сергей остановился, повернулся лицом назад — как бы от ветра — прикурил. Подошел Юра. Чуть ускорив шаг, подтянулся Олейник.

— Владимир Алексеич, — Сергей затаился, дал прикурить Юре, — как все-таки думаете, неужели правда, что работа на уничтожение? Неужели они своих подставят только для тренировки? Вы верите?

— Не то что верю.— Олейник сплюнул, бросил сигарету, задавил ее подошвой, помолчал мгновение.— Не то что верю... Уверен. Знаю точно. Своих? Да спорить могу, что именно своих они и подставят. Еще и объяснят им: группа опаснейших преступников, вам непосредственно командование поручило обезвредить... Вот другое дело, я удивляюсь, почему они нас не жалеют? Ведь они серьезно пахали, чтобы нас на родину приволочь. И здесь учили — будь здоров... Неужели ради тренировки они нас под автоматы подставят? Сначала не верил, а теперь понял: как раз логично. Если мы эту тренировку не пройдем, то мы им вообще не годимся, и тогда все равно вся их работа насмарку. А если пройдем — им за это никаких своих не жалко. Подумаешь, лейтенанта-другого мы замочим... Слишком серьезная у них готовится для нас работа, они, чтобы все проверить, и генерала подставят...

— Пятнадцать минут, — сказал Юра. — Пятнадцатиминутная готовность, все по плану, первый вариант. Отвечать?

— Ответь, — сказал Олейник, сунул руку в карман пальто и вытащил “кольт-45”, — ответь, что дальше действуем сами, на связь выходим только после акции, если все будет удачно...

— А если неудачно? — Юра подвинул ко рту микрофон, закрепленный у него под подбородком.

— Если неудачно, некому с ними связываться будет, — сказал Олейник и, легко пружиня, как на стайерской тренировке, побежал к автобусной остановке впереди — две стеклянные стены под прямым углом, все в трещинах и осколках, да навес.

Тут же Сергей пересек дорогу и поднял руку, будто голосуя на пустом шоссе. Отвыкли мы все-таки от этой жизни, подумал Юра, руку поднимает, как настоящий хич-хайкер, большим пальцем вверх, в России голосуют совсем не так.

Он сам ссыпался в кювет, лег, расстегнул сумку, вытащил и уткнул в плечо упор короткой трубы гранатомета. Шум моторов уже был слышен.

...Первая машина взорвалась сразу. Вторая, ползя юзом и разворачиваясь поперек дороги, влетела в костер. Третья затормозила и на порядочной скорости поехала задним ходом. Сергей лежал, короткими очередями валя одного за

другим выскакивающих из второй машины. Юра встал в кювете в рост, его гранатомет дернулся, но он не попал — в третьей машине только посыпались стекла, она остановилась. Сергей бежал к ней, он уже оказался без куртки, бронежилет, плохо подогнанный, шлепал на бегу. Пробегая мимо одного из лежащих на дороге, он на мгновение опустил ствол автомата и выстрелил — лежащий, видимо, показался ему живым. Тело подбросило над асфальтом. Из третьей машины прогремела автоматная очередь, бестолково длинная. Сергей упал и, быстро перекатываясь с живота на спину, свалился в кювет. Олейник в два прыжка оказался на крыше третьей машины, его “кольт” загрохотал: он стрелял сквозь крышу, звук был такой, будто работает кузнечный пресс. В это время багажник третьей машины распахнулся, и, словно чертик на пружине, вырос из него человек с автоматом в руках. Он не был виден Сергею, а между ним и Юрой лежал на крыше машины Олейник. Но автомат уже вылетел из рук человека, и уже он сам опрокинулся, упал на дорогу, и Олейник уже понял, что третий удар не нужен — человек был безопасен, хотя, вероятно, еще жив: подошвы любимых ботинок были мягкими, убить даже сильным ударом здорового мужика невозможно...

Вертолет сел метрах в восьмидесяти. Барышев — в безукоризненно уставной полевой форме, в идеально точно сидящей пятнистой каскетке и ровно настолько, насколько положено, открытой тельняшке, подошел спокойно, не глядя на обломки машин и трупы.

— С заданием справились, — сказал он. — Капитан Олейник, сержант Никифоров, рядовой Цирлин, я объявляю вам благодарность от лица командования. В расположении части вас ожидают ваши близкие, вам будет предоставлено увольнение на трое суток каждому. В гостинице для офицерского состава вам будут выделены комнаты...

Объезжая вертолет, уже приближались грузовики и тягачи — через час следов на дороге не останется.

Юра шагнул к Барышеву и, совершенно позабыв всякую науку, по-харьковски просто дал ему по морде. На пятнистую куртку быстро-быстро закапала кровь.

— И попробуй ему ответить, сука, или заложить, — сказал Сергей.

— Вернетесь в часть вместе с труповозкой, подполковник, — сказал Олейник, — а мы пошли к вертолету. И Сергей не шутит, да и я тоже вам советую про эту оплеуху помнить молча.

Из-за руля второй машины вытащили полуобгоревшее тело. Облупленная кожаная куртка висела ключьями, сапоги с голенищами гармошкой скребли по земле. Чуть в стороне лежал человек с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы отклеились от широкой лысины, прядь их свесилась и шевелилась под ветром.

Проходя мимо тягача, Сергей что было силы шваркнул “узи” о гусеницу и отшвырнул обломки автомата.

3

В гостиницу после приема в мэрии вернулись в третьем часу ночи.

В маленьком холле пахло теплом, хорошим табаком, кофе, чудесной парфюмерией. Не было сил больше переставлять ноги, она не пошла вместе со всеми к лифту, а присела в кресло — не то старинное, не то стилизованное под старину, здесь нельзя было понять: кожа, глубоко утопленные медные шляпки обивочных гвоздей, потертое красное дерево подлокотников. Рядом с креслом стояла девственно чистая медная пепельница на высокой ножке.

Она порылась в карманах плаща и бросила в пепельницу скопившиеся за день в карманах картонки билетиков, испещренные буквочками, цифрами, значками... Интересно, что они значат и кто их читает?... Сняла и положила рядом с креслом на пол, на толстый лимонно-желтый ковер, свой осточертевший берет. Никто здесь таких не носит, но маленькие шляпки ей не идут... Встряхнула слезавшимися за день волосами... Еще мыть голову, сушить, а спать хочется невыносимо...

Мимо прошла пара американцев, сидевшая на завтраке за соседним столом, улыбнулись, мужик даже подмигнул — мол, пошли с нами, — обнял подругу за плечи и легонько толкнул ее в бар. Качающиеся двери бара, приоткрывшись, выпустили немного тихой грустной музыки. Она знала эту песню, дома по телеку непрерывно крутили клип, прелест-

ная голубоглазая француженка и молодой красавец ехали на мотоцикле по мокрой вечерней набережной... А американцам было лет по шестьдесят пять, она носила огромные разношенные кроссовки и широкие штаны выше щиколотки, он был тяжелозад и глух, в каждом ухе его лежало по белой таблетке слухового аппарата. И всегда в обнимку...

В номере чуть слышно гудел обогреватель, на тумбочке рядом с постелью лежала очередная конфетка на ночь — на этот раз розовая с золотом. Сразу, едва сунув плащ в шкаф, кое-как скинув одежду на кресло, она пошла в ванную. Остатки сил надо было сберечь, нельзя завтра появиться с невымытой головой. Привыкнуть и не отмечать этого про себя было невозможно, хотя уж сколько навидалась, но все равно — чудо: четыре свежих, идеально сложенных полотенец, плетеная корзинка с шампунем, мылом, колпаком для волос, микроскопическим тюбиком зубной пасты... Немного помучившись с кранами, она отрегулировала воду, открыла баночку шампуня — накопившиеся за предыдущие дни уже лежали в сумке, девкам пригодится подарить, а то и самой понадобится — еще неизвестно, как будет в Москве, когда вернешься.

Вымылась быстро, расчесала волосы и включила укрепленный на стене, рядом с зеркалом, фен. Сквозь его гул слышала какой-то звук в номере, с испугом вспомнила, что, кажется, не заперлась, осторожно, чуть приоткрыв дверь ванной, выглянула. В комнате никого не было, ее одежда валялась на кресле, желтый неяркий свет падал от торшера. Из комнаты во влажное тепло ванной потянуло сквознячком. Она прикрыла дверь, еще немного покрутила головой перед феном, замотала влажные волосы полотенцем, накинула тонкий ярко-синий халатик, купленный когда-то, еще в первой поездке, с которым с тех пор не расставалась, — места занимает мало, не мнется, захватила щетку, чтобы, включив ночное, бессонное, непонятное телевидение, до-расчесываться уже в постели, и вышла.

На уголке кровати, не видном из ванной, сидел Дегтярев. На полу рядом с ним стояли почти ополовиненная бутылка коньяка с кривой советской наклейкой и стакан, который он взял с ее столика.

...Она до сих пор иногда удивлялась: что могло долго связывать ее с этим персонажем, почти фельетонным, почти комическим? А потом вспоминала — какой уж там фельетон... Беда, бедствие, болезнь. Ужас. Слава Богу, избавилась.

Дегтярев работал еще на Шаболовке, а потом в Останкине всю жизнь, и никто не мог бы точно сказать кем. Некоторые считали его диктором, и правильно, был он и диктором, голос его, мужественный и как бы слегка надломленный суровым жизненным опытом, звучал то в праздничных репортажах о парадах и демонстрациях, то в грустных сообщениях о мировых бедствиях. Но был он как бы и комментатором, с удивительной искренностью и теплотой говорил о наших друзьях из разных стран мира, в которых этих друзей не понимали и даже травили за искреннюю симпатию к великой стране и народу-победителю. Друзья приезжали, подолгу жили в гостинице в районе Арбата, давали интервью, гневно осуждая империализм, открывая глаза советским людям на их несравненное счастье и на несчастья их товарищей по классу в странах показного изобилия. Вот интервью у них Дегтярев-то и брал, и его скромный, но приличный костюм хорошо, драматургически точно смотрелся рядом с клетчатым, но дешевеньким пиджачком брата по идеологии. Всем своим видом — от красивой, но не очень аккуратной, художественно-небрежной шевелюры до жестко складывающихся, с чуть опущенными уголками, губ — Николай Павлович Дегтярев выражал сдержанное сочувствие униженным и оскорбленным всего мира. И постепенно стал считаться выдающимся специалистом — причем не только на телевидении, приглашали его и в более серьезные места — по сочувствию бедным и по борьбе со злом, ломающим и угнетающим бедных людей всего мира.

Так он дожил до перемен. Иногда на некоторое время с экрана исчезал — или руководство проявляло недовольство пережимом в сочувствии, или тот, кому посочувствовал в последний раз, уехав, вдруг начинал нести страну с гостеприимным арбатским приютом... Спустя некоторое время Николай Павлович появлялся снова, и снова время от времени его прямо из студии, в перерыве передачи, звали в кабинет к телевизионному начальству, там его уже ждала

трубка желтого телефона с гербом, и кто-нибудь из тех его дружков, которых он называл запросто Володька или Петька, одобрительно ему выговаривал: “Ну, ты сегодня, Николай Павлович, резковато... Могут истолковать... Но, ничего не скажу — честно... Молодец!..”

Перемены сразу же напомнили всем — и Николай Павлович сам старательно организовывал это напоминание, что было вполне объяснимо, человек наконец получил возможность говорить то, что думает, — напомнили именно о тех периодах в его жизни, когда от экрана его отлучали. Как-то незаметно получилось так, что он снова стал выдающимся специалистом по сочувствию бедным людям, но поскольку теперь выяснилось, что самые бедные в мире — его соотечественники, то Дегтярев сочувствовал им и обличал то зло под маской добра, которое десятилетиями ломало и угнетало его народ. Снова время от времени его звали к “вертушке”, и Володька в трубке вздыхал: “Да, Николай Павлович, сегодня ты круто взял... Пока могут не понять... Но, должен признать, правда... Молодец!..”

Но вот что интересно: все верили Дегтяреву и теперь и прощали ему и прошлое, и настоящее, хотя многим почти таким же не прощали. Может, в этом “почти” и была причина — что-то в Дегтяреве чувствовалось настоящее, страсть какая-то, и потому отличали его люди от комических прогрессистов, кочующих с тусовки на тусовку.

Дегтярева тоже куда-то выбрали и включили и тоже стали приглашать на тусовки, и всюду он говорил о бедных людях, и грива его, ставшая более небрежной, выглядела все более убедительно. Вместо костюма он теперь носил свитера и кожаные куртки, которые привозил из каждой поездки.

Но страсть все жестче складывала его губы. И она — пожалуй, единственная из всех его бесчисленных личных и заочных знакомых — знала, что страсть действительно существует.

Познакомились же они еще в первый день ее работы. А недели три спустя ее попросили съездить к нему домой — Николай Павлович был болен, а тут срочно понадобился какой-то документ, который он взял домой. Или, наоборот, срочно понадобилось ему отвезти какой-то документ на прочтение и отзыв — уже забылось это за годы. Она была самая

молодая и не очень занята работой, послали ее. Он жил в просторной квартире, в старом доме, где-то в районе Сивцева Врѣжка. Паркет сиял, картины со стен сияли, гигантский экран телевизора светился нездешними красками... В таком жилье она еще не бывала в те времена. В прихожей, в гостиной и в видимом сквозь приоткрытую дверь кабинете стояли плотно набитые книжные шкафы. За их стеклами, поперек корешков, были засунуты фотографии Николая Павловича — и с Володькой, и с Петькой, и с Раулем, и с Эрихом, и с Густавом... И просто — с актерами, писателями, музыкантами. На самом видном месте была фотография Дегтярева с каким-то лысым, чрезвычайно стесненно державшимся перед объективом — втянув голову в плечи. Поймав ее взгляд, Николай Павлович спокойно и достойно-гордо назвал фамилию, которая в те годы даже дома проносились не слишком громко. В начальственной квартире фамилия прозвучала особенно вызывающе...

Когда через двадцать минут она собралась уходить, он пошел за нею в прихожую — и вдруг взял за руку, слегка потянул, они оказались в спальне... Она даже не успела перейти с ним на "ты" и, уходя, спросила нелепо: "А где... ваша супруга?" Оказалось, что жена просто вышла в магазин. Она похолодела, он усмехнулся — в определенной смелости, и это подтверждалось потом еще много раз, ему отказать было нельзя.

Их роман длился полтора года, тут как раз все изменилось, но он и теперь оказался неизмеримо выше ее в новой табели о рангах, и только когда она стала вести самые популярные — ночные — передачи, они начали уравниваться. Однажды они вместе пили кофе в гигантском ангаре нижнего буфета. "Сегодня приезжай, — сказал Николай Павлович негромко, когда от столика отошел надоедливый редактор из литдрамы. — Я один..." Она, допив кофе, молча смотрела, как он закуривает, — Дегтярев позволял себе дымить трубкой где угодно, и замечаний ему никто не делал. "Когда тебя ждать?" — Он затянулся, удивленно подняв брови, поскольку она продолжала молчать. Наконец она встала и взяла свою чашку, чтобы отнести ее к мойке, — не могла отвыкнуть от этого столовского правила. "У меня сегодня передача, — сказала она, — кончится поздно, и я не могу..." — "Ну,

так придумай что-нибудь,— раздраженно буркнул он, продолжая сидеть и раскуривать трубку, придавив ее сверху спичечным коробком.— Скажи Андрею, что ночная запись какая-нибудь...”— “Нет, Коля, не придумую.— Она продолжала стоять перед ним с чашкой в руке и говорила, почти не понижая голоса. За соседним столиком замолчали, но ей было все равно, о романе и так ходили сплетни, пусть теперь знают, что все кончилось.— Не буду придумывать, потому что мне надоело бегать по первому требованию. Что, ее ты опять в магазин отправишь? Или к внукам? И потом — после передачи я слишком устаю...”

Она пошла к мойке. Он догнал ее, сказал, скривив больше обычного рот в презрительной гримасе: “Конечно, тебе передача важнее... Теперь можно карьеру делать на болтовне, Дегтярев не нужен”. Она не ответила, но в тот день Николай Павлович Дегтярев попал в ее список — в список унижавших, мучивших, терзавших самое болевшее в ней. Он действительно помогал ей в первые месяцы, но по честному счету помощь эта была не настоящая. Он учил ее только тому, что требовалось тогда, а главное, что потребовалось ей теперь, она уже осваивала без него. Но помощь все же была, потому что поначалу нужно всплыть на уровень. И Дегтярев, напомнивший о помощи, попал не просто в список мести — он в этом списке был одним из самых ненавистных. Но время расчета все не наступало... В коридорах они кланялись, а попав — что бывало все чаще — в одну поездку, в самолете и в автобусах садились далеко друг от друга. Если необходимость возникала, обращались друг к другу, конечно, по имени-отчеству. Время еще не пришло, но она знала, что придет...

— Извини,— сказал Дегтярев,— не спится никак. Давай выпьем вместе... вспомним... Или совсем все ушло?

Она не торопясь запахнула халат, завязала пояс, сунула щетку под подушку, сбросила полотенце, недосушенные волосы рассыпались, сразу завившись в слишком мелкие кудри.

— Что ж, давай выпьем, Коля,— сказала она и увидела, что спокойствие ответа подействовало, он съежился, сник, сразу стало видно то, что она уже давно замечала при случайных встречах: старый, старый человек с быстро реду-

ющими растрепанными волосами. Молодежная куртка висит на худых плечах... — Сейчас стакан принесу.

Она вернулась в ванную, споласкивая стакан, смотрела в зеркало. Выглядела, несмотря на усталость, после душа прекрасно, глаза сияли. Больше тридцати сейчас не дашь... Вышла в комнату, подвинула к кровати кресло, подставила стакан. Он налил ей немного — знал, что почти не переносит коньяка, — себе две трети стакана, выпил сразу, чуть двинув в ее сторону рукой: “Ну, твое здоровье, бывшая любимая...” Она тоже выпила сразу все, что он налил, и, перегнувшись в кресле, поставила стакан на столик. Халат распахнулся на груди, она не поправила его. Все шло по ее плану, только слишком быстро, ей на минуту стало мерзко... Дегтярев некрасиво, не вставая с кровати, потянулся, обнял, она увидела, что выпитое им до прихода не прошло бесследно, движения были нетверды, он плыл, глаза разъезжались.

— Зря ты пьешь так много, — сказала она. — Совсем печень загубишь... Тебе ведь шестьдесят пять в этом году?

Это он выдержал — сделал вид, что не слышит, тащил с нее халат... Она позволила ему уложить ее на кровать. Лежала, не прикрывшись, закинув руки за голову, чуть согнув в колене левую ногу. Свет от торшера, хоть и неяркий, захватывал ее всю. Она покосилась вниз — на светлых волосах еще поблескивали капли воды, это было так красиво, что она поняла — все силы потребуются, чтобы победить собственное, жестокое, мучительное возбуждение. Дегтярев лихорадочно стаскивал одежду, рвал через голову свитер. Она успела заметить, что майка на нем несвежая, и почувствовала чужой запах, который всегда вызывал острое отвращение, если кто-то раздевался при ней — например, в бане, куда ходила иногда с другими телевизионными дамами... Это и есть конец, подумала она, когда запах ощущается как чужой. Раньше не замечала... Впрочем, он раньше был моложе и, вероятно, опрятней...

Когда он рухнул, вцепился по-прежнему сильными руками, приблизил лицо, напрягся, зашептал — ну, вот, вот, а то... придумала... разве мы можем расстаться?... ты же не можешь без меня... ты же пропадешь... и я... я брошу ее, выходи за меня, сейчас только и жить... ах ты, стерва, как же ты могла думать, что ты меня бросишь... маленькая блядь...

ну, вот, вот, вот... — Он всегда называл ее всеми непотребными словами в такие минуты, в этом был их кайф, они оба знали, что в этих словах исходит самое истинное в их страсти, и когда он уже замолчал, и стал закрывать глаза, и дышать все тяжелее...

Она усмехнулась.

Он открыл глаза и увидел ее усмешку.

— Ничего не получится, — сказала она. — Ты хорош только, когда у тебя есть власть. А власти больше нет. И любовь моя высохла, чувствуешь? Понимаешь, Коленька? У тебя больше нет надо мною власти, и никогда, никогда, никогда ничего хорошего у нас не получится... Ведь вся наша страсть — твоя власть... Оденься, простудишься. Они совсем не топят в комнатах, чтобы лучше спалось.

Она лежала на спине, снова закинув руки за голову и слегка согнув в колене левую ногу, и торшер освещал ее всю, но капли воды уже не блестели на светлых волосах. Пожилой мужчина, стоя посередине ее номера, застегивался, руки его заметно вздрагивали, он смотрел мимо нее и дышал с чуть слышным всхлипом в конце каждого вдоха.

Потом он ушел, прихватив с собой недопитую бутылку.

Снова лилась вода, шел пар, запотевало зеркало. Она лежала в ванне, рука двигалась отчаянно и неутомимо, но все было бесплодно, только все больнее и больнее, она выгибалась, рука уходила в голубоватую воду и там двигалась, ненавистный, неловкий, нежеланный палец скользил среди всплывающих в воде волос, она выгибалась все выше, выше, стонала все громче и все отчаяннее понимала, что ничего не будет.

Ну, прости же меня, взмолилась она, да, я отвратительна, зла, я хочу мести, но неужто непозволительна месть за убийство, а ведь они все, они все убивали меня, потому что всякое унижение для меня — это смерть, и я всякий раз умираю, а они даже не знали об этом, но ведь они же хотели меня унижить, они же делали все сознательно, так неужели же простить? Я готова простить Андрею, он не хотел моего унижения, просто он так устроен, он не чувствует тонкостей, не видит деталей, не ощущает полутонов, он не хотел меня унижить, он причинял мне зло без намерения. Но все другие — они были злы, и любовь их была злом, и неужто

нет прощения моему греху злопамятства, неужто я такая же, как они, коли на зло отвечу злом?

Прости же, прости меня, молила она.

И из пара, из запотевшего зеркала к ней плыли мерзлые улицы, чужие подъезды, разбитые такси, грязные постели, она слышала чуть хриловатый голос с безукоризненно московским выговором и тембром, она ощущала единственный не чужой запах, прикасалась к не чужой коже, ощущала на лице не чужое дыхание... Успокойся, сказал он, ты же не святая, ты живой человек, и это — твой грех, но он не самый страшный, и не самым страшным злом отвечаешь ты на зло, и никто не знает меры ответа, успокойся, отмолим любовью, успокойся, бедная моя девочка. Он положил свои очки на пол, рядом, и в какой-то момент, вывернувшись, она увидела это маленькое стеклянно-стальное насекомое, металлического кузнечика с вывернутыми горбатыми лапками, трогательного и беззащитного.

Она застонала, закричала, зажимая себе рот, чтобы крик не был слышен в соседнем номере сквозь шум все еще льющейся воды.

Утром ее долго будили звонками из рецепции. Она ответила, что плохо себя чувствует и хочет отлежаться, — придет сама прямо на встречу и обед с представителями второго или какого там национального канала.

Среднее Поволжье. Декабрь

Две “Волги” и “уазик”, выкрашенный белым по обводам, как для парада, рванули от барака на краю летного поля и остановились у трапа. Дверь отъехала внутрь и в сторону, они вышли, ветер с мелкой снежной крошкой рванул полы серых английских пальто, вцепился в темные норковые шапки, особенно злобно принялся за генеральскую шинель и не по сезону фуражку.

— Все щеголяешь, Ваня, — усмехнулся, прикрываясь от ветра и спеша вниз по трапу, один из прибывших. Красивая седина выбивалась из-под его шапки, пальто сидело на нем особенно ловко, и по трапу бежал он вниз быстрее всех. — Смотри, простудишь головку, какой из тебя стратег будет?

— А пошел ты с шуточками на хер!.. — прошипел генерал, воюя с ветром. — Шутник...

Захлопали дверцы машин, первым рванул с места “уазик” с генералом, следом пристроились “Волги”, и через минуту небольшой кортеж уже несся по сизой бетонке, будто дрожащей и виляющей под редкими струями поземки. Белесая плоская степь уносилась в обратную сторону, в степи вдруг возникали длинные бетонные бараки, горбы подземных хранилищ, засыпанных землей, обнесенных многорядной проволокой, панельные, этажа в четыре, сооружения без окон... Навстречу, тоже на порядочной скорости, пронесся бэтээр, за ним, с небольшим интервалом — еще один. И снова опустела дорога, снова мелькали в степи, уже едва видимые в быстро темнеющем синеватом воздухе, бараки, хранилища и гаражи. И тоска, какая бывает только в промерзшей зимней степи, все ниже спускалась вместе с мгновенными сумерками и ночью, засветившейся редкими кучками огней.

Через полчаса они уже сидели в яркой, жарко натопленной столовой, на скатерти стояли тарелки, фужеры, бутылки. И обязательный изыск охотничьих домиков и саун — вялая зелень букетиком в центре каждого блюда с колбасой, рыбой, сыром не была забыта здешними хозяевами.

Пиджаки гости уже повесили на спинки стульев и остались, конечно, по холодному времени и полевым условиям, в пуловерах и кофтах, поддетых в дорогу поверх обычных рубашек с галстуками. Генерал разлил, чокнулись “за приезд”, выпили. Молча начали закусывать — полет был долгий, проголодались все как следует. Выпили по второй, закурили.

Стены столовой были обшиты панелями лакированного светлого дерева. В углу стоял большой холодильник, в другом — большой телевизор на маленьком столике с хилыми раскоряченными ножками. Окна были плотно задернуты шторами из ярко-желтой ткани.

Сквозь эти шторы желтый свет ложился вытянутыми прямоугольниками на снег, все ползущий и ползущий по двору стоящего на отшибе, на краю военного городка, домика. Высоким забором огорожен пустой двор, у ворот ходит часовой, длинный, до земли, тулуп с поднятым воротником придает ему вид шахматной фигуры — лады или ферзя. Ползет по двору снег, преодолевая освещенные прямоугольники, словно таящийся лазутчик; ползет снег по степи,

начинающейся прямо за забором; ползет по черному небу над домиком светлый дым из его трубы; ползут облака над поселением из двухэтажных домов, длинных, многооконных, уже засыпающих и гасящих свет, — рано ложатся в декабре офицерские семьи, и над трехэтажными казармами, разом померкшими всеми окнами после отбоя, и над памятником на центральной площади между домом офицеров и штабом... Ветер к ночи почти утих, и не поймешь, почему все ползет и ползет снег — словно облака по земле.

В столовой уже отодвинули тарелки, уже накурено. Лысый, с белесыми бровями и ресницами человек отодвинулся от стола, закачался на задних ножках стула, вздохнул.

— Ну, начнем работать, товарищи? — Он глянул на генерала. Тот немедленно встал, быстро привел себя в порядок — мундир его висел на спинке стула, резинка форменного галстука была расстегнута, и он свисал с рубашки, удерживаемый зажимом, — и вышел. Через минуту вернулся с подполковником в полевой форме. Сидевшие за столом уже подтянулись, будто и не ужин был с коньяком, а обычное долгое совещание. Немолодая тетка в белом, как у медсестры, халате быстро вынесла тарелки, остороженько сдернула с полированного стола, свернула вместе с крошками и утащила скатерть. Подполковник стоял молча. Наконец тетка ушла с последней вилкой.

— Садись, подполковник, — сказал лысый. Седой, с одутловатым лицом не то мальчика, не то пожилой бабы, подвинул стул.

— Благодарю, Игорь Леонидович, — сказал подполковник, садясь чуть в стороне от стола, как и положено вызванному для доклада. Седой поднял брови.

— А вы откуда же меня знаете?

— Как комсорг части во встречах участвовал на Новой площади...

— Бывает, что память и подводит, подполковник, — перебил лысый. — Бывает, обозначаешься... Понял?

— Давай, Барышев, докладывай. — Генерал хмуро покосился на лысого. — Товарищи устали, не тяни, расскажи, какие результаты — и все...

— Слушаюсь, товарищ генерал. Разрешите сразу по итогам?

— Давай по итогам...

— По итогам подготовки специальной группы в учебном центре. Докладываю, Иван Федорович: мною была организована проверочная операция, полностью имитирующая выполнение основной задачи, поставленной как цель подготовки. В операции были задействованы, кроме специальной группы, выполняющей эту задачу, военнослужащие из личного состава учебного центра, в частности, преподаватели спецотделения, работавшие с группой, на трех автомашинах "Волга". Все участвовавшие в операции были вооружены соответствующим задаче стрелковым и иным оружием. Специальной группе, а также группе, имитирующей противника на трех автомашинах...

— Какого, на хер, противника, Барышев?!— генерал не выдержал.— Ты что, совсем опупел?

— Была поставлена задача, Иван Федорович.— Барышев встал. Стоял, глядя на генерала сверху вниз, твердо, но не вызывающе.— Я выполнял учебную задачу наилучшим образом, чтобы иметь настоящее представление о возможностях подготовленной группы. С этой целью участвовавшим в операции были выданы боеприпасы и разъяснено, что операция боевая. Кроме того, членам специальной группы я обещал по окончании операции организовать встречу с семьями, о чем просил вашего разрешения и что вами, Иван Федорович, было разрешено. Семьи прибыли спецрейсом из Москвы уже в то время, когда операция началась...

— Погоди, подполковник, насчет семей.— Лысый перестал качаться на стуле, смотрел на Барышева с интересом, в желтых глазах отражались огни не то низко висевшей над столом люстры, не то какие-то дальние, невидимые.— Значит, если я тебя правильно понял, они там боевыми хуячили? Всерьез?

— Так точно, товарищ секретарь,— повернулся к лысому Барышев, и тут уж генерал вздрогнул и даже крикнул, будто на ногу ему наступили.— Так точно, огонь велся на поражение...

— Хорошая у тебя память, подполковник, очень хорошая...— Огни плясали в желтых глазах.— А я в комсомоле никогда не работал, откуда ж ты меня знаешь?

— У меня действительно хорошая память.— Барышев

глянул лысому прямо в глаза и не отвел взгляда от желтых огней, смотрел спокойно, только чуть гуще стал смуглый румянец на щеках. — Я профессиональный разведчик, специалист по военно-диверсионной работе, я обязан иметь хорошую память...

— Погодите, — перебил его седой комсомолец, — а если бы ваша спецгруппа с заданием не справилась?

— Проверочная операция дала бы тем более важный результат. Я бы доложил о необходимости создания и подготовки новой группы, зато была бы гарантия, что не способные выполнить задачу люди не будут использованы и не подвергнут риску всех, кто взял на себя ответственность за операцию... В этом случае семьи должны были быть доставлены на аэродром к обратному спецрейсу соответствующим образом подготовленным транспортом...

— Сам готовил? — усмехнулся лысый.

— Так точно. В автобусе были установлены дополнительные емкости с бензином, расчетным образом ослаблены гайки крепления передних колес...

— Ну, ты даешь, подполковник. — Лысый покрутил головой. — Но спецгруппа, значит, оказалась на высоте?

— Спецгруппа с задачей справилась, несмотря на то что противниками были высококвалифицированные профессионалы, которые преподавали членам группы боевые дисциплины. Видимо, подействовало понимание членами группы зависимости свидания с близкими от результатов их действий. Кроме того, я предполагаю, что члены группы догадывались о решении судеб их семей в случае неудачи проверочной операции. По крайней мере, я не дал никакого ответа, когда мне был задан соответствующий вопрос старшим этой группы. Он же во время операции действовал эффективнее всех...

— А, каратист, — седой засмеялся. — В Лондоне он тоже наших метелил будь здоров... Ну, Барышев, и сколько ж ты народу замочил на этом экзамене?

— Одиннадцать убитыми, Игорь Леонидович.

— А раненые были? — Снова огни зажглись в желтых глазах, снова закачался лысый на ножках стула.

— Раненых не было. — Барышев опять глянул прямо в

копачьи глаза, и огни погасли.— Я лично был на месте операции через три минуты после ее окончания и проверял...

— Одиннадцать.— Генерал встал, отошел к окну, чуть отодвинул занавеску, поглядел на снег, уже не ползущий редкими струями, а лежащий под ветер волнами низких сугробов.— Одиннадцать... Ты, Барышев, много на себя взял...

— Товарищ генерал, во время последних учебных десантирований в дивизии погибло четырнадцать, вы знаете. Учитывая важность задачи, я считаю потери минимальными. Тем более что преподавательский состав спецотделения учебного центра по действующим документам положено обновлять регулярно...

— Молодец, подполковник.— Лысый перестал качаться, стул встал на все четыре ножки.— Молодец... Ты что кончал? Кремлевский курсант? Или Рязанское?

— Москвич,— коротко ответил Барышев.

— Понятно,— лысый кивнул.— Значит, после операции готовься к академической деятельности... Чтоб с делом покончить, отвечай прямо: за команду ручаешься?

— Ручаюсь.

— Ну и спасибо... Иди, подполковник, отдыхай...

Они стояли на крыльце, глядя, как Барышев садится в "уазик", резко разворачивается к воротам и вырывается на бетонку, едва дождавшись, чтобы неловкий солдат в тулупе дал дорогу.

— Ну и что с ним дальше делать?— Лысый сказал негромко, почти без вопросительной интонации, будто сам себе.— Больно гордый... Профессионал... А чтобы промолчать — не удержался, всех знает... Пижон... Как считаешь, Игорь Леонидович?

— Думаю, ты прав.— Седой ступил с крыльца, пошел к машинам как был, в одном свитере, только шапку надвинул глубже. Остановился, сказал с невидимой усмешкой:— Профессионал... А я, ты знаешь, любитель...

"Волга" вылетела на бетонку. Лысый поежился и ушел в дом.

На повороте, на темной улице среди спящих домов, "Волга" встала рядом с вездеходом. Посидели минуту, не выходя. Потом дверца "уазика" открылась, офицер ступил

на снег, встал у машины. Словно в театре, в этот миг показалась из-за снеговых туч и наполнила ночь зеленым светом луна. Темным бликом мигнул в правой руке Барышева пистолет, он шагнул к “Волге” — тут же дверца ее распахнулась и из глубины машины ударила — негромко и коротко, словно одно слово, отбитое пишущей машинкой, — серия выстрелов. Седой бросил пистолет с нелепо удлиненным глушителем стволом на сиденье, выскочил, втащил тело в “уазик”, не садясь, крутанул баранку вездехода, уперся, подтолкнул — машина медленно поехала к стене дома, въехала на тротуар, косо стала... Седой вернулся в “Волгу”, прицелился... После третьего попадания бак рвануло, огонь поднялся к окнам второго этажа... “Волга” прыгнула с места и помчалась к центру городка, к площади с памятником — там можно было развернуться и не торопясь ехать к гостевому домику другой дорогой.

Он знал этот унылый поселок, как свою ладонь, здесь семнадцать лет назад служил в комендантской роте.

Солдат в тулупе открыл ворота, заглянул в машину, козырнул. Потом он долго запирает въезд. Наверное, утихомирились, думал он, больше выезжать не будут, суки. Побродил по двору — нелепый ферзь среди белых волн низких сугробов и черных проплешин еще не занесенной земли. Подошел к светящемуся апельсиновым светом окну. Тени — длинные, уродливые — двигались, поднимали стаканы, выпускали к потолку сигаретный дым... Если сейчас двинуть стволом по окну и сразу дать длинную, веером, можно за один раз достать всех, подумал солдат. Из этого, в лампасах, воздух сразу выйдет, как из проколотого гондона... И всех их бросит к стене, и они будут сползать по ней, оставляя красные дорожки на светлом дереве, и нужно будет дать еще одну, и еще — чтобы каждого достать в отдельности... Там наверняка останется коньяк, и потом можно будет принять стакан, согреться. Он уже замерз, а до смены час, и падла разводящий уж точно опять опоздает минут на десять.

4

Прием устроила французская сторона в шикарном “Фукьеце” — прелестная русская транскрипция — в новой

Опере. Долго пили изысканное белое, говорили, конечно, об удивительных переменах в России, лживое ледяное оживление блестело в глазах. Самым честным оказался угрюмый парень, сидевший между женою Редько и Ольгой, журналист из какого-то эпатажного еженедельника — стриженный в скобку, в мятом черном пиджаке и наглухо застегнутой жеваной рубашке без галстука. Он садил одну за другой “Голуаз” без фильтра и на невнятном английско-русском расспрашивал о службе в армии. Похоже, сказал он, что в вашем сценарии есть немного правды. Вы служили, наверное, давно? Но память хорошая... Законы триллера заставили вас сгустить краски, или?..

Начал было отвечать подробно, но перебил себя — слушайте, будет очень неприлично, если я скажу, что выпил бы виски? Или хотя бы розового — я не могу пить столько белого вина...

Все уже вставали из-за стола, стояли группками, курили, говорили довольно громко. Леночка на своем диком английском все просвещала бессловесного Бернара, при этом время от времени она громко хохотала собственным шуткам, и желе, упакованное в обтягивающие джинсы и трикотажную фуфайку с блестками, тряслось. Редько беседовал с американским продюсером, появившимся по случаю окончания съемок. Продюсер был на голову выше длинного Редько, черный костюм сидел, как на президенте, вишневый галстук был чуть распушен, русый чуб слегка спадал на лоб, как у двадцатилетнего. Вблизи можно было разглядеть, что ему не меньше пятидесяти... Редько убедительно гудел, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивался чудесный фуляр — сцена беседы гения с финансистом была поставлена прекрасно. Жена Редько и Ольга стояли рядом, создавая удачный второй план, — две светские дамы, одна в темно-зеленом, другая в темно-лиловом, хорошее по цвету пятно...

Плевать, сказал парень, я сам выпил бы пива, пошли в бар, здесь где-то должен быть.

Полые ледышки колокольчиками запели в стакане, виски после холодного бесчувствия белого был словно пробуждение в тепле. Скажи, спросил парень, отставляя пузатый пивной фужер, вы действительно уже не собираетесь

прийти в Европу на танках? А-а, обрадовался он, хоть ты честно спросил о том единственном, что вас интересует!.. Вы нас просто боялись всю жизнь и теперь не можете поверить в счастье — опасный сосед-безумец, кажется, приходит в сознание... Плевать вам на нашу свободу, вы просто боитесь за свое пиво. Правильно, спокойно согласился парень, я боюсь за свое пиво. И, кроме того, я был в Чехословакии тогда, в августе, я знаю, как выглядят ваши танки на фоне готики. Сколько ж тебе лет, удивился он. Думаю, что мы ровесники, сказал парень и ошибся только на два года — оказался старше. Да, сказал он, если вы так выглядите, вам есть за что бояться...

Виски был уже третий, и парень пил пиво, как похмеляющийся шоферюга, — втягивал мгновенно и тут же щелкал по пустой емкости, чтобы разливала ее наполнил.

Сейчас здесь большая мода на вас, сказал парень, на вашу политику, на вашу литературу, ваше кино. Но ты не должен обманываться: если вы действительно станете такими, как все, мода пройдет, и вам будет туго, нет опыта конкуренции, и потом, вы все равно останетесь не совсем взрослыми. Я работал в Москве два года, вы все, не только интеллектуалы, живете словно во сне. Я знаю, что такое русские фантазии...

Мы не интеллектуалы, сказал он, мы интеллигенция.

Да, я знаю разницу, сказал парень, я думаю, в ней все дело... Это ваше несчастье.

Это наша жизнь, сказал он.

На своем крохотном "остине", похожем на масштабную уменьшенную модельку автомобиля, парень подвез их до гостиницы, приобнял его, похлопав по плечу, поцеловался с Ольгой — и исчез навсегда, навсегда застряв в памяти. Визитная карточка лежала в бумажнике, но он знал, что никакого повода для встречи больше не будет.

— Устала ужасно, — сказала Ольга, — а в номер не хочется. Ты не против пройтись?

Они вышли на rue Saint Andres des Art. По мостовой шла толпа, обычный маскарад Левого Берега. В ярко освещенном книжно-пластиночном магазине, открытом всю ночь, стоял одинокий человек в старой английской шинели и косынке, повязанной на голове по-пиратски, и рылся в постерах, сло-

женных в большие стоячие папки. Из греческих закусовых падал на загаженную мостовую свет, в окнах крутились гигантские конусы прессованного жарящегося мяса, и чернявые ребята стругали это мясо на бутерброды ножами длиной с буденновскую шашку. У витрин магазина "Next Stop", торгующего американским старьем, он, как всегда, задержался, невозможно было пройти мимо верблюжьих даффл-котов и пиджаков из толстого твида с кожаными заплатками на локтях. Эвелик, эвелик, гардероб мой невелик, — вспомнил он идиотские стишки фарцовочных шестидесятых, вспомнил эти петельки, свешивающиеся с воротников, кожаные заплатки, клетчатые подкладки, лейблы, пуговицы футбольными мячиками, за каждую тогда давали пятерку...

На углу маленькой площади, у метро и чаши фонтана, тусовались молодые американские бродяги, они норовили сесть на мостовую маленькой площади, женщина-полицейский, обвешанная по поясу наручниками, кобурой с вылезавшей револьверной рукояткой и еще какой-то чертовщиной, хмуро наблюдала за оборванцами и, как только они приземлялись, показывала рукой: встать, вверх, встать, засранцы! Кобура лежала на ее крутой заднице, как седло на крупе. Была она чернокожая. Пилотка высоко сидела на кудрях, на огромном "афро".

К гостинице вернулись по бульвару, почти не разговаривая, как обычно в последнее время, — все впечатления были уже высказаны, а конфликты, чем ближе было возвращение, возникали все чаще. Но сегодня удалось промолчать — и вдруг возник покой, благожелательность, даже что-то вроде близости. Он почувствовал, что еще возможно жить, вместе переживать день за днем и входить в утро без ощущения отчаяния.

В номере, как Ольга и ожидала, было душно, топили в связи с похолоданием отчаянно. Ольга тут же стащила платье, бросила его поверх плаща на кресло и пошла в колготках и широком лифчике открывать окно. Он разделся, повесил одежду в шкаф, вытащил из-под подушки пижаму. Увидел свое отражение в зеркале шкафа — в трусах, с пижамой в руке, с растрепавшимися при раздевании волосами...

Ольга вышла из ванной голая. Он бросил пижаму на постель, увидел в зеркале, как она выходит из ванной — не-

много сторбившись, словно от стеснения, а на самом деле от того, что в комнате уже стало прохладно, от окна дуло, и ей просто было холодновато. Он шагнул к ней, возбуждение становилось, как обычно, тем сильнее, чем сильнее он испытывал отвращение к себе... Но, обхватив себя руками, так что груди сошлись, она пробежала к постели и мгновенно залезла под одеяло, накрутив его на себя.

— Как прекрасно, — сказала она, и он не поверил своим ушам, настолько это совпадало с его настроением. Прекрасно, все прекрасно, и все возможно, надо только забыть все остальное, и вот сейчас, здесь, в этой жаркой и продуваемой сквозняком случайной комнате, в этой стране, в этом непредставимом городе можно любить эту женщину, которую ведь любил, любил, была страсть, и, кажется, она тогда все время смеялась, она вообще очень смешлива, даже сейчас...

— Как прекрасно, — сказала она, — за окном Париж, хорошая гостиница... я сейчас ужасно устала, давай спать, ладно?.. и надо завтра позвонить Ленке, пусть они нас встретят... ну, гаи, ложись, я уже засыпаю...

Она вспомнила о дочери, когда пришла пора возвращаться, подумал он. Ольга уже спала, щека ее, смятая подушкой, сморщилась, и рот немного приоткрылся.

Он подошел к окну. Начался мелкий дождь, камни во внутреннем дворе блестели. По карнизу на уровне третьего этажа шла кошка, обычная кошка дворового вида, хотя на ней наверняка был ошейник — бездомных кошек здесь не водится. Кошка остановилась и внимательно посмотрела на него, стоящего в светлом окне. Боже, подумал он, да почему же я должен жить именно так?!

Среднее Поволжье. Декабрь

— В любом случае все будет по-другому после операции, — сказал лысый.

Самолет медленно вырубивал на полосу. В пустом салоне стоял затхлый холодный воздух, он был почти видим. Перегнувшись через проход, седой внимательно слушал. Остальные, не сняв шапок и поплотнее запахнув пальто, сразу начали дремать, лица их в утреннем свете отливали зеленым, морщины разгладились похмельным отеком — вы-

пивали до трех, встав, поправились и распили еще пару бутылок...

— А если ничего не выйдет? — седой говорил негромко, стараясь, чтобы лысый расслышал, он совсем лег на подлокотник, перегородив проход. Двигатели завывли, самолет рванулся по полосе, и ответ лысого можно было только угадать.

— В любом случае, — повторил лысый, и его собеседник, не видя, почувствовал, как зажглись тигриные желтые глаза. — В любом случае все изменится. Он будет напуган, понял?

Вой утих, самолет оторвался от земли, и ее грязно-белый лист стал косо уходить вниз и тут же скрылся за такими же грязно-белыми клубами облаков. Лысый повернулся к слушавшему и, отчетливо двигая бледными губами, сказал:

— Я его хорошо знаю еще по крайкому, понял? Он трус. Трус, когда испугается по-настоящему, может сделать такое, что никакому герою не приснится... Он испугается, и тогда в стране наступит такой страх, какого еще не было, увидишь... Он до конца жизни будет бояться нас, а люди будут бояться его, и там, — он ткнул рукой в сторону круглого, полузакрытого шторкой окошка, за которым лилось грязное молоко, — там, внизу, будет снова нормальная жизнь... Мир, покой, люди забудут всю эту пакость, они будут рады ее забыть, и ты, мы все будем иметь право гордиться — мы их спасли... Понял?

Он устроился в кресле удобнее, запахнул пальто, надвинул шапку на лоб и прикрыл глаза. Помолчал минуту, будто сразу задремал, сказал, уже не обращаясь к седому:

— Странно, теперь вроде и натопили в салоне, а раздеваться не хочется... Намерзлись...

Снова помолчал. Седой, решив, что теперь-то он уж точно заснул, повозился со спинкой кресла, откинулся, тоже закрыл глаза — и услышал:

— Он трус, в этом все дело.

5

Она поехала в Останкино, едва переведя дух после возвращения. В субботу должна была идти передача, оставалось четыре дня, она боялась, что не успеет войти и ее могут

заменить какой-нибудь дурочкой из молодежной редакции, с них станется.

Увидала стоящий, быстро забивающийся людьми лифт, пронеслась, часто стуча каблучками новых сапог, по холлу, втиснулась — и оказалась грудь в грудь с парнем из группы, репортером, недавно пришедшим из той же молодежной редакции и уже сделавшим в прошлую передачу классный сюжет об инвалидах и стариках, сплошные слезы...

— Привет, — сказал парень, — с приездом. Выглядишь, прикинута — атас... Я забыл, ты где была?

Конечно, это было хамство, что он обращался к ней на "ты", но, во-первых, здесь все так обращались, а во-вторых, подчеркивать, что он почти вдвое младше, тоже не резон... Хуже было, что она не могла вспомнить его имя...

— Привет, — ответила она осторожно, — Игорек... за комплимент спасибо, какой уж там вид, устала жутко...

— Глеб, — поправил парень без обиды и улыбнулся. — Опять нелегкая судьба занесла куда-нибудь в Штаты?

— Да ладно тебе, Глебушка, — она уже облегченно засмеялась, — все это фигня, на третий раз действительно не особенно интересно... Скажи лучше, как дела здесь? Что с передачей? Что-нибудь крутое отснял?

Глеб глянул на нее изумленно, и тут она заметила, что и другие в лифте посматривают на нее непросто.

— Ты чего, мать, не знаешь, что ли? — Глеб покачал головой. — Ну, ты отвязалась... Не будет передачи, понятно?

В комнате курили, смеялись, все было, как обычно, но она заметила сразу, что более шумно, более оживленно, чем раньше.

Смеялись немного истерично, говорили чуть громче, чем всегда, и шутки были отчаянней и рискованней, и редактор, самый приличный человек в команде, вдруг выматерился при ней, чего никогда раньше не позволял себе. Так вели себя в классе, вдруг вспомнила она, сорвав очередную контрольную и ожидая прихода завуча...

Домой ехала на такси, не хотелось сразу лезть в маршрутку и метро, всегда давала себе отдохнуть, привыкнуть день-другой после возвращения из поездки. Как-то незаметно успокоилась, злость и испуг, передававшиеся ей от группы, улеглись. Обойдется, думала она, все обойдется, не

в первый раз за эти годы, уже и закрывали, и запрещали, и все постепенно начиналось снова и даже круче, все круче после каждого отката, обойдется и теперь...

Таксист ехал через центр, застревая перед каждым светофором — было около восьми вечера, толпа машин сгустилась, перед Лубянской застряли надолго. Таксист обернулся, глянул ей прямо в лицо.

— А я сразу узнал вас, — сказал он. — Сначала везти даже не хотел, а потом решил — отвезу да скажу по дороге, что мы о вас думаем...

— О ком? — не поняла она. — Обо мне? Кто мы? Простите...

— Прощенья потом попросишь. — Таксист уже огибал площадь с памятником, говорил не оборачиваясь, громко, она теперь расслышала дикую злобу в его голосе и сжалась, забила в угол, к дверце... — Потом у народа прощенья будете просить, поняла?! Кто мы? Русские, вот кто! Против кого вы телевидение захватили... Му-удрецы, ет-т...

Обо всем этом она знала, но так, в упор, не слышала никогда.

— Я русская, — сказала она тихо, ей тут же стало стыдно, и от стыда, от ужаса, оттого, что теперь поняла — все действительно кончилось, она заплакала тихо, без звука, задерживая, чтобы не всклипнуть, дыхание, и тут же почему-то вспомнила Дегтярева, как он одевался, глядя мимо нее, и ушел со своей бутылкой, и заплакала еще отчаянней — от стыда и омерзения к себе, и все это каким-то непонятным ей образом связывалось в одно горе — страшный таксист, его злоба, ее месть, и слезы лились, безобразно смывая остатки грима.

Он должен был приехать только через неделю. Это было хуже всего.

Но когда она открывала дверь квартиры, телефон уже разрывался. Андрея еще не было — наверное, опять принимает каких-нибудь фирмачей... Она сняла трубку.

— Я вернулся, — сказал он. — Я вернулся раньше. Завтра увидимся — сейчас говорить не могу. Я люблю тебя, я вернулся к тебе. Слышишь? Завтра увидимся, завтра увидимся...

В тесном междукресельном пространстве “Ту-154” ноги пришлось подтянуть к животу, и уже через полчаса полета все внутри начало болеть, черт бы побрал их экономию! В подгрудинном привычном месте установился жесткий, угловатый кулак, гастритно-язвенные ощущения отвлекли от жизни, от переживания довольства, удачи, успеха, возможности осуществления желаний.

Но все жарче сияло за окном солнце... И вдруг охватило такое счастье! Боль отпустила, заглушенная глотком, другим, третьим и бутербродом, который она достала из какой-то удивительно красивой коробочки, явно от фирменных конфет, или колготок, или еще какой-нибудь чепухи. Бутерброд был правильный, на обычном сером хлебе, крошащемся в руках, с рыночным, чуть оплывшим салом. Был повод посмеяться — интеллигентов сразу видно: виски салом закусывают. У моего дружка, сказал он, написано “а мыло русское едят”. Она покатила со смеху, хотя вообще на иронию реагировала сдержанно и не всегда адекватно, ее патетика не принимала его манеру привычного общения с друзьями. Почему мыло? А ты что, не поняла? Это же есть такое выражение — “наелся, как дурак мыла”, и есть такая басня у какого-то сталинского сокола о низкопоклонниках — “а сало русское едят”, и вот, понимаешь, дружок совместил, и получилось дико смешно... Я не поняла, но действительно смешно...

Встали очень рано, и теперь, немного выпив и поев, задремали обнявшись, прикинув друг к другу. Он во сне чувствовал своим левым виском ее твердо округленный детский лоб, и дыхание, удивительно чистое для взрослого человека ее дыхание наполняло маленькое пространство между ее и его лицом, отделяя это пространство от остального воздуха, летящего внутри самолета и, в свою очередь, отделенного от воздуха снаружи, от всего яркого бесконечного света.

Какая-то короткая мысль об этом полете пространств,

вложенных друг в друга, мелькнула в его голове, но тут же он заснул совсем крепким сном.

А она, наоборот, в эту минуту проснулась. Чувствовала себя удивительно выпавшейся — будто не встала в четыре, не перестирала Нике все белье, не наготовила на два дня еды всем троем — Нике, Андрею и свекрови, которая всегда на время ее отсутствия перебиралась присматривать за сыном и внучкой, не собрала недоглаженное барахлишко, не на-красилась на ходу... И выскочила к заказанному такси свежая, промытая, легкая, ясно глядя на утреннюю пустую улицу, на удивительно интеллигентного вида таксиста, на поднимающийся в сизом небе оранжевый свет дня... На углу, на повороте, стояло другое такси. Она попросила притормозить рядом, он увидал, тут же выскочил, захлопнул дверцу, обежал машину кругом, сунул в окно шоферу деньги — и через секунду уже ввалился к ней. Прижался, пихнул свою сумку на переднее сиденье, прижался снова... Весь час дороги до аэропорта говорили о тяжком, чужом — о делах в ее редакции, о явном откате, о съемках, о том, что Редько ни черта не понял и снимает густой реализм, снова о ее делах и закруте в комитете... Но время от времени он прижимался, приваливался — и все отходило, уплывало.

Она тихонько высвободилась, выпрямилась, устроила его голову у себя на плече, огляделась. В самолете многие спали — регистрация на этот ранний рейс закончилась в восемь и вылетели удивительно точно, по расписанию.

Если самолет разобьется, это будет ужасно, подумала она, потому что обнаружится, что мы летели вместе.

Он проснулся, поднял голову, посмотрел ей близко в глаза сладким, счастливым взглядом.

Если сейчас самолет разобьется, сказал он хриловато со сна, это будет прекрасно. Можно будет считать, что мы вместе прожили жизнь и умерли в один день. Знаешь, сказал он, они жили долго и счастливо и умерли в один день, так заканчиваются сказки.

Но мы жили недолго, сказала она.

Он положил руку на ее живот и почувствовал, как под его рукой дернулось и напряглось живое, что-то задвигалось, пошло тепло. Он начал яростно прорываться через одежду. Что ты делаешь, сказала она, увидят. Не увидят,

сказал он. Рука, придавленная поясом ее юбки, неловко вывернулась, но он продолжал рваться, продираться к ней. Это все уже было, прошла как бы титрами мысль, банальное ощущение повтора, посещающее часто. Но, скользнув, мысль тут же размылась, сгинула, и он все выворачивал руку, и наконец достиг, дотянулся.

Ты совсем другой, сказала она, ты сейчас думаешь о любви, а я о жизни. Я тоже подумала о катастрофе, но испугалась огласки, а ты... Ты — только о любви. Ты смелый, чистый мальчик, я люблю тебя.

Они уже не видели и не помнили ничего. Самолет, к счастью, спал, но даже если бы все проснулись и глазели на них и могли слышать каждое их слово и дыхание, даже если бы их вывели на площадь и транслировали их стоны для сотен тысяч желающих, даже если бы позор уже наступил и жизнь потом стала бы невозможной — ничто не могло остановить их.

Не так, сказала она, ниже. И осторожней, не сделай больно, иначе все пропало. Так... О, Господи, что же ты делаешь! Вот так. Еще. Ну... Ну... Да, мой хороший, мой родной. Да. Да. Да.

Он молчал.

Яркий свет утра рвался в самолет. Овальное стекло окна нагрелось, по его спине тек пот. В какую-то секунду он представил себе, каким мятым выйдет из самолета, будет просто неприлично... Эта отвлекающая мысль неожиданно для него самого усилила счастье, он тихо застонал, она — чуть скосив глаза, он это увидел — с твердым, безразличным выражением лица подвинулась в кресле поудобнее, выпростала свою руку и, глядя как бы спокойно перед собой, вдвинула ладонь между его втянувшимся животом и поясом брюк. Я не смогу, сказал он тихо, откидываясь на спинку кресла и одновременно прикрывая полой плаща ее руку, я не смогу сдержаться, не надо... не надо, слышишь... Ну и не сдерживайся, усмехнулась она, лицо ее было искажено бешеной, злой улыбкой, не сдерживайся, это твои проблемы, я ведь сдержалась... Ты настоящая ведьма, прошептал он, настоящая... Не делай этого, как я встану потом? Трус, сказала она, только и думаешь, как будешь выглядеть. Не бойся, я потом все приведу в порядок, в гостинице. А до гостиницы

доехать, выдохнул он, как я доеду до гостиницы в таком виде? Замолчи, хрипло приказала она, молчи и будь наконец собой, трусишка!

Оранжевый свет любви, подумал он, это не лучшее, что можно написать обо всем, что происходит с нами. Оранжевый свет солнца, восходящего рядом с самолетным окном. И когда солнце наконец поднимется до нас, когда его свет окажется уже совсем рядом и целиком поглотит нас обоих, в этот момент можно и умереть, подумал он. Остановятся двигатели, и мы будем падать, и надо будет держать ее изо всех сил, чтобы не вылететь из кресел, не падать внутри самолета, а только вместе с ним.

Не хочу умирать, сказала она, почему ты хочешь со мной вместе умереть, а с нею жить? Я тоже хочу жить с тобой. Пусть не все время, но когда мы вместе, я хочу жить, а не умирать, понял? И больше не предлагай мне умирать, я не хочу.

...Самолет чуть вздрагивал под ногами пробирающихся к двери людей. Не было и следа от солнечного дня, лил дождь, истошно выл над летным полем ветер, но все теснились, стремясь как можно быстрее на трап, который пришлось ждать слишком долго.

Внизу, у трапа, стояли двое солдат — в нелепо торчащих из-под бронежилетов длинных шинелях, в насаженных торчком поверх ушанок касках, с автоматами, косо лежащими на высоких грудях — словно чудовищные бабы на чайник. Офицер в пятнистом бушлате останавливал некоторых из прилетевших, проверял документы.

Внимательно глянул ей в глаза: “А, прилетели армию позорить... Ладно, еще будет время, дадут и нам слово...” На его документы глянул невнимательно, потом сообразил: “И вы, конечно, туда же... Ладно”.

В машине она сникла, сидела отдельно, глядела в окно. Потом сказала негромко, косясь на шофера: “Этот... военный... Как будто пригрозил. Как ты думаешь, не могут сообщить на работу?”

Приоткрыв узкую щель в окне со своей стороны, он курил. Щелчком выбил сигарету наружу, пожал плечами: “Ну, сообщат. А что, собственно, криминального? Едешь на встречу с друзьями, по официальному приглашению, я — по

своим делам... На нас не написано, что мы вместе. Так что и огласки никакой бояться не надо. Или ты боишься чего-то еще конкретного? Не бойся, девочка, не бойся... Нам уже поздно бояться”.

В гостинице было тепло, тихо, чисто, никто не проявил никаких эмоций ни по поводу их русского языка, ни по поводу их принадлежности к метрополии. В лифте, как в гостиницах всего мира, стоял запах хорошего табака и парфюмерии, сияли темные зеркала. В номере шумело отопление, по телевизору передавали концерт из фрагментов старых фильмов. Вдруг — все-таки другая страна! — показали кусок из “Blues brothers”. Пел, нескладно, по-слепому двигаясь, великий Mister Ray Charles. Он играл продавца в магазине музыкальных инструментов, слепого продавца, у которого пацанята пытаются стырить гитару. Намеренно не попадая, а только пугая, гений стрелял на звук, и одновременно играл на электропиано, и пел, неловко держаась, склоняясь и распрямляясь над клавишами... Genius sings the blues.

Он бросил сумку в прихожей на специальную подставку-столик и, не выключая телевизора, пошел в ванную.

Быстро разделся, свалив всю одежду кучей на табуреточку в углу.

Стал под душ и три раза поменял воду, крутя краны, словно ручки управления каким-то важным прибором, — холодная до упора, горячая до предела терпения, опять холодная, опять горячая, опять... Пульт управления телом.

Вытерся большим полотенцем с петелькой в углу и фирменной надписью — все-таки это их гостиница! Не разговаривали, хотя открыты уже давно.

Осмотрел внимательно одежду — все обошлось, небесная страсть не оставила следов.

Оделся старательно, долго стоял перед зеркалом. Мог бы, конечно, быть и помоложе. Но еще вопрос, было бы это лучше или нет... Каждому идет какой-то возраст, ему, видимо, больше всего подходит не юношеский.

Блюз еще длился. Mister Ray Charles. The Great.

Студия, подписи, пустой разговор, осторожное сочувствие, осторожное дружелюбие. Чужие люди... Может, рюмку коньяку? У нас это еще возможно. Спасибо. Еще

одну? Одну, спасибо — и все... Чужие, чужие люди, пустой разговор... Знаете, господин москвич, теперь это уже непоправимо. Вы понимаете нас, надеюсь? Мы, балтийцы, уже никогда не сможем быть с вами на "ты", я правильно выразился? Давайте выпьем с вами эту рюмку коньяку, но не будем лгать друг другу о дружбе...

Блюз чужой жизни.

Сейчас она, наверное, уже кончила запись, подумал он, и неплохо было бы, если бы они привезли ее в гостиницу пораньше. Конечно, они не отпустят ее одну... Трудно привыкать ждать любимую, которой угрожает настоящая опасность, подумал он.

И поинтересовался, нельзя ли в этом баре взять бутылочку коньяку с собой.

Когда он вернулся, концерт повторяли. Это была какая-то странная, бесконечная программа, а может, телевизор был настроен на заграничную передачу, кто их знает, что здесь теперь возможно...

Рэй Чарльз снова стрелял на звук и прикивал к клавишам.

Блюз со стрельбой.

Она тихонько постучала в его номер около десяти вечера. Устала ужасно, сказала она, но глаза сияли. Знаешь, так здорово все прошло, и, по-моему, я всем понравилась. Как я выгляжу, правда, хорошо? Правда, я хорошенькая? Они говорили такие добрые слова, такие милые люди. Знаешь, один, такой пожилой дядька, поцеловал меня прямо во время записи. Смотрите, я целую русскую, и мы оба живы, говорит, и все засмеялись, а мне перевели. А ты опять пьешь? Ну зачем? Будешь глупеть, болеть, и я тебя брошу, я терпеть не могу пьяниц, мне их даже не жалко...

Он смотрел на нее молча, исподлобья. На ощупь взял бутылку, вылил последние капли в стакан, выпил. Разлепил стянутые от коньяка губы.

Слава Богу, живая, сказал он. Это все сон, этого ничего нет, нам это снится, поняла? Это сон, ничего этого нет и быть не может, мы не прилетали сюда, просто мы с тобой у себя дома, это наш с тобой дом...

Ты уже много выпил, вздохнула она. А что же не сон, спросила она, что тогда не сон?..

Он молча потянулся к ней, встал, задев пустую бутылку, обнял, сжимая изо всех сил.

Мы с тобой, сказал он, мы с тобой — единственная явь...

Ночью, когда от холостого выстрела танковой пушки лопнул и рассыпался темный воздух, в звоне, доносящемся со всех сторон, — осколки выбитых оконных стекол выпали после выстрела еще какое-то время — он кричал, забыв обо всем, кроме ее жизни: “Нет! Нет! Нет!” И, столкнув ее на пол, навалившись, прикрывая, глядя в ее невидимое лицо, повторял бесконечно: “Нет... нет... нет...”

И она понимала, что это он отвечает на ее слова, сказанные в самолете.

Не хочу умирать, сказала она утром.

Нет, отвечал он в грохочущей и звенящей ночи, нет, ты не умрешь, мы выживем — ведь это же я все придумываю, в конце концов.

Я очень люблю тебя, сказала она.

Дорога. Февраль

Было так, словно пропал звук.

Черные машины летели, все набирая скорость, одна впереди и чуть сбоку, следом цепочкой три, следом опять одна чуть сбоку.

Метрах в ста перед кортежем неслась патрульная, раскрашенная, с фонарями и сиренами.

Но звука все не было.

...В тишине взвивался и опадал мелкой пылью снег, в тишине они летели, в тишине поглощали они дорогу — черные колесницы власти — в тишине...

Предыдущую ночь провели в чьей-то даче. Вскрыли веранду и, как настоящие бомжи, прежде всего бросились шарить по припасам. Нашли консервы, крупу, подсолнечное масло, старую, с рассыпающейся спиралью электрическую плитку. Спираль скрутили удачно, Юра мгновенно приготовил еду. Голодны были отчаянно, вторые сутки не выходили на люди — подстраховывались от случайного памятливого на лица встречного. Теперь ели ссохшегося лосося с гречневой кашей, политой подсолнечным маслом. Дай Бог здоровья, хорошие люди оставили, сказал Юра.

Сергей привычно по-зековско-солдатски сел на корточки у стены, закурил, экономно, глубоко затягиваясь.

Его мы должны отпустить, сказал Олейник. С ума сошел, капитан, изумился Сергей, с проклятьем швыряя микроскопический, обжегший пальцы окурок в холодный зев нерастопленной печи. С ума сошел?! А баб наших они нам так отдадут, за то, что стрелять толком не умеем? Или за то, что нам одного из них же, который им почему-то мешает, жалко стало? Нет, это не игра... Юльку я у них вытасу, хотя бы для этого пришлось замочить все начальство в мире...

Ты даже не пытался подумать, Сережа, сказал Олейник. Все это время ты исправно готовился к драке и даже не подумал, чем она кончится.

Похоже, что она не кончится ничем хорошим, сказал Юра. Давай послушаем Володю, Сережа, ты ж, наверное, согласен, что он побольше нас с тобой просек эту жизнь.

Сергей сидел на корточках неподвижно, только судорога дергала лицо. Рыжие кудри отросли и спутались, но и они, и рыжая щетина необъяснимым образом придавали ему дополнительный модный шарм — жиголо не истребить образом жизни советского бездомного ханыги.

В любом случае они не отдадут нам женщин, не выпустят из страны... Да и вообще вряд ли оставят кого-либо в живых после дела, сказал Олейник. Неужели это не понятно? Нас уберут всех до единого, и бедную свою американочку ты если и увидишь, то лучше бы тебе не видеть ее в том ужасе, который нас ждет.

Погоди, Володя, сказал Юра, что же ты предлагаешь? Или ты отказался уже и от Гали? Не думаю, не похоже на тебя... И если мы не сделаем дело, отпустим его машину, нам что, легче будет своих выручить? Ты ж знаешь, я от всей этой кровищи проклятой уже чуть не съехал з розуму, та шо ж зробишь? Своих-то жальчей... Он стал вставлять украинские слова и не замечал этого.

Своих выручить — отдельная задача, операция и ее результат — отдельно, сказал Олейник. Если мы уберем его, нам не станет ни лучше, ни хуже, и наших выручать будет не легче. Но им — он ткнул рукой куда-то в сторону, и все поняли, о чем речь, — им всем станет плохо, очень плохо.

Наутро после операции по улицам пойдут танки, поймите, ребята. Я давно попрощался с этой страной. Я не люблю никого, кроме Гали, и вы это знаете. Но я не могу забыть о них — он снова ткнул рукой в сторону, не то в дверь, не то в окно, — я не могу своими руками вернуть их в ад.

Сергей сидел на корточках, обхватив голову руками, лица его не было видно, Олейник и Юра уже поняли, что он плачет, но, когда под его склоненным лицом, на пыльном полу перед ним появилось и расплылось небольшое мокрое пятно, Юра не выдержал — шагнул к двери, пинком распахнул ее настежь, вышел на свежесасыпанное снегом крыльцо. Закинув голову, глядя в небо, с которого ровно, тихо, безветренным счастьем падал снег, Юра стоял на крыльце, разминая пальцами неприкуренную сигарету. Вышел и Олейник, стал рядом.

Страшно очень, Володя, сказал Юра. А то не страшно, согласился Олейник. Уж если Сережку до слез достало...

Желтый слабый свет пыльного ночника, найденного в хламе, падал из двери на снег. Пошли, сказал Олейник, надо лампу гасить, а то засекут соседи.

Сергей все сидел на корточках, но плечи его уже не держались.

...Наконец звук прорвался.

С путепровода ударил, настигая машины, гранатомет. Юра стоял в рост рядом с угнанным час назад “жигулем”, труба лежала на его плече.

От угла глухого бетонного забора лупил безостановочно, нескончаемо пулемет. Сергей лежал у забора, в снежном окопчике, окопчик был вытянут в длину и уходил лазом под забор, на пустую по воскресному времени производственную территорию.

Олейник уже неся навстречу машинам на “КРАЗе”. Шофер “КРАЗа”, в надвинутой на лицо до подбородка черной вязаной шапке, перетянутой через рот бинтовым жгутом, с вывернутыми назад руками в наручниках и спутанными ремнем ногами, корчился на сиденье рядом. Угнувшись ниже руля, Олейник ударил в бок начавшей разворачиваться поперек дороги гаишной “БМВ”, отшвырнул ее метра на четыре в сторону и одновременно развернулся сам, задними колесами, кузовом сбрасывая с дороги уже изды-

рявленную до металлических ключев Сережкиным пулеметом первую машину сопровождения. И тут же съехал с полотна, пошел по целине. Гигантский грузовик прыгал и взлетал, словно малолитражка.

Тяжким снарядом, но успев чуть вильнуть, пронесся мимо первый "ЗИЛ".

Второй горел, развороченный гранатой. Вверх колесами скользила по дороге замыкающая "Волга". Третий "ЗИЛ" пытался объехать дымный костер, но в это время вторая граната пробила точно центр его, крыши. Внутри бронированного гроба полыхнуло, из распахнувшейся двери вывалился горящий человек.

А первый уже набрал скорость и уходил к городу.

Глядя прямо перед собой в едва заметную мелкую сетку трещин на стекле, словно что-то пытаюсь рассмотреть со своего места через это переднее стекло, сидел в уцелевшем "ЗИЛе" человек в ровно надвинутой на лоб короткошерстной меховой шапке, в сером, из толстой и мягкой, с поблескивающим ворсом ткани, пальто, из-под которого чуть выбился сине-вишневый шарф. Его губы были крепко сжаты в обычной, чуть презрительной гримасе, и только кровь, вытекающая из нижней, прокушенной, была странна на этом лице.

Он достал из кармана платок и вытер подбородок, потом, не глянув на платок, сунул его в карман. Так же, не глядя, нажал кнопку.

Сказал в радиотелефон негромко: "Вы будете лично отвечать, если информация об инциденте просочится. Лично с вас спрошу".

Тот, к кому был обращен приказ, изумился: человек из "ЗИЛа" говорил спокойно, твердо, голос его был совершенно обычным.

Ночью ему стало плохо. Рядом с врачами сидела жена, врачи неотрывно следили за тихо гудящими, разноцветно мигающими приборами, ползли на пол бумажные ленты, а она смотрела на него и видела отчаяние, бессмысленно-испуганный взгляд и по-стариковски бедно торчащие волосы, среди которых уже нельзя было найти ни одного не седого.

В очередной ссоре уже через десять минут нельзя было припомнить начало. Заводились всегда из-за прошлого. Он чувствовал, что по лицу бродит злобная, непримиримая усмешка, но ничего не мог поделать с собой — и ее прошедшая, и длящаяся сейчас, отдельная от него жизнь вызывала ненависть: чужда, неприемлема. Вокруг нее были люди, с которыми у него не могло быть ничего общего, а она существовала среди этих людей, понимала их, иногда сочувствовала, и он впадал в бешенство, желая смерти... Видел вчера твоего Дегтярева. Красив, небрежен, мудр и полон по поводу происходящего такой же принципиальной преданности, как и десять лет назад. Обожает прогрессистов, ненавидит ретроградов и в полном восхищении от себя самого. Как был шутом при хозяевах, так и остался. А ты, я уверен, с ним все никак не распрощаешься, старое поклонение так просто не проходит. Изумительная по пошлости ситуация, полностью описываемая песней "Маэстро". Ты, наверное, любишь эту песню? И он любит? А? Ну что же ты молчишь?

И ее лицо искажалось нелюбовью. Твердое, с простоватыми чертами и невыразительно-серьезным в обычное время взглядом, лицо провинциальной функционерши из скромных — она знала, что выглядит сейчас отвратительно, и ненавидела его прежде всего за это. Ты судишь всех, а почему, собственно? Просто хочешь выжечь землю вокруг меня, уничтожить даже всякую мысль о том, что я могу жить самостоятельно, отдельно. Хорошо, допустим, меня это устроит, я откажусь от своей жизни, от своих друзей, от своей семьи. А ты ведь даже не спросил, как зовут мою дочь, за все это время ты ни разу не поинтересовался ею... Ладно, я готова. Но разве ты зовешь меня в твою жизнь? Только в постели твердишь — я хочу быть с тобой, я хочу быть вместе, давай надеяться... Ты повторяешь эти слова с такой безответственностью, от которой я иногда перестаю верить в твою любовь! Ты говоришь — уедем, спрячемся, как-нибудь устроимся — и я начинаю жить по-другому, я начинаю все разрушать вокруг себя, я прямолинейный, серьезный человек, у меня нет чувства юмора, я слышу слова так, как они слышатся... А на следующий день я узнаю, что вы с Ольгой бере-

те собаку, ты так и говоришь — мы решили, нам тоскливо, мы, мы... Как же я должна понимать свою жизнь?! Я не могу так — из огня на лед, от этого камень трескается!

Он одумывался быстро — ее странно появившиеся слезы, от которых лицо не меняло сухого, твердого выражения, только становилось мокрым, как будто после умывания, — ее слезы сразу растворяли его непримиримость, злобу, сердце щемило от жалости, сочувствия к ее обиде, от стыда... И самое главное во всем было то, что она была права: его фантазии были просто разрядкой, которую он позволял себе, расслаблялся, бредил сладко вслух, а она действительно все принимала всерьез, и, конечно, не из-за того, что юмора не было, при чем тут юмор — кстати, сама иногда демонстрировала иронию блестящую и едкую, — просто не была настроена на принятое в его кругу постоянное ерничанье, а серьезна была потому, что намучилась еще больше, чем он. И мучения были настоящие, не его страдания с постоянным наблюдением за собой со стороны, не игра в сюжет...

И он плакал тоже — с возрастом вообще стал невольительно для мужика слезлив, а с нею особенно. Да и без нее... Вдруг вспоминал о том, что ничего уже не будет. Стоял в ванной, бреясь, кривя рот, бессмысленно глядя в зеркало, дочищая щетину в углубляющихся день ото дня складках у рта, — вдруг начинал реветь, жутко и отвратительно гримасничая, бросив бритву в раковину...

Они сидели в очередной мерзкой обжорке, которую он открыл в бесконечных поисках пристанища посреди рушащейся, умирающей Москвы.

Ну, все, все, миримся, хватит друг друга терзать, все. Ты же понимаешь, это просто ревность, я не могу примириться, что ты раньше была с ним, вообще — с кем-то. Я не знал раньше, что это такое, как можно мучиться из-за прошлого, это Бог наказал за то, что я никогда не мог понять, какая это мука — ревность... Ну ладно, хорошо, мальчик мой, успокойся, ничего нет, ты даже не понимаешь, насколько уже ничего нет, кроме тебя. Перестань... Я-то знаю, из-за чего бешусь. Из-за того, что давно не были вдвоем, вот из-за чего. Надоели эти забегаловки. Едим и пьем, ты меня все кормишь, и я стала толстая, да? И злюсь, потому что соскучилась, не могу больше, кошмары мучают... А Андрей?..

Что Андрей?! Ничего ты не понимаешь. Хочу к тебе... Ноги сводит.

Пристанища действительно не было уже давно. После той грохочущей ночи в гостинице опомнились не сразу, а когда опомнились — места не находилось, хоть убейся.

Наконец Андрей уехал на несколько дней в Италию. Ничего не видел, не понимал и, собираясь, лихорадочно расковырявая в карманы и сумку паспорт, бумаги, рубашки, говорил только об одном — контракты, переговоры... Оказался удивительно толковым бизнесменом, вовсе бросил чистую науку и торговал по всему миру и своими собственными разработками, и приятельскими. Она страшилась, что заметит сияние в глазах, а он смотрел, не видя, и с восторгом рассказывал о конкурентоспособности. Представляешь, по идее наши технологии на их уровне проходят!..

Она осталась одна, но только на третий день сказала ему об этом: боялась, что вспомнит гостиничную ночь и ничего не сможет.

Он приехал под вечер — невесть чего наплел дома, выдумал небрежно — и остался на сутки. Ника была у бабушки, ее неожиданное возвращение было заблокировано гололедом, поскольку старуха, наученная опытом многих подруг, панически боялась упасть. Тем не менее несколько раз туда звонили — для гарантии.

Было так, как даже у них никогда до этого не было.

Прикрывая рот рукой, вцепляясь зубами в тыльную сторону ладони, она закидывала голову, тихо, задушенно — днем в пустом доме все звуки слышны из квартиры в квартиру — выла, тянула тонкую, нечеловеческую ноту. Его обливало снизу огнем, и рычание его перекрывало ее визг, он вцеплялся в нее зубами и тут же отпускал, напуганный. Сосок распрямлялся, сбоку он видел вырастающий розовый купол, он закрывал все поле зрения, потом вдруг отодвигался, делался маленьким, горестно-жалким, подушечка указательного пальца перекрывала его, а он рвался наружу, распрямляясь...

Она действительно поправилась, и, глядя на нее снизу, он замечал, что над животом появились складки, и грудь лежит тяжелее. Наклонялась, лицо придвигала близко. Я тебе не нравлюсь, толстая? Ты специально раскормил меня,

чтобы бросить... Ну и пожалуйста, останусь на память о тебе жирная, хватит запасов на первое время, когда голод начнется.

Откидывалась, сильно прогнувшись.

Он открывал глаза, смотрел неотрывно — это было, как небо, если глядеть в него, лежа на земле. Притягивало глубокой, бесконечной, ненаполняемой пустотой.

Их волосы спутывались.

И, подброшенный силой, которой в нем не было, да и не могло быть, он яростно исходил любовью и чувствовал, как она возвращает ему любовь.

Потом ели лежа, пили привезенный ею специально для него тамошний виски, “Сантори”. Не одеваясь, она бегала на кухню, он смотрел на нее и, как всегда, изумлялся сходству тела с камнем, с большой галькой. Она сидела рядом по-турецки, на брошенной поверх тахты простыне, ела с детской жадностью. Он протянул руку и погладил. Такое получается, если вода долго гладит камень, сказал он. Или если ты гладишь меня, сказала она.

Вдруг опять отчаянно поссорились. Она почему-то вспомнила, как долго и тяжело изживала южный акцент, хороша была бы из нее дикторша с мягким “г” и английским “дабл-ю” вместо “в”... Сразу полезли ассоциации, он взбесился. Осталась навеки благодарна учителю? Сколько можно рассказывать о своих романах, своих отношениях... Ну конечно, ты же привык сам быть центром мироздания, только твоя жизнь представляет интерес. Да, ты знаешь, я действительно так привык, а с тобой я все время чувствую себя средством. Что?! Да-да, средством! Мы поменялись ролями! Мне все время кажется, что ты меня прервешь на полуслове, как грубый мужик прерывает глупую девчонку, и скажешь — раздевайся, дура! Мне кажется, что ты действительно интересуешься мною только лежа... Ты усвоила все худшее в мужском поведении...

От сказанного самого окатило ужасом. Но помирились удивительно быстро, и, счастливо глядя в его лицо снизу, она повторяла — ну что, разве это плохо? Раздевайся, дура, раздевайся, я так и буду действительно говорить сразу, и тогда мы никогда не будем ссориться. Ты права, мы не мо-

жем поссориться, если не одеты. Родная... Вытянись, вытянись, лежи ровно и спокойно и смотри на меня. А-а, да что же это?! Все.

...Ноги сводит, воровато оглядываясь на соседние столики, повторила она, так хочу, что сводит ноги. А мы все шляемся по всяким забегаловкам, все едим — сколько можно? Придумай что-нибудь.

Кафе было еще пару лет назад обычной столовкой, с макаронами и компотом. Теперь окна затянули темными тряпками, стены обшили панелями под дерево, свет приглушили, в углу появилась стойка, украшенная бутылками и коробками от нездешних напитков и сигарет, непрерывно орала музыка и мигал экран телевизора. Тина Тернер и — ламбада, ламбада, ламбада...

Что ни поешь, получается пошлость, сказал он. На самом деле то, что происходит с нами, гораздо проще и хуже, и нет этих подразумеваемых глубин, и в жизни чувство не выделяется абзацем, и нет ритма красиво неоконченных фраз... Страсти наши — страсти пустых людей. Но живых! Пустых, но живых. И не пошлых, потому что живые люди не бывают пошлыми... Но я не добираю до упора, не доскребаю до дна, до жизни. Наверное, подсознательно боюсь — слишком страшно быть живым и писать о живых.

Я не представляю, сказала она, как будут снимать нашу линию. Все эти твои погони, стрельба и ужасы — это они снимут, но как будут снимать нас? Получится обычная порнуха или мелодрама, приторная, как индийское кино. И потом — мне не нравится эта, которая меня играет. Я видела в журналах. И в одном фильме, не помню название. Она была ничего, но слишком страдала. А я, вообще-то, не люблю страдать, ты меня неправильно представляешь. Вот достань ключик, и не будет никаких страданий... И у тебя наверняка с нею пашни, да? Ты не пропустишь... Только не убивай нас, ладно? Не убивай и не мучай меня, я не выдержу. Она будет играть героиню, стойкую и негибаемую, а я не выдержу.

Милая моя дурочка, сказал он и положил руку на ее колено под столом. Тепло пробилось через брезент джинсов, рука — словно перышко "86", притянутое на школьной перемычке магнитом через тетрадный листок, прилипла и поползла. Любимый... Девочка...

В кафе что-то происходило, он заметил это — будто сдвинулись немного стены, будто стала немного фальшивить, подплывать музыка из сломавшегося магнитофона, будто люди — нечисто бритые разбойники с ближайшего рынка и здоровые амбалы в кожаных куртках, ожидающие сигнала ехать куда-нибудь на разборку, — замолчали все разом, будто тень наполнила на эту паршивую помойку. Ну настоящее “Лебединое озеро” — сейчас ударят в оркестре литавры и появятся силы зла, подумал он.

Ламбада кончилась, и длинным соло загрохотали барабаны во вступлении следующего клипа.

Тут же к столику подошел какой-то седой — в моднейшем двубортном костюме, прекрасном галстуке под туго стянутым воротом рубашки. Настоящий крестный отец из этих новых бандитов — только причесочка, аккуратная седина чуть на уши, да одутловатое лицо старой бабы выдавали комсомольского секретаря благословенных семидесятых.

Сел за столик, улыбнулся открыто, по-молодежному.

— Узнаете?

— Вроде бы, — неуверенно ответил Сочинитель.

И ужаснулся. Все! Он уже назвал мысленно свое имя, и теперь не скрыться! Не исчезнуть из Сюжета...

Изнутри уже поднималась неумная дрожь, памятная по юным временам. Перед дракой всегда было невообразимо страшно, особенно боялся бить в лицо, но знал, что бить надо именно в лицо, и страшно было нестерпимо, и невозможно было обнаружить страх при ребятах, и дрожь колотила все сильнее, а с дрожью драться нельзя.

— Вроде бы... Игорь Леонидович?

— Он самый. — Седой улыбнулся уже совсем широко, радостно. — Узнали! Вот что значит — хорошо пишете, люди как живые... С первого взгляда узнаются... Ну, тогда и объяснять ничего не надо, правильно? Сразу поедem. А вы, — он поклонился, не приподнявшись, в ее сторону, — уважаемая Любовь...

И она, и ее имя, молча закричал Сочинитель. Но ведь я не называл ее, я вообще не давал ей имени! Ни на бумаге, ни даже в мыслях, откуда же он знает? Неужели имя просто получается из Сюжета? Значит, и ей не спрятаться... Будь я

проклят, подумал Сочинитель. Я виноват во всем и еще не знаю, сумею ли выпутаться...

— Любовь, простите, отчества не знаю, да, собственно, и имя-то ваш друг не удосужился толком придумать... Вы, Любочка, в общем, сразу идите, вас уже ждут в машине. А мы следом, правильно?

Она шла к двери, задев только столик в проходе, не оглядываясь, не торопясь, — спокойно, не слишком быстро, но и не мешкая.

— Ну, поедем? — Седой закурил, протянул пачку Сочинителю. — По сигаретке — и двинули? Не станете ж вы сопротивляться собственному сюжету? Тем более что вы его с прописной пишете... Сами виноваты — не надо было ребят так настраивать, что с ними работать невозможно. Делали триллер с политической окраской — ну и делали бы нормально, без всяких этих изысков и усложнений. Они его устраниют, мы берем власть, наступает железная пята — вполне в духе времени, книжку из рук бы рвали, кино получилось бы — класс! А теперь чего добились? Нас-то и так устраивает, такой исход тоже на нас работает, и еще, может, эффективнее и проще, вот увидите... Но ребят-то искать надо! Это ж убийцы, их разве можно на воле оставлять? Так что придется привлечь и вас к необходимому для общества делу... Поехали, поехали.

Когда они вышли, от тротуара немедленно отошла одна черная "Волга", на ее место стала другая, шофер, перегнувшись через спинку сиденья, распахнул заднюю дверцу.

Выглядело все это откровенней некуда: шофер — в форме.

Но Сочинитель уже ни на что не обращал внимания. Он смотрел вслед удалявшейся машине. Там, в поблескивающем заднем стекле, еще можно было разглядеть два силуэта, две женские головы.

Ольга сидела слева.

Скандинавия. Февраль

Слева стояли тоскливые, предвоенной постройки, четырех-пятиэтажные дома. Их ровные, без балконов, будто грубо обструганные фасады темно-красного кирпича и черные квадратные окна глядели тюрьмой. За кварталом этих

домов, выстроенных для рабочих на заре здешнего унылого социализма и занятых теперь изысканными студиями разбогатевших авангардных дизайнеров, элитарными издательствами и компьютерными фирмами, за скалистой горой собора начинался квартал совсем сомнительный. Там, на территории, действительно принадлежавшей давно закрытой старой тюрьме, обосновались любители травки и ширяльщики, бродяги, приторговывающие оружием из идейных соображений, однополые семьи, восточные революционеры, состарившиеся американские шестидесятники, дезертиры, беспощадные борцы за чистоту природы. К старым тюремным корпусам жалась хибары из кривых досок и жести, а брандмауэры самих корпусов были расписаны кляксообразными литерами лозунгов и птиценосыми фигурами из комиксов в устаревшем стиле “Желтой субмарины”. Среди хибар и фресок бродили огромные белые собаки, здесь на них была мода, и грязные дети. На дорожках гнили старые листья, чавкала грязь. Торжество левых идей здесь, в небольшом районе, выглядело точно так же, как торжество левых идей где бы то ни было. Правда, в баре свободно продавалось пиво, и хотя полы в баре были, вероятно, самыми грязными в западном мире, пиво, как и всюду, было нормальное. А если присмотреться к посетителям бара, можно было и в них обнаружить — под цветным рваньем, кожей, молниями, черными майками, серьгами, выбритыми затылками и косичками — старательных и аккуратных школьников на каникулах и умелых мастеровых, костюмированных для рекламы. Настоящих чокнутых было процентов десять. Они и выглядели по-настоящему: довольно аккуратно, но старомодно и потерто, хотя и стильно одетая пьянь. Розовые набрякшие лица, плывущие глаза и тонкие ноги женщин — одинаковые у пьющих баб от Трех Вокзалов до, вероятно, Патагонии.

Справа черной засвеченной кино пленкой тек канал. Тяжелое инопланетное тело баржи возникало гигантской тенью, небольшие катера поблескивали легкомысленными разводами декоративных росписей, яхты светились будуарными окошками кают. Вечная контрабанда жизни шла вполголоса на палубах. Вода была беззвучна и лежала тяжело, ровно.

В медленно движущемся по набережной одиноком “мерседесе” сидели двое — водитель и еще один человек на заднем сиденье, напряженно глядящий вперед. Шляпу он снял и держал на коленях, и, когда в глубь машины проникал случайный свет редкого уличного фонаря, мертвенно белела лысая голова и желто-красным звериным огнем вспыхивали неподвижно, внимательно глядящие глаза.

Из боковой улицы вышли трое. Два обычных здешних парня — в высоких ботинках “Doctor Martin”, в узких, высоко подвернутых джинсах и старых, обвисших драповых пальто с блошиного рынка — вели под руки невысокого, полного и очень элегантного господина в длинном светлом плаще. Господин шагал неуверенно. Машина остановилась. Трое подошли, шофер открыл правую переднюю дверцу, и маленький господин тут же оказался на сиденье рядом с ним. Дверца захлопнулась, парни остались снаружи — один прямо возле машины, другой отошел чуть вперед, закурил...

— Скажи ему, — хриловато произнес человек с заднего сиденья, и маленький живо обернулся на звук его речи, обнаружив темную повязку, закрывающую почти все его лицо, от поросшей редкими черными кудрями неаккуратной плечи до скошенного подбородка в редкой же черной бороде, — скажи ему, что у нас все идет по известному плану. Поворот произойдет. Он уже произошел, как известно, но мы на этом не остановимся. Теперь человек, о котором мы говорили в прошлый раз, будет всегда действовать по нашему плану. Повтори это ему, он должен понять. Поэтому и дальше все должно идти по нашему общему плану. Скажи ему, что они начали неплохо, но если они остановятся на половине дороги, ни им, ни нам не удастся ничего. Объясни ему, что на этот раз ни мы, ни они не можем отступать — надо показать всем, что идея жива. Скажи ему...

Шофер быстро, слитным кашлем, выплюнул десяток арабских фраз. Повернув теперь уже к нему перетянутое черным лицо, маленький внимательно слушал. Когда переводчик закончил, в машине зазвучал тонкий, детский голос, придыхания восточной речи плохо сочетались с таким тембром.

— Он говорит, что ваша информация только подтвер-

дила их оценку происшедшего, — перевел шофер. — Они не придают значения неудаче...

— А откуда они знают, что вообще неудача произошла? — перебил лысый. — У нас утечки не было, он блефует...

Шофер бормотнул вопрос, выслушал сладкоголосый ответ, и, когда переводил его, в его собственном голосе был едва уловимый оттенок усмешки.

— Он говорит, что утечки информации действительно не было, информация шла только по нормальным каналам: вам и им. Он говорит, что они не могут получить только ту информацию, которой не существует.

Дождавшись, когда переводчик замолчал, тонкий голос снова наполнил машину клекотом.

— Он говорит, что они в целом удовлетворены ходом дела. Они рады, что сатанинскому духу индивидуализма бедные страны снова противопоставляют единую силу народов, которые не променяют на дьявольский соблазн благополучия великое счастье умереть за общее равенство. Он говорит, что вся история есть история противостояния человеческого моря Востока западным жрецам горделивой личности. И они счастливы, говорит он, что великая евразийская держава, сбившаяся на несколько лет со своего исторического пути, возвращается в сообщество покорных единому Аллаху.

Дверца распахнулась, маленький господин вылез. Тут же парни взяли его под руки. Раздался едва слышный стук мотора, по каналу — темное на темном — скользнул катер и пристал точно в том месте, где остановились трое.

Хлопнула дверь, машина рванула с места и помчалась — мимо биржи, мимо старого дворца, мимо быстро сменившихся окраинными коттеджами деловых небоскребов черного стекла — на шоссе, к аэропорту. Лысый надел шляпу, откинулся, прикрыл погасшие желтые огоньки тонкими, как у птицы, веками — задремал. Шофер смотрел на дорогу, выражение лица у него было устало-брезгливое. За три года службы в резидентуре ему осточертели эти визитеры, не знающие ни одного языка и обращающиеся к нему не то что без имени-отчества — просто "ты", без имени. Этот еще оказался приличней других: прилетел, сделал дело — и назад. Не шастал днем по магазинам, не поручал поиски всякого дерь-

ма на распродажах по бабьему списку. Видно, действительно — с самого верха. Впрочем, все равно сволочь...

Маленький господин ступил на палубу катера. Палуба была пуста, никто не вышел из каюты, в ее освещенных окнах вообще не было видно людей. И то, что катер тихо скользил, что тихонько бормотал под палубой двигатель, наводило на мысль о призраках, таких уместных среди черных домов, черной воды, черных спицей на черном небе и черных человеческих фигур, неподвижно стоявших на палубе.

Переведя маленького господина по короткому трапу на палубу, парни отпустили его и отошли в сторону. Господин, вытянув короткие ручки, пытался нащупать перед собой и по сторонам какую-нибудь опору, но ничего не находил. Черную повязку он снять не пытался — видимо, соблюдая достаточно серьезный уговор. Тем временем один из парней на цыпочках, беззвучно, шагнул ему за спину и вынул из кармана чуть блеснувшую тонкую цепочку. Это была обычная, сантиметров в тридцать пять цепочка для ключей, и на одном ее конце действительно звякнули нанизанные на кольцо ключи, а на другом болтался брелок — маленькое, но тяжелое каменное яйцо. В случае необходимости, хорошо раскрутив цепочку, этой штукой можно было проломить висок.

Парень накинул цепочку сзади и, резко рванув, прервал уже почти вышедший из глотки маленького человека крик. Тут же убийца стянул концы цепочки под затылком — они едва сошлись на толстой и короткой шее — и, еще раз резко рванув, разведя руки в стороны, задушил человека. Потом он снял с его шеи цепочку и сунул в карман.

Второй уже вытащил из-под светлого плаща маленький магнитофон и положил его в свое пальто.

Тело осталось лежать на палубе, возвышаясь неопознаваемым с набережной мешком. Катер быстро шел к мосту, парни, наклонившись, трудились над трупом.

Под мостом они спихнули его в воду. Когда тело опустилось на дно, заложенные во все карманы плаща, пиджака, брюк небольшие взрывные устройства разнесли его на куски. Взрыв из-под воды был почти не слышен. Куски не должны были всплыть — к рукам и ногам, голове и груди

стальной проволокой были примотаны грузила от больших сетей.

— Everything o'key, I think,— сказал тот, который душил. Покачиваясь, распахнув пальто, он мочился с борта.— Life is life, eh? We don't need this kid more. He has made his last connection — our bosses can have their fucken caviar at their fucken *dachas*... Well. I hope, his blackassholes, his friends willn't find him for reconstruction. I don't wish such bad thing to them, to our dear friends from the East...

— Shut up, you!— Второй прикуривал, и ответ его был неразборчив.— You are so brave here... But I wanna see you in Lebanon... With your fucken chain...

3

Неужели вы не понимаете, сказал Сочинитель, что я не имею влияния на них? Это они действуют, а не я. Это ведь так элементарно, и всюду написано, вы не могли этого не читать. Ну, вспомните же, Татьяна удрала такую штуку, вышла замуж! И он удивился, а сделать ничего не мог. А ведь не мне, согласитесь, чета, даже и говорить неловко... Они имеют самостоятельную волю, поймите! Вы должны понять...

Ликбез мне читаете, усмехнулся седой, классику... Это все оставьте для поклонниц, у нас разговор серьезный. Либо вы продолжите ваш сценарий таким образом, чтобы он нас устраивал, либо... Через несколько минут здесь установят монитор, мы вам хотим кое-что показать.

Я ничего не могу сделать, сказал Сочинитель мертвым голосом, и в этот только момент сам окончательно понял, что действительно не может, даже если бы решил. Сюжет будет развиваться единственно возможным для него и для нас всех путем. Все, что должно произойти, произойдет, и я не могу ничего с этим поделаться. Есть вещи, которые сделать не можешь, понимаете? Даже если хочешь. Просто ты так устроен и не можешь написать то, что не можешь, как не можешь прыгнуть в высоту на два метра... То, что вы хотите, может написать только другой человек, но и он не напишет, потому что Сюжет — мой. Иногда со стороны это все кажется несерьезным. Например, во мне многие запреты на

развитие Сюжета связаны с моим застарелым, с детства, желанием казаться лучше, чем я есть на самом деле. С желанием выглядеть красиво, понимаете? И я не могу...

Сможешь, перебил его седой, и Сочинитель понял, что допрос вступил в новую фазу — грубый тон, обращение на “ты” и, видимо, угрозы... Сможешь, повторил седой, и яйца тебе откручивать не будем. Сам сможешь. Ты же ведь все равно будешь додумывать свой Сюжет, никуда не денешься, не выключишься. Так что не в наших интересах тебя лупцевать, а то и правда сочинять перестанешь. Сиди, думай... Заодно посмотришь, что ты можешь, а что нет. Прдемонстрируем тебе твои возможности, ты их еще не знаешь...

Он вышел, не прикрыв дверь, в которую тут же протиснулся тощий и очень длинный солдатик. Рукава гимнастерки ему были чуть за локоть, сапоги свободно болтались на худых ногах. Не глядя на Сочинителя, солдатик поставил на стол в углу небольшой телевизор. Монитор, вот это и есть монитор, подумал Сочинитель. Переросток в форме уже воткнул разъем со многими штырями в ранее не замеченную Сочинителем розетку в углу и вышел.

Экран медленно осветился, но еще до того, как на нем появилось изображение, Сочинитель похолодел. Он услышал частые выстрелы, грохот вертолетного мотора и понял, что, если он будет продолжать свой Сюжет со всеми подробностями, он окажется действительно предателем. Он уже не имел больше права на точные адреса — они пойдут по ним, будут действовать по его подсказке. Он зажмурился и несколько раз повторил про себя: “Просто — страна... Просто — страна... Страна — и все...”

Если не выдать место, у ребят еще будет шанс, подумал он. И следовательно, будет шанс у нас всех.

Наконец картинка на мониторе высветилась.

Страна. Февраль

Сергей гнал “уазик” наискось через плац, мотая его зигзагами. Стреляли из окон второго этажа, видимо, из того помещения, которое когда-то было в этой казарме каптеркой. Юра уже прилаживался со своим гранатометом, но нужно было высунуться с ним наружу, а из “уазика” это было невозможно — окна не открывались.

— Поворачивай кругом, — сказал Олейник. — Кругом и притормози, но совсем не останавливайся... Поворачивай...

— Озверел, что ли?! — заорал Сергей. — Куда кругом? Уходить? А бабы? Ты что?..

— Говорю, кругом, — повторил Олейник, уже перелезая через спинку в маленькое пространство между сиденьем и задним бортом. В руке его был офицерский швейцарский нож. Упершись ногами в борт, он выщелкнул лезвие. В зеркале Сергей увидел красную с белым крестиком рукоятку и сообразил. Круто, едва не опрокинув, развернул машину и, так же виляя, поехал назад. Затрещал под ножом Олейника брезент, вывалился квадратом, вместе с задним окном. Юра уже стоял коленями на заднем сиденье...

— Стой! — крикнул Олейник, и Сергей, словно ткнувшись в стену, затормозил. Юра высунулся со своей трубой по пояс. Из окна ударила длинная очередь, но одновременно с нею харкнул гранатомет. Сергей уже лежал с автоматом у левого заднего колеса на асфальте плаца и полосовал по замолчавшему окну без перерыва, на весь рожок. В окне мелькнул силуэт, Олейник выстрелил, держа "кольт" в двух руках, как в тире, — высунувшись вместо Юры в прорезанную дыру. Юра, с "калашниковым" в руках, стреляя на ходу, широкими шагами неся к входу в казарму. Из развороченного гранатой окна вывалился ручной пулемет, следом за ним, раскинув руки, кувыркаясь, медленно выпала фигура в пятнистой форме...

В коридоре Олейник пнул первую же дверь ногой и отскочил за косяк. Из двери ударил автомат. Замолк. В полный рост встал Олейник в дверном проеме. В углу комнаты он увидел мальчишку в тельняшке, выламывающего из автомата заклинившийся пустой рожок. Олейник выстрелил, чуть приподняв ставший еще тяжелее обычного "кольт"...

Галя сидела на полу в следующей комнате, руки ее были пристегнуты наручниками к отопительной трубе. Окна здесь выходили на другую сторону, это было счастье, что они не догадались загородиться женщинами от нападения.

— Володенька, ты нашел меня? — Галя, улыбаясь, смотрела в сторону. — Я так тебе благодарна, ты знаешь, я так тебе благодарна...

Ничего нелепее этих слов Олейник не слышал в жизни.

Они ее таки доконали, подумал он. Лучше бы кого-нибудь из них убить без выстрела, подумал он. Стрельба не утешает — только удар.

В комнате напротив была Юлька. Голову ей замотали простыней, руки связали обычным узким брючным ремнем из толстого брезента, ноги — бельевой веревкой. Сережка рубил ножом по узлам, сдирал простыню...

— Don't touch me, — сказала Юлька. — Listen, don't touch me. You see? Now and forever, don't touch me. Only I want — to kill somebody... Give me this one...

Неожиданно резко она вырвала из рук Сергея нож — длинный и узкий выщелкивающийся клинок в зеленоватой перламутровой ручке. Смотреть на нее было страшно — лицо синевато-серое без грима, нечистая кожа бугрится мелкими нарывами. Она шагнула в коридор, увидела лежащего на полу, хрипящего розовыми кровавыми пузырями парня в лейтенантских погонах на изорванном кителе — и, бросившись рядом с ним на колени, воткнула нож ему в шею, пробив длинным лезвием насквозь. У Сергея подкатило, он едва сдержал рвоту и едва собрал силы поднять ее.

Ютта и Конни бежали по коридору навстречу, она обняла Юру, и он почувствовал, что сон кончился и сейчас по телевизору начнут показывать викторину, а потом Конни пойдет спать, и Ютта предложит досмотреть передачу лежа, и принесет простыню и подушки на диван в гостиной, и стащит эту фуфайку через голову, и останется в одних старых, белых на коленях джинсах, и наклонится, чтобы поправить подушки, и он будет смотреть на нее... Она все прижималась к нему мягким,двигающимся под застиранной фуфайкой телом, и Юра едва заставил себя очнуться. Он отстранил ее, и Конни подошел и подал ему руку.

— Привет, Юра, — сказал Конни по-русски, — как дела?

Безумие, подумал Юра, это просто безумие, разве может быть так?

Он увидел Сергея, который тащил по коридору Юльку, Юлька упиралась, изо рта у нее бежала пена, она визжала отчаянно, без слов.

Он увидел Олейника, выводящего из комнаты в коридор пошатывающуюся пожилую женщину, и понял, что это и

есть Галя, хотя седая грузная старуха выглядела даже рядом с сильно постаревшим за эти месяцы Олейником бабушкой.

И еще он увидал, как по плацу катят уступом три кургузых десантных танка, их башни ворочаются.

Это сон, подумал Юра, и сейчас он кончится.

Первым железную лестницу заметил Олейник. Медленно, слишком медленно — Галя задыхалась, Юльку пришлось тащить силой, она вырывалась — они поднялись на крышу. Собственно, это была не крыша, а третий этаж со снятыми потолочными перекрытиями и кровлей и сильно укрепленным полом — залитая гудроном площадка, окруженная глухими стенами высотой метра два с половиной.

Невидимый с земли, стоял здесь нелепо изящный “Ми-4”.

Сергей боялся, что без навыка все забылось, но навык остался. Все-таки нас неплохо учили, спецназ есть спецназ, подумал Сергей. Вертолет пошел косо вверх, и некоторое время их не видели с плаца. Когда плац открылся, Юра одну за другой бросил две гранаты — это были привычные, китайские, с которыми работали в блаженной памяти учебном центре. Возле одного из танков полыхнула лужа солярки...

— Я знал одного старика, — сквозь невыносимый грохот двигателя прокричал в ухо Юре Олейник. — Давно... Он умел их бить... Он говорил: если им в ответ стреляют, они теряются, донял? Они любят воевать с трусами... Они не готовы к ответу, поэтому у них и можно выиграть даже в безнадежной позиции...

Вертолет низко полз над лесочком. Внизу, у реки, были видны редкие яркие машины и безумные рыбаки-подледники, рассеявшиеся со своими сундучками на синеватом слабом льду.

4

Ну и непрофессионально получается, усмехнулся седой. Вы ж гордились, что у вас с деталями полный порядок, а теперь... Я уж не говорю, что вы с оружием нахомутали. Проконсультировались бы, что ли, а то у вас не разберешь, где пулемет, где гранатомет. Сами-то небось кроме детских игрушек ничего в руках не держали...

В комнате было невыносимо жарко, отопление работало во всю силу, да в широкое окно, выходящее в пустое снежное поле, шпарило удивительное даже для этих, всегда солнечных дней солнце. Седой расстегнул джинсовую рубашку, обнаружив толстую цепочку с массивным золотым крестом.

Я уж не говорю и об английском — ужас, у вас американская блядешка говорит на скул инглиш, да еще и с ошибками... Ладно, дело ваше, хотите позориться перед читателями и профессионалами — давайте. Но место нам нужно, ясно?! Место, додумайте место! Держитесь за свободу фантазии, сколько хотите, но место — это уже не фантазия, это наше дело. Вы ж себя считаете христианином, а скрываете убийц, наемников, которым все равно, кого пришить...

Сочинитель сидел на диване, глубоко всунувшись в угол этого обшарпанного казенного сооружения, слишком убогого в ярком свете, в шикарном загородном доме — такие раскладные диванчики бывали обычно прежде в бедных профсоюзных пансионатах. Пепельница стояла на полу, он наклонился задавить продолжавший дымиться окурок, влез пальцами в кучу обгорелых и искореженных фильтров, пепла, почему-то влажного и пристающего к коже, — и вдруг обида, ненависть, бешеное отвращение залили, окрасили свет перед глазами красно-бурым, словно кровь прилила к голове.

Насчет английского и оружия вам виднее, вы ж и есть в этом профессионалы, сказал Сочинитель. Ну, перебьетесь; перетерпите, не для вашего брата писано, не инструкция, не устав. А с читателем как-нибудь столкнемся, опять же не ваша забота.

Что же вы хамить начинаете, перебил седой.

А ничего, не на приеме в цека, хуже не будет, сказал Сочинитель. Дрожь все не унималась, на мгновение захотелось просить, молить, уговаривать — ну что вы, честное слово, я же не сделал ничего, это выдумка, игра, развлечение, мой кусок хлеба, что вам моя игрушечная известность, мои убогие деньги, отпустите нас, немолодых, больных, слабых, нам и без того плохо, нам бы самим разобраться с собой и не погибнуть, друг друга не погубить... Представил себе театральную сцену — пасть ниц, обнимать ноги, — но сразу вспомнил давно вычисленное и решенное: сдаваться, выда-

вать бессмысленно, потому что того, кого уже начали пытаться, убьют все равно, не выпустят. Но если сдашься, умирать хуже... И, чтобы избавиться от соблазна, заговорил еще наглее.

А уж коли вы такие профессионалы, что вам стоит и самим вычислить, где все происходит? Что, у вас так много объектов с вертолетной площадкой на крыше?..

Да мать же твою так, заорал седой, в том и дело, что у нас их вообще нет, понял?! Вообще нет, это ты придумал, фантаст сраный!.. Придумай тогда и место, сука, придумай место, или я тебе...

Нет, сказал Сочинитель, не могу. Уже объяснял, еще раз объясню: если я придумаю место, я начну служить вам, вы ребят поубиваете. Значит, я стану такой же, как вы. Но такие, как вы, сочинить ничего не могут. У таких способность к сочинительству пропадает, ну неужели не понятно? И значит, если я место придумаю, все равно вы там никого не найдете, потому что это уже будет придумано бездарью, вашим служащим. Вы мне за это можете генерала дать, а место не найдете, потому что я не смогу его придумать оживающим. Выдумка будет мертвая, понятно, черт бы вас взял, или нет? Ну, клепаная же ваша контора — такую простую вещь понять не можете! И мучаете людей, как всегда, без толку...

Хорошо, сказал седой и встал, мы вас не будем мучить. Наоборот, мы предоставим вам возможность общаться — всем троим. У нас здесь помещения соединены местным телевидением. Посмотрите на своих дам, они на вас...

Он вышел. Тут же включился монитор. Прежде чем осветился его экран, Сочинитель услышал неразборчивые крики, шум толпы, тихий треск автоматных очередей. Он закрыл глаза.

И тут же открыл их.

На экране было лицо Ольги. Крупно, во весь экран — бледное, серого бумажного цвета лицо. Лицо было мокрое, он подумал, что от слез, но камера отъехала, и он понял, что от пота. Ольга сидела на стуле посреди очень маленькой комнаты без окон. Руки ее были заведены за спинку стула и там, видимо, связаны. У ног, пристегнутых к ножкам стула короткими ремнями, стоял докрасна раскалившийся реф-

лектор. Он понял, что Ольга сейчас задыхается в этой чудовищной жаре, в этой каморке, но крики толпы стали громче, и он тут же сообразил, что не духота была главной пыткой. Взгляд Ольги был неотрывно устремлен на стоящий в метре от нее такой же монитор, как и в его комнате. Шум шел от экрана.

Тут же голос за кадром пояснил: “Закрывать глаза или тем более уснуть она не может — ей введен возбуждающий препарат”.

На экране того монитора картинка повторялась бесконечно, видимо, пленка была закольцована.

Солдат в толстой теплой куртке, в каске, косо и безобразно сидящей поверх ушанки, возникал в прожекторном дымном свете. Держа автомат за ствол, как дубину, он поднимал его высоко — и резко, коротко, рубящим оттягом опускал его на голову отступающей, упираясь спиной в толпу, женщины.

Усиленный, выделенный специальной аппаратурой, раздавался перекрывающий крики и стрельбу глухой стук удара.

И снова солдат поднимал автомат. Медлил секунду, выбирая, выскивая, куда ударить. И снова бил, бил, бил...

Выключите, сказала Ольга, и он не столько расслышал, сколько по ее губам разобрал это слово. Выключите телевизор, закричала она, крик был невыносим, потому что он никогда не слышал, чтобы она так кричала: открытой глоткой, как кричат простые бабы в родилке. Выключите, пусть будет жара, но выключите это, выключите, просила Ольга, и не слезы, а пот катился по ее серым щекам.

Он шагнул к монитору, ткнул кнопку, но экран не погас. Просто сменилась картинка.

Любовь сидела в другой комнате, так же пристегнутая к стулу. Рядом со стулом стояли ее сапоги, один, со свалившимся набок голенищем, выглядел убитым, мертвым. Ее босые ступни — коротенькие, как бы квадратные ступни, как у деревенских девчонок, легко и ловко ходивших босиком по колкому и смеявшихся над ним, неженкой, с тихим ойканьем поджимавшим ногу над случайным камешком или веткой, — ее ступни, которые, откидываясь, она ставила ему на грудь, гладила ими, сейчас стояли на ледяном кроше-

ве, наваленном в эмалированный таз. Ноги были низко, за самые щиколотки, пристегнуты к ножкам стула, их невозможно было приподнять ни на миллиметр, но она и не пыталась. Голос она, видимо, потеряла уже давно. Откидывая слипшиеся, потускневшие волосы неловким, птичьим движением головы, она широко открытыми глазами смотрела на свой экран.

Солдат бил женщину.

Любовь беззвучно открыла рот. Камера подъехала так близко, что он увидел высохшие потеки на ее щеках — слезы уже кончились.

Услужливый голос за экраном сказал: “Сейчас специальная аппаратура усилит ее шепот”.

Этого не было, услышал хрип Сочинитель, этого не было. Люди не могут так. Я не верю, этого не было, не было, не было. Выключите же эту ложь, ради Христа, выключите. Я не верю, этого не было.

Он встал, снял трубку телефона. Соедините меня с Игорем Леонидовичем, сказал он, срочно. В трубке щелкнуло, раздались короткие гудки.

Тут же седой сам появился в приоткрывшейся двери. Не входя в комнату, он прислонился к косяку. Можете выбрать, сказал он, одной из них мы сейчас выключим изображение, только скажите какой... Ну и холод, конечно, уберем. Или тепло? Выбирайте быстрее, каждый человек должен уметь выбирать, когда приходит время. Выбирайте — и вместе с выбранной мы вас отпустим, черт с вами, езжайте к своим ценителям куда-нибудь в Калифорнию — все равно от вас здесь только вред. Сами с вашими подонками разберемся. Ну, значит, Любовь?..

Нет, сказал Сочинитель.

Ну и правильно, сказал седой. Баба бабой, а жена — это серьезно. Да и нам удобней. Любочка-то ваша и сама кое-что знает, может, и подскажет нам, что вы там в нежном бреду в постели болтали... Что ж, забирайте супругу...

Нет, сказал Сочинитель.

Не понял, сказал седой.

Я был готов к выбору, сказал Сочинитель. Если бы вы больше читали и хоть что-нибудь понимали из прочитанного...

Седой дернулся, но Сочинитель остановил его, подняв руку, и седой промолчал.

...Вы бы догадались, что я готов к выбору. Правда, вы уложили ситуацию — учитеесь... Но все равно — выбор возможен. Не их, понимаете, не их, а меня! Меня. Что хотите. Это не имеет значения. Бог даст, потерплю недолго. Все-таки пьянство пригодится, сердчишко долго не выдержит...

Ни хера не понимаю, сказал седой, что вы предлагаете. Что значит — меня?

Пытайте меня, сказал Сочинитель. Меня, ясно? Вы думали, что вид их мучений заставит меня согласиться на ваши условия? Вы ошибаетесь. Один писатель это доказал. Приходит время, и человек кричит — ее, а не меня! Чужая боль не может быть своей, даже если мучают любимую. Отпустите их и принимайтесь за меня, если хотите чего-нибудь добиться. А там посмотрим...

Понял... Седой вошел в комнату, сел, ногой пододвинул стул и захохотал. Понял, значит. Понял! Ну что ж, мы с вами одно читаем, зря вы нас тупицами держите... И вы думаете таким образом нас обдурить? На авторитет ссылаетесь? Нет, ничего не выйдет у вас, уважаемый лирический герой... Пальцем не тронем, слышите? Пальцем не тронем. А вот дамочек ваших обеих — раз вы ни одну выручить не хотите — на просмотре оставим. Дамочки чувствительные, вам на их реакцию смотреть удовольствие будет небольшое. А надоест им этот наш сюжет, притерпятся — имеются еще пленочка-другая, поинтереснее. Кое-что друзья наши на Востоке записали, кое-что в Африке... С детишками есть любопытные кадры...

Я не могу выбрать, сказал Сочинитель. Если бы я освободил одну из них, я бы стал хуже, чем вы. Это невозможно, Сочинитель не способен, поймите же это, сделать такой выбор. Даже если бы очень хотел. Если я освобожу ее такой ценой, у нас уже все равно больше никогда ничего не будет, мы не сможем ни быть вместе, ни просто жить. Что вы, честное слово, делаете вид, что не понимаете, все вы прекрасно понимаете...

Что ж, сказал седой, возобновим показ.

Сочинитель повернулся к экрану.

Ольга выглядела здоровой. Рефлектора у ее ног не было,

в комнате обнаружилось приоткрытое окно, легкий сквознячок шевелил ее волосы.

Голос за кадром пояснил: “Ей ввели средство, регулирующее дыхание, ее физическое состояние пришло в норму”.

На экране монитора в Ольгиной комнате появилась картинка, и Сочинитель узнал себя. Он стоял на краю тротуара, поднимая руку перед каждой проходящей машиной. Он помнил этот день... И знал, куда поедет, поймав наконец такси в Охотном.

Вы, конечно, снимали и дальше, сказал он. А как вы думаете, ответил седой. Вот теперь, в реальном времени, час за часом, супруга ваша ознакомится с времяпрепровождением мужа. Сочувствую бедной женщине...

Сочинитель ткнул кнопку переключателя.

Любовь сидела в глубоком кресле, поджав, подвернув под себя ноги. На ногах у нее были толстые, крестьянской вязки, буро-белые носки, горло замотано пуховым серовато-бежевым платком. Он подарил его в прошлом году, когда она впервые потеряла голос после легкой простуды и страшно перепугалась... На экране ее монитора был пляж. Огромное песчаное пространство, невысокие дюны, корни сосен, выползающие из песка, словно подземные жители, пробирающиеся к морю. По пустому пляжу издали брели две маленькие фигурки, пара шла обнявшись, это мешало им идти нормально — у них будто ноги заплетались... Пока узнать мужчину было нельзя. Но он помнил этот пляж, эти сосны, этот жаркий день — кажется, уже десять лет назад.

Она ведь знает мою жизнь, сказал Сочинитель. Вы не откроете ей глаза, я не скрывал от нее семью. Одно дело знать, другое — увидеть подробности, сказал седой. Любочка ваша — женщина эмоциональная, ревнивая, картинок не стерпит. А вам желаю интересных наблюдений. Переключатель в ваших руках, так что выбор, хоть и не такой важный, вам все равно предстоит сделать, никуда не денетесь. Либо на одну смотреть, на страдания ее, либо на другую... Выберете, конечно, ту, которой сочувствуете меньше, чтобы самому меньше страдать, — вот и предали обеих, вот и готовы. И езжайте себе тогда в свободный ваш мир, творите

дальше. Посмотрим, что вы тогда натворите, после такого выбора... Ну, пока.

Седой встал, чуть потянулся, расправляя грудь, пердернул плечами — не холодно вам? А то сейчас еще подтопим — и шагнул к двери.

Все, сказал Сочинитель, быстро выключите их мониторы, я сдался. Выключите немедленно, слышите?! Совсем. И никаких кошмаров больше, и никаких сплетен заснятых, немедленно! И я придумаю место. Я сам ведь придумал для вас эту схему — выбор, предательство, попытка выбором, — потому что давно хотел поспорить с тем, кто сказал: ее, а не меня. Я надеялся... Но все оказалось слишком живым для схемы, и я сдаюсь — я придумаю место.

Он нажал переключатель.

Экран в комнате Ольги погас, она подошла к окну, открыла его шире.

Он нажал переключатель.

Любовь его спала, свернувшись в кресле. Волосы свесились, легли на руку, которую она неловко подsunула под щеку, и было видно, что у корней они темнее — отросли... По экрану ее монитора бежали искры и полосы — без изображения.

Когда же вы придумаете место, спросил седой. Видите, мы уже выполнили условие. Через пару дней ваши женщины будут в полном порядке. Так что за вами долг, вы должны назвать место...

Она не одна, сказал Сочинитель, верните ей семью.

Можете проверить, это уже сделано, мы не деревянные, мы тоже кое-что понимаем, сказал седой.

Сочинитель снова посмотрел на свой экран.

Мужчина и девочка входили в ее комнату именно в эту секунду. Ника бросилась к креслу, и, не просыпаясь, женщина обняла дочь. Андрей стоял рядом, неловко пряча руки в карманы. Она обнимала Нику и, еще не проснувшись, вяло откидывая волосы, из-под лба взглянула на мужа. Привет, сказала она, как вы меня разыскали? Позвонили, сказали, что ты снимаешься в какой-то странной передаче, что-то важное, и поэтому тебя можно повидать только здесь. Прислали машину, Ника проснулась, я решил, что ее можно взять, раз случай такой особенный...

Ну, сказал седой, вы убедились, что мы выполняем условия? Когда же вы назовете место?

Есть еще одно условие, начал Сочинитель, это касается Ольги, она не может...

Знаю, перебил седой, можете убедиться.

Он нажал переключатель.

Ольга сидела на корточках, перед нею на спине лежала такса, ее длинное тело изображало счастье. Рядом сидела кошка, глядя на таксу сверху вниз, снисходительно.

Это наша старая собака, она умерла восемь лет назад, сказал Сочинитель, как вам это удается, не понимаю.

Да ну, такая мелочь по сравнению с вашими возможностями, сказал седой. Нам приходится придумывать, как сделать вам приятное, слишком серьезно мы зависим от вас. Впрочем, если вы говорите, что эта собака мертвая, надо учесть...

Нет, сказал Сочинитель, хватит. Я уже могу назвать место. И даже время тоже. Вы слушаете?

Конечно, сказал седой. Мы готовы.

Надеюсь, что нет, сказал Сочинитель, надеюсь, что вы не готовы. И это будет конец, вы проиграете. Вы проиграете почти наверняка, потому что это здесь. Здесь. Здесь. Здесь.

И сейчас. Сейчас. Сию минуту. В этот миг.

Здесь и сейчас, сказал Сочинитель.

Здесь. Сейчас

Один за другим, быстро увеличиваясь, шли вниз "апа-чи". Они зависали метрах в двух от земли, винты поднимали тучи не то снега, не то песка, а из дверей уже сыпались здоровые ребята — были и девушки, эмансипированная армия не оставляла сомнений в своей принадлежности — в камуфляжных куртках, в туго шнурованных ботинках с узкими голенищами, десантных jump-boots, карманы по бокам штанов раздувались запасными обоймами, антидотами, готовыми к еде полевыми завтраками, казенными евангелиями и молитвенниками всех представленных в войсках религий. Глубоко надвинутые каски в матерчатых чехлах скрывали лица, но все равно было заметно много темнокожих.

И, держа наперевес свои вечно несущие благодать

“М-16”, они сразу припускались бегом к цели. Стреляя на ходу, припадая на минуту на колени, чтобы разрядить базуку, скаля зубы, покрытые у полкового дантиста на очередном приеме фтористым лаком.

Впереди бежали люди *super team*, добровольцы и проводники.

Бежал Олейник. Штатная винтовка была заброшена на спину, а в руке капитан держал любимый свой “кольт” и не торопился стрелять. Все тот же голос твердил ему: “Спокойно, Вовка, спокойно, сейчас тебя не убьют, и не торопись стрелять, еще успеешь... Главное — бежать быстро...”

Бежал справа от него Сергей — в майке светлого цвета хаки, так идущего к его веснушчатой коже, без каски, с забранными снова в *pony-tail* рыжими кудрями. И он тоже пренебрег казенным оружием — шпарил из польской малютки “РМ-63”, больше пригодной для гангстерского налета, чем для боя, — дико матерясь на четырех языках. Я вам, сукам рваным, *fuck your mothers*, покажу, что такое русский жиголо, я вам покажу трахальщика, я вас трахну — кончите на раз!..

Юлька бежала на шаг сзади. Винтовку она просто оставила в вертолете — тяжела — и бежала с голыми руками. Только выкидной нож болтался в правом наколенном кармане... Уже окровавленный ею клинок был убран, но она знала, что теперь она сможет ударить — и не закроет глаза.

Слева от Олейника бежал Юра. Бежать с привычным своим оружием он долго не мог — рухнул наземь, прицелился — и шипящий звук ушедшей к цели гранаты отметил его участие в атаке. Не то снег, не то песок запорошил ему глаза, он потерял их и начал перезаряжать гранатомет.

Конни лежал рядом. Аккуратно установив, крепко уперев в плечо приклад, он нажимал спуск калашниковского ручного пулемета. Держал он его удивительно твердо для силенок пятнадцатилетнего пацана.

А сзади уже накатывали изломанными шеренгами танки, и в одном из них, у рации, сидела Ютта. Грязный пот тек по ее лицу, насквозь промокла майка, и в какую-то секунду, расслабившись, она едва не выбила себе зубы, когда танк швырнуло на остатках бетонного ограждения. Но

обошлось — она только потрясла головой, чтобы избавиться от звона в ушах.

И уже разворачивался за танковыми волнами полевой госпиталь, и Галя бежала рядом с носилками, на которых лежал раненный в обе ноги огромный, голый по пояс негр, бежала, высоко поднимая колбу, из которой по тоненькому шлангу стекала в негритянскую вену консервированная кровь. И на бегу она изумлялась — одышки не было совершенно. В ее-то годы!..

Утром она умылась и гладко причесалась, не глянув в зеркало. И потому не знала, что за ночь вернулась пигментация, и ее волосы потемнели. В принципе такого не бывает, но как чудо — возможно.

А над головами атакующих, над танковыми колоннами, над штабными машинами, ощетинившимися длинными гибкими антеннами, над подвижными стартами противотанковых ракетных снарядов проносились “миражи”, и где-то впереди с далеким грохотом распускались цветные павлиньи хвосты ракетных разрывов.

И все спускались и спускались вертолеты, все прыгали и прыгали — не то на снег, не то на песок солдаты...

И откуда-то сверху, над вертолетами и даже над треугольными мгновенными тенями самолетов, гремела, перекрывая взрывы и стрельбу, музыка — “American patrol” в вечнозеленом миллеровском исполнении.

5

— Выключи звук, — сказал лысый.

Генерал отодвинул на всю длину руки от старческих дальнорюбких глаз пульт дистанционного управления, поискал кнопку, прижал.

Звук исчез. В полной тишине по гигантскому экрану стоящего посреди бункера телевизора продолжали бежать, целиться, полосовать очередями пятнистые солдаты, в тишине летели самолеты, мчались, взлетая на холмы и проваливаясь в складки не то снега, не то песка, танки, снижались вертолеты — в тишине...

— Похоже, что возьмут они нас, как детсадовцев, — сказал седой.

— Вы сами требовали придумать место, и не моя вина, что оно так придумалось,— сказал Сочинитель.

— Заткнулся бы ты, писатель херов... — рыкнул генерал, но седой не дал ему разойтись на продолжение реплики.

— Творцом себя, значит, мните, креатором,— усмехнулся он, поворачиваясь в вертящемся кресле к Сочинителю. Все в бункере сидели в таких креслах, расставленных в несколько полукруглых рядов перед телевизором. Тихонько гудел кондиционер, дул легкий сквознячок, и было точное ощущение начальственного просмотра где-нибудь на даче в Пицунде или Крыму — впрочем, это и был просмотр...

— А он и есть творец,— вызывающе сказала Любовь, и Сочинитель дернулся: он терпеть не мог, когда женщина вступалась за него.— Он и есть творец, в чем вы вполне теперь и убедились...

Ольга молчала, смотрела в сторону. У ног ее сидели такса и кошка. Андрей с каменным, мертвым лицом курил, не глядя давил в пепельнице окурки, неотрывно смотрел на экран. Ника задремала, свернувшись в кресле — точно материнской манерой.

— Творе-ец,— иронически протянул седой.— Так себе творец-то... Хоть с имен начать. Сочинитель и Любовь... Ничего не напоминает, а? Это уже и не эпигонство даже, а прямой плагиат... Да и сама любовь придумана тоже не очень. Постель, постель, постель... Трахаются с деталями весьма выразительными, не откажешь. А больше ведь ничего и нет, согласитесь. Женщина совершенно ходульная получилась, по облакам эротическим ступает, а у нее, между прочим, дочь, муж, дел невпроворот, семейство, хлопоты, посуды немытой к вечеру полная раковина... Уж не говорю о других персонажах — тени, статисты...

— Много требуете от сказки, господин рецензент,— сказал Сочинитель.— Конечно, самое последнее дело — собственное сочинение оправдывать, но замечу: вам как критику разница между романтическим сном и психологической бытовой прозой должна быть понятна.

• — Ладно,— согласился седой,— пусть романтика. Хотя хороша романтика с минетом и всем прочим... Волосы непотребные описывать — вот и вся ваша романтика. Да

стрельба, как в паршивом видешике... Ладно. Лучше поговорим о главном. Значит, вы считаете, что достаточно нам было напугать его неудачным покушением, чтобы он всю страну в свой страх поверг? Легко вы историей распорядитесь. По-детски. Или по-сочинительски, что одно и то же. А вот я, да и любой серьезный человек, вам так скажем, — тут он слегка двинул рукой в сторону лысого, чтобы дать понять, кто серьезный человек, — так скажем: он и без нашего напоминания, без ваших террористов двинулся бы в эту же сторону, ясно? Потому что есть такое понятие: историческая необходимость. Вам, конечно, как махровому идеалисту, чуждое... Так вот — в силу этой самой необходимости не мог он быть другим. И рано или поздно за ум взялся бы... Без нас власти нет, потому что мы — сила. Мы, собственно, и есть только сила, такова наша сущность — сила, и все. А власти нет без силы, а его нет без власти... Вот и цепочка. И никаких приключений не требуется. Так что зря мы за вашим Сюжетом пошли. Особенно Ване он понравился — стрельба... Ну, с генерала-то что возьмешь? Но вы...

— Сила, необходимость... — Сочинитель потянулся прикурить, и Андрей, не глядя, автоматическим жестом передал ему зажигалку. — Вот вы-то и есть идеалисты, господа материалисты. Чепуха все это... Есть известное человеческое качество — трусость. Никакой это не идеализм, а натуральной реальность. Струсил он... А самый страшный человек — напуганный человек. На все пойдет, тормоза забудет...

— Поначалу вы и нас в этом убедили. — Седой пожал плечами. — А теперь я, во всяком случае, ясно вижу, что все это не имело значения. И если вы с вашими друзьями, — он ткнул в сторону экрана, по которому приближалась атака, — сейчас нас перестреляете, ничего не изменится. Логика такова, что...

— Кто кого перестреляет, сейчас решим, — раздался голос лысого. Он вдруг оказался стоящим перед телевизором и закрывающим беззвучный экран. В руках его был короткоствольный “калашников”. Вечный желтый огонь вспыхнул и тут же погас в остановившихся глазах. — Сам говорил, писатель, что у нас собственная воля есть? Ну, вот и пришло

время для нее... Конец твоему Сюжету. И тебе вместе с твоими бабами...

Сочинитель встал и сделал шаг к лысому. Тут же со своего места поднялась и подошла к нему Ольга, крепко взяла за плечо.

— Отойди, — сказал Сочинитель.

— Нет, — сказала Ольга, — я так решила.

И Любовь уже стояла, положив руку на другое его плечо.

— Красиво, но удивительно пошло, — сказал седой.

— Молчи, нежить, — сказал Сочинитель.

Лысый поднял автомат.

В стене позади него разошлись раздвижные двери, открыв кабину большого лифта.

Там были все.

И все с оружием.

Первым поднял “кольт” Олейник. Падая вперед лицом, лысый успел нажать спуск, но вся очередь ушла в пол, прошив частой строчкой голубой китайский ковер.

— Ну, — сказал Сочинитель, — вот... И в конце концов все обошлось, я же говорил. Все будет хорошо, вот увидите...

— Где? — спросила Ольга. — Где же нам будет хорошо? Где же? Скажи...

— Там, — сказал Сочинитель и махнул рукой, — там...

— И когда? — спросила Любовь. — Когда? Доживем? Я хочу дожить! Сделай, чтобы я дожила!.. Ну, когда?

— Тогда, — сказал Сочинитель, — точнее не знаю. Тогда... Там и тогда. Во всяком случае, это справедливо для меня: здесь и сейчас я всегда несчастлив, а там и тогда мне всегда хорошо. Было хорошо, будет хорошо... Только в другом времени, только в ином месте... Там и тогда.

Там. Тогда

Самолет шел над облаками, солнце наполняло салон, и ему казалось, что все это уже когда-то было — ощущение, часто посещающее многих... В салоне было шумно, как бывает шумно в самолетах и автобусах, заполненных сплошь знакомыми, но давно не видавшимися людьми, — какая-нибудь профессиональная делегация или туристская группа... Такса с лаем бегала по проходу, удивительно растеряв свойственную породе солидность.

Кое-кто дремал, просыпался, опять дремал...

Пары сидели обнявшись.

Сочинитель сидел один на крайнем кресле первого ряда, прямо у шторки, закрывающей проход к кабине.

Да, все-таки когда-то это уже было, думал он — такой самолет, битком набитый всеми моими... Или, может, я когда-то это уже придумывал...

Внизу должен быть остров, думал он, камни, море, пальмы и сосны, мраморные прохладные полы в гостиных, бараны с большими колоколами, вечером в маленьком ресторане паэлья с дюжиной разных моллюсков и красное вино с фруктовым соком... как оно-то называется... забыл...

Из-за шторки появилась стюардесса.

— Прошу всех застегнуть ремни и не курить, — сказала она. — В связи с тем, что место для посадки нашего самолета еще не выбрано... — она быстро, но с явным укором покосилась на Сочинителя, — мы приземляемся на Московской кольцевой автодороге. Прошу всех сохранять спокойствие. Движение по трассе перекрыто службами ГАИ, посадка будет происходить в условиях полной безопасности. В Москве плюс три, солнечно. Благодарю за внимание.

6

Да, кино получилось, я не спорю, сказала она. Лучше, чем я ожидала, хотя стрельбы все равно много... И эта, в роли меня... Все-таки она играла героиню, иначе не смогла... Но все вместе вышло ничего, особенно к концу, когда уже понятно, что мы не погибнем, и все становится действительно интересно... И про него ты объясняешь, мне кажется, правильно... Ты молодец, ты мой милый сочинитель и выдумщик... Плохо только, что ты все выдумал насчет счастья... Там и тогда... Где это там? И когда это тогда?

Я ничего не выдумал, сказал он. Даже в газетах написано: в Москве никогда не было такой ранней, дружной и солнечной весны.

Октябрь 1990 — март 1991

Самозванец



I

Я проснулся от дождя. Вода шумела так, что сначала мне показалось — какая-то беда... Может, не закрутил кран в ванной? Страшный сон в чужом доме, испуганное размышление, что же теперь делать, бестолковые попытки справиться с последствиями, скрыть следы, кривые честные улыбки, ледяная европейская корректность хозяев. Если уже протекло на первый этаж, или подмок ковер в верхнем колле... Ужас:

Дождь лился, сыпался, шуршал, дышал сыростью совсем рядом, и я сообразил, наконец, что просто оставил окно открытым, точнее, даже не окно, а высокую узкую дверь, выходящую на микроскопический французский балкончик. Я слез с высокого, выгнутого от старости горбом дивана и пошлепал, босиком и в полуслезших трикотажных трусах, закрывать. Нагнулся, для верности тронул пол ладонью — вроде, набрызгало не очень. Теперь надо было закрыть и запереть эту высокую, плотно затянутую изнутри складчатыми полотняными занавесками, стеклянную дверь.

Запирание таких дверей и окон здесь, в мире пригодных для пользования вещей, было одновременно сложным фокусом, вроде продевания нитки в игольное ушко, и удовольствием простой удачи, вроде первого глотка пива из банки, открывающейся по-новомодному, не отрыванием за ухо металлического язычка, а продавливанием его с помощью этого же уха внутрь... Чтобы запереть такую дверь — или так же устроенное окно — надо было, во-первых, совместить полукруглый паз, идущий по ребру одной створки во всю высоту, с полукруглым же выступом ребра другой, так что этот выступ как бы начинал входить в паз. Потом следовало одновременно, нажимая разом на обе

створки, закрыть их плотно, при этом они входили одна в другую с небольшим усилием, которое создавалось ограничивающим их проемом. И уж после надо было найти литую металлическую ручку с загогулинами и круглым шпёночком, за который, собственно, и следовало браться, чтобы, повернув эту ручку, сдвинуть вверх и вниз проложенные вдоль одной из створок длинные штыри, края которых при этом входили в выемки в нижней и верхней планках рамы — вот и всё.

При закрывании раздавался негромкий стук или щелчок, а металлическая ручка, если ее не придержать, падала со стуком более громким. От этих ее постоянных падений на раме и самой ручке окалывалась белая эмаль, которой все было выкрашено, так что появлялись пятна — светлого дерева и темного металла.

Теперь, вместо того, чтобы закрыть дверь, я раскрыл ее пошире и встал на пороге балкончика. Строго говоря, за порогом никакого пространства не было, а сразу перила, как и следовало, поскольку это был французский балкончик. За этими низкими перилами я и встал, оказавшись точно вписанным в узкую и высокую раму открытой двери, из чего можно было сделать вывод, что высотой она была примерно метр восемьдесят пять — восемьдесят семь, а шириной пятьдесят второй — пятьдесят четвертый размер (по-здешнему сорок шесть — сорок восемь, кажется).

Лил дождь, блестел выгнутый на перекрестке асфальт, от перекрестка вверх одна улица вела к станции, а перпендикулярная ей шла вдоль фасада двухэтажного домика — в двери плоского балкончика второго этажа этого дома и стоял я, переминаясь на сыром босыми ногами и поправляя трусы. Домик в ряду других домиков на пустой и чистой улице недалежного пригорода, дождь, большой плакат S.N.C.F. на повороте к станции, на плакате востроносый, слегка лысоватый молодой человек в очках, — видимо, на своем не совсем понятном языке призывающий ездить поездами S.N.C.F., — мокрые машины, влезшие на полтротуара, шорох льющейся не переставая воды. Тут-то, подумал я, будет правильно протянуть руку назад, в комнату, нащупать на круглом под плюшевой скатертью столике, среди мелочи и ключей, пачку «Gitanes» и зажигалочку «Vic» и

прикурить, осветив снизу уже намокшее лицо. Кадр не слишком оригинальный, но беспрюигрышный, от него пусть чуть-чуть, но сожмет европейской грустью сердце всегда сидящей близко, не дальше седьмого ряда, сорокалетней одинокой библиотечарши или училки — впрочем, теперь они уже, наверное, перестали ходить в кино...

Я закурил, и дождь тут же ляпнул мокрое пятно на сигарету.

От станции раздался нарастающий негромкий шум подходящего со стороны города поезда, шипение останавливающихся вагонов. Видно, они здесь ходят всю ночь, наверное, раз в час или что-нибудь в этом роде. Пустые светлые вагоны, откидные сиденья по сторонам от дверей, а двери раскрываются нажатием квадратной зеленой кнопки, и если сейчас никто не нажал, то вагоны, постояв закрытыми, покатали дальше — в Версаль.

Я живу здесь по Версальской ветке, подумал я.

От станции шли двое, звук их шагов был странноватый — чавканье и скрип, без стука каблучков. Чавканье объяснялось просто, обувь не могла не промокнуть в этом бесконечном дожде, но что это за скрип, будто моют окно смятой газетой?

Они остановились точно посередине перекрестка, под светом из витрины угловой табачной лавки. Вот оно что! Это толстые синтетические подошвы кроссовок так скрипят по мокрому асфальту, это нейлоновый кроссовочный верх так чавкает... Одинаково одетая пара, unisex, униформа ко всему готовых: кроссовки, джинсы, кожаные куртки, блестящие под вечным дождем...

Мужчина, угнувшись, влез под зонтик, — женщина подняла купол, насколько могла, — повозился с мокрыми спичками, прикурил. Перекрещиваясь с дрожащими лесками дождя, поплыл голубой клубочек дыма — и дым, и капли подсвечивались из окна лавки, забранного на ночь сеткой. Тоже приличный кадр, подумал я, а все вместе тянет на доброкачественную лирику, так необходимую для перебивки действия в хорошем психологическом триллере, с чуть расплывчатой, не совсем внятной интригой, с неоднозначными мотивировками, с грустной любовью, с привкусом безнадежной горечи, с легким общим безумием... До-

пустим, эти двое случайно знакомятся в большом городе, он скрывается от своих бывших дружков по перевозке наркотиков, они вместе переезжают из города в город... впрочем, это уже было... это «Репортер» Антониони... ну, пусть... и вот их видит мучающийся в дождливую ночь бессонницей обыватель, житель тихого респектабельного городка, и на его глазах все происходит — сорвавшийся откуда-то автомобиль, короткий стук очереди чешского автомата, упавший мужчина, и с этого все начинается, случайный свидетель влезает в самую гущу, а женщина...

— Идем, маленькая, — сказал мужчина.

— Идем, милый, идем быстрее, — ответила женщина.

И через мгновение они скрылись за углом. Мужчина, скособочившийся, чтобы голова и рука с сигаретой не попадали под дождь, и женщина, неловко тянущая вверх руку, чтобы защитить его от воды ребристым матерчатым куполом.

Не меньше минуты я прислушивался к чавканью и скрипу их шагов, прежде чем понял, что они говорили по-русски.

Все сошлось в один день.

Слухи, и даже не слухи, а вполне определенные сообщения начальства на собраниях, которые раньше назывались бы профсоюзными, но раньше такие собрания нельзя было себе и представить, да и начальство такое тоже — три года назад выпущенный из общественного небытия диссидент, картинной красоты седокудрый плейбой, не вылезавший все эти три года из Штатов, Германии, Италии, большой любитель джентльменских игрушек: твидовых пиджаков, шелковых галстуков, виски, сверхъестественных часов и блондинок, отчаянно водящий серебристую «девятку», словом, победитель — так вот, сообщения стали подтверждаться. Два месяца Институт не получал зарплату, исчезли эфемерные тысячи, все еще казавшиеся деньгами наивным кандидаткам и кандидатам, так и не научившимся считать по-новому. Не вышел сборник трудов, вожделенный рыхлый том в сизой оберточной обложке, дававшей в свое время институтским острякам и эрудитам повод назы-

вать его «сахарной головой» — намекая на приторную благостность содержания. Боже, каким счастьем еще недавно было попасть под эту дрянную обложку, сколько было склок и интриг, удач и крушений... Теперь сборник просто не вышел, и никто, в общем, и не заметил. Отменили годовую международную конференцию, поскольку за гостиницу и для своих-то платить стало нечем, а за иностранцев гостиничные люди потребовали валюту — где же ее взять? Смешно... Но одно продолжалось с неизменной оживленностью: потопом хлынувшие в последние безумные годы приглашения и поездки. И какой-нибудь младший без степени, прославившийся парой журнальных, а то и газетных статей с историческими параллелями, собирался в Мюнхен или Болонью, естественно, полностью за счет приглашающей стороны, да еще и рассчитывая огрести там за лекцию сотню-другую долларов — годовую институтскую зарплату. И от рождения невыездной светило и полиглот укладывал застиранные рубашечки, озабоченный получением французской многократки и отрываемый восторженными звонками Сорбонны — о, неужели месье Игор правда будет здесь уже завтра? О, се тре агреабль, мы очень ждем ваши лекции! Но, если можно, было бы очень интересно, если месье свяжет в этих лекциях своих любимых Розанофф и Шестофф с последними проблемами азерис, арменьен и балтик...

Единственным отделом, работавшим в Институте до последнего все напряженной и напряженной, был бывший первый, влившийся теперь в отдел кадров и занимавшийся оформлением поездок.

Утром в этот день он пришел на работу очень рано. Вдоль коридора еще стояли ведра и бумажные мешки уборщиц, из приемной директора доносилась веселая музыка — в его кабинете уборщица по утрам всегда включала телевизор для настроения. Он остановился у давно опустевшей доски приказов и объявлений — на ней появилась одинокая, косо приколотая бумажка. Не до конца веря глазам, он еще читал: «...ликвидируется... с выплатой за месяц... по всем вопросам стажа и трудоустройства...» — когда услышал очень быстрые, очень четкие шаги и обернулся. Федор Владимирович Плотников летел по коридору обычным

своим полетом, светлый длинный плащ на немислимой узорчатой подкладке нараспашку, клетчатый бежевый шарф знаменитой фирмы заносит встречным потоком воздуха за плечо, кейс в левой руке чуть на отлете, трубка в правой дымится и сыплет пепел, седины сверкают...

— Что читаем?— спросил директор и новоизбранный академик еще издали, а поравнявшись, приобнял подчиненного за плечи и повлек за собой.— Привет, привет... Давно не видно. Уезжали куда-нибудь? Кажется, в Штаты? Нет? Ну, все равно, рад видеть. Приятно с утра встретить хорошего человека. Как дела?

— Ничего,— пробормотал он,— спасибо... Вот, стоял, приказ читал... Что ж теперь, Федор Владимирович?..

— Приказ?— директор оглянулся на доску с бумажкой, будто забыл, какой подписал вчера приказ.— А, это... Ну, вам-то что волноваться? Вы и так не больно от нашей шараги зависели, с вашим-то именем... Херня это все. Лучше пойдем ко мне, есть дело.

В кабинете Плотников сунул плащ в шкаф, швырнул кейс на пол за кресло, сел, набил немедленно и раскурил новую трубку и тут же стал читать какую-то бумагу, положенную секретаршей с вечера на стол поверх всей кучи. Вдруг двинул бумагу в сторону, взглянул, вспомнил:

— А дело вот какое: поехали-ка вместе в Данию, а? Приглашение есть на меня и троих сотрудников, оформим быстренько вас... и Юру Вельтмана, а? Чудесный человек, ученый настоящий... и Сашку Кравцова, он, конечно, из этих в прошлом... при погонах, но парень хороший, честный, и помогает очень... Поехали? Платят, конечно, датчане, в гостинице будем жить хорошей, по Копенгагену походим, «карлсберга» попьем... Конференция-то, хер ее знает, не думаю, что очень интересная будет, но съездим напоследок? А вернемся — будем и наши проблемы решать, не волнуйтесь. Я всегда вам удивляюсь — чего вы за нашу контору переживаете? И уважаю, признаюсь, за это же... Ну, едем?

Плотников смотрел на него со знаменитой своей полуулыбкой — веселыми глазами, но со скорбными скульптурными складками у рта. Ну Пол Ньюман — и все! А что прокатиться хочет просто за развлечением на халяву — и не

скрывает. Эх, Федор Владимирович, Федя, столп вы нашей молодой демократии, легенда диссидентства...

— Поедем, конечно,— он покрутился в кресле, достал сигареты, не «Мальборо», понятно, но все же «Винстон», глянул вопросительно, директор с готовностью кивнул, мол, конечно, можно, курите, и даже зажигалку по столу придвинул и пепельницу,— поеду с удовольствием, Федор Владимирович, я в Дании не был...Но...

— А чего «но»?— Плотников уже не улыбался, и даже интерес к собеседнику очевидно утратил, снова поглядывая на важную бумагу, вопрос с сотрудником был решен, а рабочий день уже начинался.—Какое «но»? Все-таки волнуетесь, где после Дании работать будете? Так не волнуйтесь. Мне неделю назад предложили на Российскую Академию Структурных Проблем пойти. Считайте, что вас стол уже там ждет. Вы сколько у нас получали? Две? Ну, там, думаю, будет побольше...

— Спасибо, конечно,— он продолжал мямлить, курил и чувствовал, что уже начинает раздражать начальство затягиванием разговора, но сказать надо было обязательно, потому что в Дании, а после приезда тем более, может оказаться поздно, места в этой блатной Академии расхватывают старые дружки и новые союзники Феде.— Конечно, за предложение спасибо, Федор Владимирович, я с удовольствием... Но есть еще тут, понимаете, кое-кто из сотрудников, с кем я связан... по темам и вообще... хотелось бы как-то помочь, если будет, конечно, возможность... я понимаю, но...

— Кто?— Плотников спросил резко, уже не поднимая головы от чтения и опять раскуривая, третью за пятнадцать минут, трубку, сколько ж у него только на «амфору» уходит, да и не мальчик уже — так садить...—Кто именно?

— Ну... вот, например...— он уже совсем стал глотать слова, но тут Плотников поднял на него глаза, и опять эти голубые яркие глаза оказались бандитски веселыми, и он почувствовал, что может сказать прямо, как младший сообщник,— ...она ведь специалист первоклассный и будет очень полезна, и уже имя сделала, а я берусь ей помочь тему сформулировать... в общем...

— В общем, берем вашего специалиста,— все же

Плотников был хорош: не подмигнул, не выделил «вашего», даже глаза погасил и снова ткнулся в бумаги. — Берем. И для дела действительно будет польза, она баба толковая. Все? Давайте, скажите Вале, чтобы оформляла вас, а увидите Вельтмана и Кравцова — пошлите ко мне. Пока.

Днем они ехали в метро и, как всегда по дороге к нему, длинно и ожесточенно ссорились. Она упрекала его, что согласился на эту дрянную, холуйскую — так и сказала, «холуйскую» — датскую поездку, он пытался сначала отвечать спокойно и шадя, потом все же не утерпел: «Да срал я на эту Данию! Да если б... если бы я не согласился, как бы я с ним насчет тебя заговорил? Ты, между прочим, еще месяц назад в Барселону оформилась, тоже коллоквиум тот еще, да и не по твоей теме, но ведь не отказалась же, чтобы нам на неделю не разлучаться?» Она побелела, заговорила тихо, и он услышал уже настоящую ненависть в этих тихих словах: «Знаешь же, зачем я согласилась!.. Знаешь же, что я из дому бегу, чтобы не сорваться... Из-за тебя же... А ты, значит, за меня ходатайствуешь? Ну, спасибо. Счет приготовил? Оплатить?» На это он уже и ответить не смог, задохнулся. Замолчали до самой «Преображенки». Там он взял ее на перроне за плечи, повернул к себе: «Ну, успокойся...» «Я спокойна.» «Успокойся, успокойся... Я тебя люблю, ты же знаешь... Ты бываешь несправедлива... И очень обижаешь. Ну, какой же из меня холуй? Ты же сама все понимаешь... Съезжу я, потом ты, потом вернемся, и все будет нормально, будем вместе, снова будем ходить по одному коридору в этой идиотской Академии, все будет нормально, моя любимая, моя маленькая...»

В прихожей они постояли немного, глядя друг на друга молча. Собака суетилась вокруг них, часто перебирая кривыми крепкими ногами, с усилием задирая на расстроенных друзей длинную грустную рожу, наконец не выдержала: потопала в комнату, влезла на диван с так и не убранной постелью и улеглась, вытянувшись длинным рыжим телом по краю измятой простыни, приглашая последовать откровенному ее примеру. И они засмеялись, и прямо в прихожей она стала стягивать узкую юбку через туфли. И ушла в ванную в темных колготках и широкой, вроде мужской рубашки, черной блузке, и он спешил, почему-то стоя

сдирая джинсы и носки, отстегивая царапающиеся часы, и когда она вышла, уже был готов, и собака, как обычно, реагировала на каждый ее стон тихим взвизгом, они уже привыкли к этой амура труа, и была секунда, когда он, изогнувшись, оглянулся и увидел, что она гладит таксу, прижимая ее к чуть свалившейся вбок груди, гладит, гладит, но тут он отвернулся и снова увидел перед собой ее ноги, пальцы, сведенные, будто судорогой, тонкую голубую сетку сосудов на внутренней стороне бедра, коротко, к лету, стриженные рыжевато-русые волосы, почувствовал становящийся все резче запах, почувствовал, как все жестче смыкаются на нем ее губы — и, подброшенный ее и своей одновременной спазмой, закрыв глаза, оскалившись, теряя сознание, но осторожно, чтобы не задеть собаку, упал рядом, перевернулся на спину и прикрыл лицо согнутой в локте рукой.

Когда-нибудь собака умрет, подумал он, тогда и мне придет черед. Лучше всего было бы умереть вот так. Но это бессовестно. У нее будут жуткие неприятности, да к тому же и описано у какого-то из модных, так что пошлость, поэтому хорошо бы умереть после ее очередного ухода, отпустить одну, отговорившись чем-нибудь, чтобы не провожать до метро, потом обязательно одеться, убрать постель, достать бутылку, хорошо бы Jack Daniels, он берет круче всего, налить, повалившись опять на диван, выпить глотком, налить сразу снова... и так, пока не разлетится в куски задняя стенка, перед этим будет сильный испуг, но надо его преодолеть, и выпить еще, и успеть поставить на пол бутылку, а остаток в стакане выльется на лицо и грудь, найдут дня через три, но это все же будет лучше, чем от цирроза в Боткинской...

В этот раз он проводил ее до пересадки в центре. Они стояли на эскалаторе обнявшись, вдруг она начала белеть, глаза застыли, он оглянулся, проследив ее взгляд, и на встречном эскалаторе увидел человека с сильно выраженным татарским типом лица, скуластого, ярко-кареглазого, с длинными по старой моде висячими усами.

Это был ее муж.

Три года назад, еще в самом начале, он допрашивал ее: «Ну что, что тебя с ним связывает? Почему он так подчинил

тебя, так влияет на тебя до сих пор? Ведь уже ясно, ничего не представляет собой, одна имитация всего — и значительности, и таланта, и силы, все ушло, если и было когда-то... В чем же дело?» Она молчала, начинала тихо плакать, однажды наконец ответила: «Не знаю... он очень плохой, очень, а я покоряюсь плохому, у меня тяга... не знаю, наверное, поэтому...»

Теперь, на эскалаторе, она стояла совершенно белая, закусив нижнюю, все еще по-молодому гладкую губу. Доехали до верха, протиснулись по переходу, он вместе с ней сел в ее поезд — и она наконец заговорила. «Когда выяснилось, — голос ее прервался, она прокашлялась, — когда стало окончательно ясно, что детей нет из-за него, я пообещала ему... поклялась даже, что никогда не уйду. Вот в чем все дело, все его влияние: он мой обет...»

В поезде было битком, их толкали, то прижимая друг к другу, то разводя, а он думал, что вот сегодня все и сошлось, и ничего не поделаешь, потому что ее детский идеализм, и сентиментальность, и книжные выдумки — это такая же реальность, как подступающая безработица, заботы о деньгах, и со всем этим надо жить, а время для последнего стакана еще не пришло, а когда придет, то его не распознаешь, потому что будут новые реальные заботы.

Впрочем, мой последний стакан — романная чепуха еще почище ее клятвы, подумал он. Бледность уходила из ее лица, он смотрел на нее поверх чьих-то голов и плечей и понимал только одно: почему-то эта женщина оказалась единственным, что есть настоящего в его жизни.

* * *

А следующий день начался так, будто ничего накануне и не случилось.

Это была одна из поздно постигнутых им мудростей, одно из достижений его невероятно затянувшегося взросления: то, что сегодня кажется катастрофой или счастьем, завтра становится просто вчерашним днем. Однажды он поделился этой мудростью с нею, она тут же привела кучу книжных подтверждений, от античных до «серебряного века», а в конце концов засмеялась: «Стоило же рассуждать серьезным мыслителям, чтобы додуматься вдвоем, что утро

вечера мудренее!» Иногда — не часто, вообще-то она была больше склонна к патетике — ее посещало ироническое настроение, он ее редкими шутками восхищался, они всегда были резче и точнее, чем обычный треп институтских среднеарифметических остряков «под Жванецкого».

Вот и это утро оказалось много разумнее вечера накануне, когда он сидел на кухне, дожимал бутылку-под вечерние «Новости» и «Вести», переключая с канала на канал, под танки и автоматы, неразличимо одинаковые в Хорватии и Осетии, под биржевую рекламу утробным хамским голосом, наконец, полночный концерт домодельного пэтэушного рэпа... Бутылка пустела довольно быстро, вызывая мимолетное сожаление о шестнадцати долларах и медленно нарастающее тепло отчаяния, уют безнадежности. Татарское лицо плыло над поручнями эскалатора, медленно поворачиваясь плоским фасом. Он никак не мог понять, что именно рухнуло из-за того, что их засекли, но что-то рухнуло, это было очевидно. И дело было не в практической стороне, в конце концов, они вместе работают, и ничего нет такого уж страшного, если сослуживец слегка приобнимет даму за плечи, чтобы поддержать ее на эскалаторе, провожая до пересадки и обсуждая весьма серьезную институтскую ситуацию, а выражение лиц с другого эскалатора особенно и не разглядишь, и ведь, если уж на то пошло, в метро в центре, а не в постели попались, и не в поцелуе... Но все равно было плохо, и наконец он начал понимать, почему: они оказались под взглядом, не стало тайны, муж влез в их любовь, и теперь они уже никогда не останутся вдвоем, никогда, никогда... Он заплакал.

Утром же он обнаружил себя на диване, вполне раздетым и даже укрытым, одежда была аккуратно сложена на кресло, но как он сюда попал, оставалось неизвестным. Собака, естественно, спала рядом, по-старушечьи, по-своему: на боку, сунув передние лапы под горестную во сне морду, лежащую на подушке. Когда он встал, она даже не пошевелилась, это давало свободу для необходимых действий до утренней прогулки. Печень вела себя адекватно, справа под ребрами ворочался ее мощный угловатый кулак. В кухне все оказалось тоже в порядке: телевизор выключен, бутылка с оставшейся четвертью соломенно-желтого содержимого за-

крыта, стакан и тарелка в мойке, остатки ветчины в холодильнике... Можно было начинать процесс реанимации.

Стоя сначала под очень горячим душем, потом под очень холодным и снова под горячим, он вдруг заметил, что уже совсем не думает о вчерашнем — ни о встрече с «нашим мужем», ни о закрытии Института, ни о предчувствии смерти, ни о поездке в Данию. Думал же он — убирая бутылку Four roses (в последнее время полюбил больше бурбон, чем скотч), бреясь почти бесшумным Braun, надевая Levi's, шелковую рубашку, полотняный пиджак, натягивая прочные, на толстой кожаной подошве ботинки Lloyd с выстроченным носом, пристегивая к ошейнику собаки поводок-рулетку — думал именно обо всем этом, пришедшем в его жизнь быстро, за последние год-два, и незаметно ставшем обычным, нормальным обрамлением существования. Теперь у него было все, что казалось еще совсем недавно совершенно недостижимым, да уже и не очень нужным, а лет пятнадцать назад — еще более недостижимым, но невообразимо, почти единственно желанным. Было немного стыдно признаться даже самому себе, но когда уезжала Лелька, и уже был оформлен развод, и уже все успокоилось, пришлось уйти из университета, но это оказалось только к лучшему, и общие знакомые уже отпереживали — он часто ловил себя на мысли, что теперь иногда можно будет оттуда что-нибудь получить. Ну, там, пару джинсов раз в год, рубаху... Смешно. Самое смешное, что некоторое время и получал, особенно пока был без работы, и даже продавал тогда кое-что... Потом Лелька замолчала, исчезла где-то не то в Австралии, не то в Германии. Может, и правда — вышла замуж, и не до отправки штанов бывшему мужу стало... Потом появились одновременно и работа, и собака — странно, оба так хотели таксу, пока жили вместе, а завел он ее сам, мирясь с неудобствами, — упрасывая перед каждой поездкой кого-нибудь из знакомых передержать бедную псину недельку-другую. И начались эти самые поездки, и появились тряпки, и сам Плотников теперь иногда косился на его галстуки и пиджаки с замшевыми — как подобает кабинетному ученому — налокотниками, и обнаружили в Москве магазины, где за доллары давали быстро полюбившееся утешение души и гибель печени: соломенный в трехгранных бутылках

Glenfiddich, рыжий в пузатых Chivas Regal, болотно-желтый в квадратных Ballantine's, стандартный Johnny Walker и Teacher's, верную учительскую горькую.

«Пойдем, Лелька», — сказал он. Собака суетливо побежала в лифт, сползла, стекла по ступенькам подъезда и тут же раскорячилась, виновато оглядываясь на него: извини, едва дотерпела. «Сука ты, Лелька», — вздохнул он, порадовавшись, что по раннему времени не встретился никто из соседей. Как всегда с похмелья, его подняло в пять...

Потом уже все закрутилось обычной спешкой: убежавший кофе, геркулес для собаки, никак не желавший довариваться, поцелуй в ее вымазанную кашей и жирным бульоном рожу, подсевший и едва срабатывавший аккумулятор перекупленного (за полторы штуки зеленых у соседа, отбывавшего к новому месту дипломатической службы милого нигерийца) горбатого «фольксвагена», любимого с давних платонических времен красного «жука», предмета и тихой, и открытой зависти не столь разъездных коллег. Все были уверены, что он машину привез из той долгой, на семестр, поездки во Франкфурт, а он их не разубеждал.

Тогда он мог привезти не то что такую железку, но и божество советского человека — «мерседес», и даже синий «ягуар», на который он как-то облизывался на тамошней автомобильной барахолке, всего восьмилетний jaguar-«sovereign», мечта пижонских времен... А не привез ничего.

На коктейле в издательстве Курт подвел его к маленькой, круглой, пышноволодой и пышноплечей блондиночке, в которой он сразу же, — несмотря на вполне приличную и даже не слишком переполненную блестками и бантиками, вполне европейского университетского стиля одежду, — распознал соотечественницу и коллегу. Может, по не свойственному местным интеллектуалкам, феминисткам, социалисткам и, следовательно, лахудрам женскому сиянию в глазах, широко открывшихся навстречу мужчинам... Курт хохотал, находя необыкновенно смешным, что он здесь, в Германии, знакомит москвичей, и даже коллег, а она раскрыла глаза еще шире: а, так вы и есть тот самый?.. я так рада, а то все не было случая познакомиться, когда вы пришли к нам работать, я была в Штатах, а когда вернулась, вы уже сюда оформились... много слышала, всег-

да читала, это ж настоящий класс — то, что вы делаете по героям и прототипам... да, всего на неделю, на эту конференцию, вон там все наши стоят, видите?..

Через полчаса они ушли вместе. Она жила в шикарной, огромной и скучной гостинице «Ramada». Как все отели этой сети, франкфуртский стоял на полдороге к аэропорту, у черта на рогах. Прежде чем ловить такси, они зашли в маленькую пивную, взяли почему-то только кофе (потом выяснилось, что она стеснялась вводить его в расход), посидели... Вышли, двинулись в сторону вокзала по широкой и все более грязной улице. Заведения с видеороликами по пять марок уже начинали закрываться. Из дискотеки вместе с музыкой вырвались буйные мальчишки и, никого не трогая, скрылись в переулке. Он поймал ее взгляд: она смотрела на витрину life show, глаза ее плыли... Тогда он поднял руку перед медленно едущим вдоль тротуара такси, почти втокнул ее в глубину заднего сиденья, сам сел рядом и сказал шоферу: «Отель «Ам Берг», битте», — и тут же обнял ее, подложил руку на широкое, теплое под тонкими брюками колено, тихо сказал, глядя перед собой, будто продолжая обращаться к шоферу: «Самое лучшее состояние — это предчувствие любви, впадание в любовь. Вам приходилось это замечать или вы живете спокойно?» «Куда мы сейчас?» — спросила она. «Ну, не к нашим же коллегам», — ответил он.

Они пересекли реку, проехали под путепроводом и повернули к его маленькому семейному пансиону, за который платили университет и издательство на паях. Он отпер дверь своим ключом и вошел первым. В холле было полутемно, из дальней комнаты хозяйки был слышен плохо поставленный студийный смех — передавали телевикторину. Гигантская альпийская овчарка Ласт подняла голову, посмотрела внимательно. «Ласт, Ласт, шоне Хунде», — сказал он вполголоса, одновременно поворачиваясь к ней и показывая, чтобы она вошла и сразу поднималась по лестнице. Он двинулся за ней. Лестница отчаянно заскрипела. Хозяйка появилась в холле, когда она уже скрылась за поворотом лестницы, он изо всех сил наступил на скрипучую ступеньку и улыбнулся, насколько растянулись губы: «Ен-шульдиген, фрау Хелен...»

Она так бесчинствовала в постели, что он ничего не понял, — то ли настолько оголодала за эти два дня вне дома, то ли действительно мгновенная страсть... Он тогда не сразу въехал в то безумие, которое три года после этого терзало и терзает их обоих. Только в четыре утра, когда она уже стала собираться, чтобы успеть выйти из своего номера к завтраку с группой, достало и его. Он пересек свой гигантский, почему-то с тремя кроватями, номер и вошел к ней в ванную. Она уже вытиралась, стоя на мокрой подстилке, отражаясь в широком зеркале и одновременно, смутным контуром, в темно-синих кафельных стенах. В узком окне, пересеченном полосками поворотных жалюзи, горело только что поднявшееся солнце. Он прижал ее к кафелю, она поставила одну ногу на край ванной, он подогнул колени — и тут почувствовал, что происходит нечто большее обычной первой ночи. «Я тебя люблю», — сказал он и услышал, что он действительно признается в любви. «И я тебя люблю», — сказала она, ее голос прерывался, потому что, не давая ей говорить, он вдавливал и вдавливал ее в кафельную стену, сжимая все сильнее слишком широкие и полные для ее роста плечи, приподнимая ее от пола, ее груди вздрагивали, она не успела вытереться, и на самых их вершинах, на желто-розовых всхолмиях, почему-то напоминавших мелкие парковые грибы, дрожали прозрачные капли, и вдруг одна такая капля перешла к нему, застряв в волосах под крестиком.

Наконец проклятый «жук» завелся; и уже через пять минут он ехал по Красносельской, перестраиваясь к повороту у Трех вокзалов.

* * *

Весь день его донимали сотрудники. Первым пришел Кравцов, сунул руку дощечкой, пролетарской своей манерой, и заговорил, по обыкновению, не совсем внятно, но многозначительно.

— Значит, едем, старый? Ну, нормально... Ты, вообще, молодец, не даешь Феде на голову срать. Поедем, погудим немного. Ты «абсолют» любишь? Классная водка, скажи? Она, конечно, не датская, а шведская, но там ее везде навалом, ептмать. А сигареты у них «Принц», дорогие, конечно, блин, но очень хорошие, сухие такие и без послевкусия, как

раз крепкие, как ты любишь... Но ты даешь! Значит, едем? Так ты тогда к Феде зайди, объясни: Кравцов, значит, едет тоже, заходил ко мне, поговорили, все обсудили... Ты же понимаешь? Могут же быть проблемы, а меня там и в посольстве, ептмать, все знают, и в торгпредстве особенно, думаешь, там все новые? Да там Колька Семаков уже второй срок сидит, ептмать, и еще будет сидеть, ты ж меня понимаешь? Приёмственность же нужна...

Он исчез, как появился: краснорожий, с непроходящего похмелья, в старомодном, но некогда английском пиджачочке, с драной сумкой «Aeroflot» через плечо. Так и сказал: «приёмственность»... Вроде бы кандидат наук. Чем он занимается в Институте, никто сказать не может, но все догадываются. И как сидел он у Феде подолгу раньше, так и последний год сидит. И как брал его Федя раньше с собой время от времени то в Англию, то в Испанию, так и теперь берет... Какая ж еще «приёмственность»? Черт знает что.

Он позвонил ей. «Привет, это я». «А, привет, привет! Ну, что слышно?» Веселый тон, оживленный. «Ты не одна, говорить не можешь?» «Ну конечно, а ты как думал? Лучше ты расскажи. Что нового? Все хорошо?» Он понимал, что иначе она говорить не может, но терпеть этот тон был не в состоянии. Какое, к хренам, «хорошо»? А, чтоб оно все... «Ты когда будешь одна? Я перезвоню...» Договорились в три созвониться и пойти вместе в буфет. Время от времени они позволяли себе это для естественности, ведь коллеги же. Да в последнее время многие в Институте уже почти и демаскировали их, так что оставалось просто соблюдать приличия и не обниматься на людях, а все остальное сослуживцы терпели...

Но в три ему пришлось позвонить и сказать, что обедать пойти не сможет. В три у него сидел Юра Вельтман, продолжая уже час с восторженной и бессмысленной улыбкой твердить о Королевской Библиотеке, куда надо будет обязательно свалить с этой дурацкой конференции.

— И еще я тебе Русалочку покажу, — говорил Юра в десятый раз и в десятый же раз начинал описывать копенгагенскую Русалочку. Он был в Дании по крайней мере трижды, но, кроме Королевской Библиотеки и увиденной в первой же экскурсии Русалочки, которую все остальные раз

сто видели по телевизору, никаких впечатлений не вывел. Юра был необыкновенно в житейском смысле глупый и безукоризненно честный человек — и при этом действительно талантливый ученый. Больше всего на свете он любил рассказывать старые еврейские анекдоты и начинал смеяться за минуту до конца рассказа.

Юра еще оставался в комнате, когда вошел Сережка Гречихин.

— Я на минутку, — сказал он, не дав договорить Юре про Русалочку и ее похищенную голову, взял стул, с которого Юра только что поднялся, прочно сел и, едва закрылась за Вельтманом дверь, приблизил серьезное лицо, глянул сумрачно поверх съехавших модных очков в желтой металлической оправе и спросил тихо:

— Ты только скажи мне откровенно, мы ж с тобой друзья... Мой сектор закрывают? Я здесь больше не нужен?

Вопрос был настолько неожиданным и в теперешней ситуации нелепым, что он засмеялся.

— Что значит — твой сектор закрывают? Ты же читал приказ? Весь Институт закрывают...

— Только не надо... — Сережка хитро усмехнулся. — Мы ж не дети. Ты и сам отлично понимаешь, что такие вещи без цели не делаются. «Ликвидируется...» Гречихин, конечно, не гений, но на два шага вперед считать умеет. Сейчас закроют Институт, меня с сектором на улицу, а потом откроют... А я уже ни при чем. Так? Ты ж с начальством говорил... Так?

— Да что откроют-то? — не выдержав, заорал он. — И при чем здесь, действительно, ты? Институт закрывают, понимаешь? Весь Институт. И о чем это, по-твоему, я говорил с начальством? О твоей судьбе? Ей-Богу, Сережка, ты совсем...

Он хотел сказать «с ума сошел», но вовремя поймал себя за язык. Десять лет назад Гречихин действительно отбыл в психушке пару месяцев с каким-то сильным срывом, и с тех пор во всем происходящем видел постоянную интригу, направленную на изживание его из Института, как психа.

— Я-то совсем... — сумрачно вздохнул Гречихин. — Тебе-то видней... В Данию, говоришь? Ну, давайте, езжайте...

Только я не понимаю, что вы собираетесь хоть в Дании, хоть в Академии делать без сектора статистики...

И вышел.

Он было подумал, что не так уж Сережка и безумен, что-то промелькнуло в его словах, что как-то связалось и со вчерашним разговором с Федей, и с утренней галиматьей Кравцова. Академия... Дания...

Но закончить мысль он не успел, потому что вошла Елена Всеволодовна Шаховская. Из отдела истории движений. И из тех Шаховских.

— Добрый день, — сказала она с повышающейся интонацией классной дамы, и это прозвучало таким контрастом с сумрачным бредом Сережки, что он снова засмеялся.

— Я сказала что-нибудь комическое? — поинтересовалась Елена Всеволодовна и, не дав ему извиниться, продолжала: — Думаю, что положение не такое уж забавное. Я понимаю, что в ваших беседах с Федором Владимировичем вам не до мелких проблем нашего отдела, но я хотела бы, чтобы вы с Плотниковым имели в виду: я могу уйти в любую минуту, для этого не надо закрывать Институт, я, простите, уже в таком возрасте...

Тут он все же перебил:

— Ну, о каком возрасте вы говорите, Елена Всеволодовна...

— О своем, благодарю вас, — перебить ее было невозможно. — В любом случае я бы хотела, чтобы руководство имело в виду: отдел истории движений будет необходим и в Академии, или как там теперь будет называться эта организация, в которую нас преобразуют. К тому же, вы должны учесть, что в отделе три женщины, на руках у которых семьи. У Катеньки больной отец, она одна...

Он опять сделал попытку перебить ее:

— Что значит «преобразуют»? Я слышал, что Федя, действительно, идет на какую-то Структурную Академию, черт ее знает, но при чем здесь Институт? Институт закрывают, нет денег, вот и все. И, опять же, при чем здесь я? С каких пор ко мне ходят с проблемами, которые по чину только директору? Ей-Богу, Елена Всеволодовна, это какая-то чушь. Я могу, конечно, поговорить с Федей... с Плотниковым, но это ничего не значит...

— Значит, — сказала Шаховская. — Вот вам он Федя, а мне Федор Владимирович. И иногда мне еще хочется называть его «товарищ Плотников». Не отвыкла...

Качнувшись в дверях тенью — ходила всегда во всем сером — старая княжна вышла.

Был уже пятый час. Можно, конечно, просто заглянуть к ней, поздороваться и потрепаться с ее девочками-аспирантками, дожидаться, пока они деликатно испарятся, и поговорить полчаса, узнать, что же у нее было дома вчера. Сама не звонит... Что это значит?

Телефон зазвонил.

— Это Валя, — сказала трубка. — Федор Владимирович просит зайти.

Там уже сидели Вельтман и Кравцов, и, кроме них, тоже знакомый ему человек, Алексей Петрович Журавский, член-корр, правительственный советник, знаменитость, независимый и достойный человек, остававшийся в вольной оппозиции интеллектуала к любой власти. Все курили.

— Вот, — сказал Плотников, перебираясь из-за письменного к длинному столу, за которым остальные уже устроились, — вот мы решили и Алексея Петровича с нами вытащить. Там в приглашении написано, оказывается, четверо, кроме меня. Хорошая компания собирается, а? Сейчас прикинем, кто с каким сообщением выступит... Идет?

— Когда летим, Федя? — спросил Журавский. Плотников довольно поспешно бросился к календарю, полистал:

— Десятого, Леша, десятого, — и почему-то добавил: — так что до двенадцатого еще два с лишним месяца...

Не совсем поняв смысл и вопроса, и ответа, кивнув всем, он присел к концу стола, тоже закурил. Между тем, Журавский продолжал:

— Я потому спрашиваю, что, ты ж понимаешь, Федя, сообщения сообщениями, дело хорошее, а к июлю мы должны все успеть...

Тут он замолчал и взглянул в его сторону. Неожиданно заговорил Кравцов, которому в таком обществе полагалось бы молчать и молчать. И заговорил на удивление связно:

— Алексей Петрович, вы извините, только для нас все-таки очень важно сообщения обсудить. Вам с Федор

Владимирычем, конечно, это раз плюнуть, эти там каждое ваше слово будут ловить, Юре, может, тоже, а нам...— Кравцов глянул на него, как бы ставя его и свои возможности на одну доску, — ...нам все же ответственно, международная же тусовка, что ни говори...

Журавский молча пожал плечами, а Федя, будто только и ждал от Кравцова указаний, немедленно начал быстро и, как всегда, необыкновенно толково распределять роли. С основным докладом выступит, конечно, Леша, тут все ясно, вы, Юра, изложите им попроще вашу последнюю статью, ну, ту, что в сборнике должна была выйти, да не забудьте сказать, что она уже взята на депонирование, а то сдерут, за ними не заржавеет, а вы, пожалуй, расскажите им коротко ту вашу главу из книги, где вы принцип добавочности имен и портретов героев и прототипов формулируете, не знаю, поймут ли, но слушать будут с открытым ртом... Ну, а мы с Сашей сделаем общее, что-нибудь по новым методикам в организации комплексных исследований структур, а?..

Вышли вместе с Вельтманом. В приемной Юра немедленно продолжил свой рассказ о Русалочке:

— И ты знаешь, что интересно: она совсем маленькая! Вообще-то дамы там будь здоров, крупные... Кстати, ты слышал, как мужик пятьдесят седьмой размер бюстгалтера покупал?

Тут Юра залился младенческим смехом, и он, воспользовавшись этим, быстро ответил: «Слышал, слышал, ему говорят, не бывает, а он говорит, как это не бывает, я сам шляпой мерил...» — и смылся.

Странная вся эта история, думал он, сидя у себя и одновременно соображая, ушла она уже или нет, и если ушла, то обиделась ли, что он так и не нашел за день времени встретиться и поговорить... И чем все же кончился у нее дома вчерашний вечер?.. Голос по телефону был веселый, но это ничего не значит, там полная комната девок, не считая двух пенсионеров-отставников... Позвонить?

— А она только что ушла, — радостно ответил один из отставников, узнав, естественно, его голос. Но тут же придал тону солидность и академическую корректность: — Если угодно, я что-нибудь передам? Оставлю на завтра записочку?

Он молча бросил трубку и кинулся к лифту — на выходе можно перехватить. Увидел, как она сбегает по длинному и широкому маршу, по выщербленным мраморным ступеням некогда шикарного вестибюля, хотел догнать — и вдруг почему-то остановился. Она с усилием толкнула высокую, тяжелую дверь, вышла. Он ссыпался по лестнице, стал у бокового окна, за занавеской. Что-то заставило его стать так...

Внизу, у подъезда, прислонясь к своей старенькой «шестерке», ее ждал муж. Вот она вышла... Сбежала с крыльца, знаменитого институтского крыльца с маленькими женогрудыми львами... Муж обнял ее, даже похлопал слегка по спине, по широкой ее, слишком широкой спине... Она вся прижалась, потянулась вверх, подняла лицо... Это она умеет.

Потом семья села в машину и уехала.

Странная, очень странная история, думал он, дожидаясь вечно занятого лифта, поднимаясь на свой этаж, запираясь в комнате, чтобы не влез кто-нибудь из тоскливо шатающихся после рабочего дня сослуживцев, закуривая — страннейшая история. Чем же так взял Федю Сашка Кравцов, маленький стукач, полуграмотный и нетрезвый? И что имел в виду Журавский, особо интересуюсь, успеют ли они что-то сделать до двенадцатого июля? И почему все считают, что Академия, руководить которой идет Плотников — это не что иное, как Институт же, только как-то преобразованный? И какая во всем этом есть связь, какая-то есть, но какая? И, в конце концов, что ему за дело до всего этого?!

По-настоящему интересно было только одно: как они вчера объяснялись с мужем, лежа? Или, может, сначала долго выясняли отношения, сидя над недоеденным ужином на кухне?

Она уже была дома, и даже успела приготовить неплохую версию, когда пришел муж, втащил новый аккумулятор, за которым, оказывается, и ездил в метро. Она усмехнулась про себя — все из-за аккумуляторов: они поехали в метро, потому что сел аккумулятор его «жука», муж поехал в метро, потому что наконец достал аккумулятор для своей развалюхи... Они все живут с подсевшей энергетикой, поду-

мала она, машины и мужчины среднего возраста, подумала она, и, кажется, только я их подзаряжаю, маленькая передвижная зарядная станция, вполне еще исправно действующая для своих сорока...

Муж повозился в прихожей, примащивая грязный железный ящик, прошел на кухню, привычно поцеловал ее, стоящую у плиты, в затылок. Не оборачиваясь, она повела плечами, поджала кожу сзади на шее — отчасти имитация удовольствия, отчасти ей это и действительно было всегда приятно, независимо ни от чего — чувствительное место...

— Этот, который ехал с тобой в метро, как его... — начал муж, она тут же, но не суетливо, перебила:

— А, этот... Представляешь, повезло: выхожу из Института и на лестнице каблук — раз! Все, под корень... И тут он. Тоже крутился, машина не заводилась, у него какая-то западная, привез, говорят. Слава Богу! Уже поздно, никого нет, так хоть помог до пересадки доехать... Зато всю дорогу о своих успехах рассказывал, о том, как его во все университеты мира зовут, а он отказывается...

— Ага, — безразлично сказал муж. — А правда, что он в Данию через неделю едет с вашим Плотниковым и с Журавским? Я сегодня слышал...

Она сориентировалась мгновенно. Уж если муж в своем Центре, ото всех на отшибе, успел об этом узнать, то вполне естественно, что по дороге, в метро, и она услышала эту новость из первых уст, тем более, что она как раз описала его хвастовство. Но при чем здесь Журавский? Этого еще не хватало... Что про Журавского-то может быть известно?..

— Что-то такое он говорил, — она, отвечая, снимала чайник, переставляла сковородку с картошкой, доставала из холодильника масло, вся эта суета позволяла говорить медленно, с паузами, прислушиваясь не то что к реакции, а даже к намерениям мужа реагировать. — Что-то говорил... Какая-то конференция. Еще, кажется, Вельтман едет и этот наш... Кравцов. А Журавский тут при чем? Это разве его уровень? И, по-моему, он Журавского не называл, а то уж обязательно сказал бы — мол, мы с Лешей Журавским...

Ей стало горячо от стыда. Это было предательство — так говорить о нем, высмеивая ему почти несвойственное хвастовство, а если и свойственное в малой мере, то об этом

известно только им, и только они вдвоем, вместе над этим могут посмеяться, и говорить так о нем с кем бы то ни было, а тем более с мужем — это предательство, это...

Хватит, сказала она себе, раскладывая по тарелкам картошку, вытряхивая из банки капусту, скатывая с маленькой сковороды по котлете, хватит терзаться. Нас засекли, и надо выкручиваться, и что бы для этого ни пришлось сказать или сделать — все можно. Потому что это ради нас, ради нашей возможности видаться, потому что это жизнь, а я в этой жизни — передвижная зарядная станция для по крайней мере двоих мужчин среднего возраста. По крайней мере, двоих.

Она постелила себе постель, как обычно, рассчитывая, что муж будет допоздна смотреть телевизор, в ожидании ночных новостей ITN — в маленькой комнате на узком диванчике, оставшемся еще от свекрови, и уже приготовила себе ночное чтение, скопившиеся за пару дней газеты и реферат, присланный на отзыв из Томска, когда зашел муж. Сел в кресло, взял с полу «Новости». Быстро всунувшись в ночную рубашку, она влезла под одеяло. Муж полистал газету, бросил... И спросил своим обыкновенным невыразительно-спокойным тоном:

— Он тебя обнимал там, в метро... У вас что, такие теплые отношения в Институте? Может, я отдам ему свой новый аккумулятор, чтобы он тебя отвозил после работы?

— Аккумулятор?! — она переспросила и уже за этот миг нашлась: засмеялась отчаянно, своим всегда безукоризненно действующим смехом со всхлипами, засмеялась, будто предложение мужа отдать аккумулятор любовнику было невероятно остроумно. — Аккумулятор? Ну, и ты будешь отдавать аккумулятор любому случайному попутчику, решившему в удобную минуту поухаживать за твоей женой? По-моему, аккумулятор теперь для вашего брата слишком большая ценность...

Она откинула одеяло. Рубашка, как и следовало ожидать, взлезла вверх почти до пояса. Муж встал, перегнулся через нее, потянул за шнурок — погасил настенную лампу...

Одно, еще одно она смогла себя заставить — шептать ему в ухо: «Ты... ты же помнишь... все эти годы... навсегда...

ты же помнишь... ты...» Но сверх этих слов выдавить из себя хоть каплю она, конечно, не смогла, уже давно это стало невозможно. С тех самых пор, как восемь лет назад они вместе ходили по врачам. Тогда все и кончилось.

И она только повторяла: «Я с тобой... с тобой...», так и не сказав ни разу «люблю».

И когда он заскрипел зубами, захрипел, когда она почувствовала, с едва ощутимой судорогой брезгливости, постороннее, ненужное тепло в себе — от сердца наконец отлегло: на этот раз обошлось, они прокололись, но она, кажется, все уладила.

Наутро она вспомнила про Журавского. Этого еще не хватало... И звонить, спрашивать нельзя, он сразу почувствует заинтересованность, начнет допытываться. Ну ладно. Днем, наверное, он позвонит, можно будет вместе пойти в буфет и там как-нибудь навести разговор.

Но днем он звонил дважды, а встретиться так и не удалось — что-то у него происходило, и она не могла узнать, что именно. К концу дня позвонил муж и сказал, что заедет. Радовался новому аккумулятору...

Уже садясь в машину, она увидела его. Он стоял в вестибюле и наблюдал за ней из-за занавески бокового окна. Значит, он видел, как она подошла к мужу... Вечером, попозже, надо будет обязательно исхитриться и позвонить ему. Может, пойти к Ленке — соседке, забрать, допустим, юбку из переделки? И из автомата у ее подъезда... Только выбрать время, когда он уже точно вернется с собакой.

По дороге она рассказывала мужу о переполнявших Институт слухах насчет преобразования в Академию, о страхе сотрудников, опасющихся вылететь на улицу под предлогом закрытия Института, о невыносимо ухудшившихся из-за этих страхов отношениях и общей атмосфере. Муж кивал, хмыкал, усмеялся, а она думала только об одном — лгать, делать подлости, хоть воровать, хоть лечь под кого угодно, лишь бы сохранить отношения, лишь бы видеться каждый день, а дважды в неделю ехать через весь город в его уже родную, пыльную, набитую старым барахлом квартиру и освободиться от жизни, истекать жизнью под ним, на нем, и рядом, рядом с ним, прижимая одной рукой его, а другой — теплое гладкое тело собаки. Что

угодно, лишь бы это было всегда, и всегда был жив и благополучен он, с его дурацким барахлом, с пошлым представлением о мужественности, с хвастовством, с его бабьей любовью к тряпкам, с постыдным стремлением как бы ненароком подчеркнуть, какой дорогой подарок он ей привез в очередной раз... Даже с его тщательно скрываемой малограмотностью. Пусть он имитирует все — одно она знает твердо: любовь он не имитирует, он любит. Может, это первый из тех, кого она знала, такой: несерьезный во всем, кроме любви. Все до него были устроены наоборот.

И потому — что угодно. Только убить, пожалуй, она не сможет ради этого. Хотя... Кто его знает.

— А Журавский точно едет в Данию, мне сегодня еще раз сказали, — муж быстро покосился на нее. Они уже въезжали во двор.

Домой не хотелось, хотя было давно пора, у бедной Лельки уже мочевого пузырь лопается... Он сидел, курил, бессмысленно глядя на телефон. Набрал ее номер. Короткие гудки — наверное, муж сел звонить. Они там, в Центре, на службу почти не ходят, все решают по телефону, вечерами он говорит часа по полтора, а потом садится к телевизору — и до упора. Так, во всяком случае, она рассказывает. Набрал еще раз. Занято... Полез в стол, вытащил уже початую фляжку Southern Comfort, хорошо глотнул. Остановят — черт с ними, за доллар-другой отпустят... Снова набрал. Бип-бип-бип. Ну, чтоб ты задавился...

Кто-то подошел, дернул дверь. Он затаился — избави Боже кого-нибудь сейчас видеть, разговаривать. И тут же зазвонил телефон. Ответить? Получалось неловко — дверь не открывает, а по телефону говорит. Телефон замолчал, к счастью, быстро. За дверью потоптались, потом он услышал голос Кравцова:

— Ушел... Ну, хрен с ним. Хотя проблем с ним будет много, попомни, Федя, мои слова...

Что?! Это с каких же пор Плотников этому херу моржовому «Федя»? Странная история продолжается, продолжается... Телефон снова зазвонил. В коридоре чей-то голос ответил Кравцову, это не был голос Плотникова, но чей,

разобрать было невозможно — телефон все звонил, а когда, наконец, заткнулся, в коридоре прикуривали — чиркали зажигалкой, чмокали первой затяжкой... Потом тот же голос — да это же Журавский, вот это кто! — сказал:

— И еще раз тебе говорю, Федя: регистрация и открытие счета только полдела, а вот получить разрешение на трансфертные операции сложнее. Тем более, что в этом мы с тобой ни хера не смыслим. Так что вот на Сашу вся и надежда...

— Родина на тебя смотрит, Саша, — и смешок. Это уж Федор Владимирович. Потоптались, пошли...

Он кинулся к окну. Второй раз за этот день подсматривал он за выходящими из подъезда Института, только теперь с другой точки. Отсюда, с шестого этажа, все выглядели черточками с кружочком посередине — плечи и голова. И вылетающие снизу поочередно ноги, один башмак вперед, другой... Вот легкой побегом, раздувая, как Batman, полы плаща, летит к своей «девятке» Федя. Вот подруливает к ступенькам казенная черная «Волга» Журавского. А вот и неожиданный Кравцов обнаруживает еще одну неожиданность: пересекает улицу и открывает примостившийся на паркинге — кто бы подумал? — старенький, но вполне еще шикарный «вольво»-универсал, синий огромный station-vagon. Три года он работает здесь и три года видит этот фургон на стоянке, но и подозревать не мог, что принадлежит машина-то оборванцу Сашке!.. Все, разъехались.

Это странная, страннейшая история, опять твердил он мысленно, идя по коридору, поворачивая к лестнице, чтобы не ждать вечно занятый лифт. Где-то он слышал, что это значит — «трансфертные операции», но не мог вспомнить точно. И о какой регистрации, о каком счете они говорили? Может, Журавский хочет открыть там счет, как делают теперь все эти новые большие люди? И Федя тоже? Тогда становится понятно, зачем им Сашка — с его старыми гэбэшными связями, с «Колькой Семаковым, который два срока сидит» и с прочим со всем. Но нет... Какой-то не такой у них был разговор, не приватный, а скорее служебный.

Тут его мысли сбились, потому что он вспомнил, как звонил телефон, пока он сидел затаившись. Наверное,

решил он, это звонила она, дождалась, пока муж наговорился, и звякала просто так, узнать, в Институте он еще или поехал домой. Звякнет — и положит, звякнет — и положит, ведь она не может нормально говорить из дому, только когда муж выходит возиться с машиной. Жаль, что у них нет собаки, вечерняя прогулка с собакой дает возможность звонить из автомата. Впрочем, она бы не гуляла на своих выселках одна. И хорошо, что у них нет собаки, Лелька — наша общая собака, наша третья в любви... Но при чем же он-то ко всей этой истории с трансфертными операциями, счетами и тому подобным?..

Неожиданно для себя он направился к приемной — как раз спустился до второго этажа. Как и следовало ожидать, Валька была еще там. В закутке, где она готовила чай, сидела постоянная ее компаньонша, Галя из машбюро, а сама Валька была уже хороша: на столике стояла почти пустая бутылка «лимонной».

— Грустишь? — Валька обняла его за шею могучей рукой, прижалась. — Не грусти. Поедете с Фёдей, оттянетесь там с датчанками...

Он притиснул девушку покрепче, двинул ладонь по спине вниз, Валька деланно закатила глаза.

— Валюша, — сказал он, — Валюша, зайчик мой... А ты не покажешь мне наше приглашение? А то у меня тут сроки, дела...

Она не дослушала.

— Вон, в правом верхнем ящике возьми пакет. Только оно еще не переведено. Ты что, и по-датски сечешь?

— Секу, — он выдвинул ящик, взял конверт с прозрачным окошечком, вынул втрое сложенный листок. — Секу, Валюша, я по-всякому секу...

«Dear Sir... — прочел он. — ...the pleasant to invite you... your four colleags you can propose... Sincerely...»

Вверху, над обращением, стояла его фамилия.

— Ну, разобрал? — спросила Валька. — Или без поллитры не разобраться? Так давай дерни с Валечкой и Галечкой... Давай?

— Ты даже не представляешь, насколько ты права, — сказал он. — Тут и с поллитрой не разберешься. Только я не могу, девушки, не обижайтесь: ГАИ не велит...

В машине он пожалел, что оставил недопитый виски на работе: голова начала болеть до того нестерпимо, что он был готов, в самых худших традициях, глотнуть, стоя у очередного светофора. Нагнуться — и глотнуть... Благо, все равно уже темно.

Но выпить в машине было нечего. И головная боль постепенно перешла в звон, в ровный шум в ушах, будто загомонила в голове огромная толпа, голоса спешили, раздавались отдельные вскрики, и все громче, все быстрее... Это ему было знакомо еще с детства — такой шум в голове, начиналось всегда в тишине, когда сидел в комнате один, делал уроки, точнее, делал вид, что делает уроки, сунув в ящик стола «Трех товарищей». Смешно... Так и дожил, дурень, почти до старости по милой этой подростковой литературе. И все оттуда: и пьянство, и к женщине отношение, и к машине, и даже к тряпкам, если задуматься. Еще из «Черного обелиска», конечно, ну, и из «Жизни взаимы». На листочки развалившиеся издания конца пятидесятых — начала шестидесятых. И любовь — из «Фиесты», из «Кошки под дождем», из «Оружия»... Вот и вся культурно-психологическая подкладка ученого, заметного персоноведа и номенолога. А все остальное — флер, декорация, видимость, понт. И имя-то сделал, проследив совпадения биографии такого же на пустом месте модного автора и судеб его героев, назвав настоящие имена вполне еще живых прототипов, известных людей, и, конечно же, сразу ставши не менее скандально знаменитым, чем сам романист...

В голове стоял крик. В детстве помогало вскочить из-за стола, забегать по комнате, с пением, с выкрикиванием во весь голос: «Мо-она Лиса...» — под любимейшего Пэта Буна, с модуляциями. Из кухни приходила бабушка, с отчаянием смотрела на безумного мальчишку, редкие её белые кудерьки шевелились под ветром из открытого настежь, но затянутого марлей на кнопках окна, она стояла, малюсенькая, сухая, но крутобедрая, с хорошо выпрямленной в ее семьдесят лет спиной, и смотрела, как внук на глазах сходит с ума от чтения и бесконечного слушания этой идиотской американской музыки...

Ночи напролет, вплотную прислонясь ухом к матерчатому фасаду мавзолеоподобного приемника «Мир»...

Но в машине нельзя было вскочить, завопить, забегать, и крик нарастал, это больше всего было похоже на вопли политических психопатов, все еще собиравшихся у стендов некогда модной газеты, хотя чего уж кричать? Все давно ясно.

Он опустил полностью окно, чтобы шум снаружи заглушил этот базар в мозгах. Машины встали у светофора перед поворотом у Красных ворот. Все газовали, дикая вонь паршивого бензина и грохот убогих моторов действительно потеснили внутренний крик, но зато начало подташнивать от смрада и духоты. Был уже девятый час, а московская генна все дышала огнем. Застряли, похоже, надолго — наверное, кому-нибудь кто-то въехал в бок на повороте, теперь будут долго качать права, переть на сумрачно-важного гаишника... Он поглядел по сторонам. Рядом слева стояло такси, набитое черноголовыми, темнолицыми молодыми людьми — обтянутые небритые скулы, короткие прямые носы, темного огня глаза, сверканье золота во рту и на пальцах и, главное, куртки, кожаные куртки, турецкая всемирная кожа, спецодежда мелких гангстеров от Магадана до Кушки... Таксист смотрел прямо перед собой, с профессиональным безразличием пережидая непробиваемый затор — чтобы, как только двинется, уж рвануть по-настоящему, объезжая и справа, и слева, подрезая и проскакывая. Пассажиры его оживленно беседовали, сверкая яростными фиксами, он же привычно ждал движения и хорошей, деловой расплаты от опасных, ненавидимых, но денежных южных друзей. Знакомое у таксиста лицо, вот он обернулся, почувствовав, видно, взгляд...

Сашка Кравцов.

Сашка...

И подмигнул еще.

И тут же все загазовали отчаянно, заревели и двинулись, а такси, просочившись между троллейбусом и военным фургоном, сразу ушло далеко вперед.

Чего ж он из «вольво»-то пересел, чего ж Сашка пересел из «вольво», думал он сосредоточенно, пытаясь совершенно безнадежно догнать лживое такси, которое уже мелькнуло где-то под путепроводом и затерялось, конечно, в машинной толчее у Казанского, куда же Сашка «вольво»

девал, думал он неотступно... А, может, это и не такси было, а как раз Сашкин универсал? Да нет, вроде такси... Черт его знает, что делается в Москве в это предвечернее время, подумал он, вот как раз когда начинает темнеть, и пыльное желтое марево приобретает сизо-сиреневый оттенок, в самом начале лета особенно, подумал он, что угодно можно увидеть...

Проехал «Красносельскую» — и опять встал, что-то впереди мудрили с дорогой, ходили мужики в оранжевых жилетах на голое жилистое тело, бросали лопатами дымящийся гудрон, ехал задом наперед красный каток. За месяц четвертый раз здесь катают, как будто самый разбитый в городе асфальт нашли... Машины медленно объезжали огороженную поперечно-полосатыми конусами зону.

И тут он увидел новую новость: слева протискивался, пытаясь обойти его в узком проезде, лично Федор Владимирович Плотников. Сидел директор Института за рулем отнюдь не своей экспортной «девятки»-металлик, а в точно таком же, как у него, красном «жуке», и одет был невероятным для эlegantного академика образом: в пятнистую куртку афганского ветерана. Обходя конкурента, Федя рванул и, объезжая, перегнулся к правому открытому окну, крикнул — видно, чтобы загладить неловкость: «Эй, земля, где горбатого брал? Не в Мозамбике, случаем? Не интернационалист?»

Интересно, подумал он, взлетая на мост, куда это их несет? В гости к коллеге? Выпить-то у меня есть, но на таких гостей не хватит...

Они уже действительно стояли в его дворе, по-деревенски заросшем акацией и топольками, с кривыми лавками и доминошными столами, голубятнями и жестяными гробами гаражей. На лавках сидели вечные неразличимые старухи и кошки и рассматривали приехавших. Северокавказские молодцы стояли, прислонясь к такси, одинаково скрестив ноги в шелковых тренировочных штанах. Сашка Кравцов, как и положено не вмешивающемуся в разборку водиле, курил в кулак в сторонке. Плотников не вылез из «фольксвагена», сидел, постукивая по баранке тонкими кривоватыми пальцами, в быстро наступающих поздних сумерках блестело граненое обручальное кольцо.

Выйдя из машины, он аккуратно ее запер, снял и сунул под мышку щетки и прошел мимо знакомых, не глядя.

Когда он спустился через пять минут с Лелькой, все были на тех же местах, но смотрели не на него, а на въезд во двор. Оттуда, тяжело поворачиваясь, вползало под низкие ветки дворовых зарослей светло-серое тело одного из недавно появившихся в обновленной столице свадебно-шейховских шестиметровых «линкольнов» с треугольным крылом на багажнике. На заднем сиденье угадывался изысканно-простецкий, мужицко-дворянский, международно-российский лик Журавского Алексея Петровича.

Лелька, естественно, немедленно раскорячилась у самого подъезда, но бабки этого не заметили.

Муж прямо с балкона, весь в мыле, тяжело дыша после своих гантелей и эспандеров, прошел в ванную. Утро субботы начиналось, как всегда, совместным завтраком. Потом предстояла поездка на рынок, ставший уж совсем бешеным, но и магазины не лучше — проживали последний гонорар за его мадридские лекции, продавая понемногу доллары на все годящейся Ленке-соседке, а что потом будет, непонятно, особенно когда закроют Институт... Вечером предстоял большой прием в английском посольстве, туда пригласили «мистера энд миссис». После обеда надо было уже действительно сбежать за переделанной юбкой, и тогда и позвонить ему, это уже безумие какое-то, третий день не виделись и даже не перезванивались, что-то происходит...

— Меня снова приглашают в Испанию, — сказал муж, допивая свой бескофеиновый кофе, аккуратно запаасаемый в каждой поездке, поскольку здоровье он считал своим главным и ценнейшим средством к существованию. — Теперь уже на весь семестр. На тебя приглашение есть тоже. Если захочешь, они придумают тебе какой-нибудь курс, или просто отдохнешь, считаешь, напишешь статью-другую... Я уже начал оформление. Вернешься из Барселоны, получишь новую визу — и поедем. Институт ваш закрывается, а через полгода найдем что-нибудь. Вчера я говорил с Журавским, он звонил в наш Центр и попал на меня. Между

прочим, сказал, что Плотников возьмет тебя в эту Академию, которой будет с осени ваш Институт, даже после полугодового отпуска. Плотников и сам, вроде, собирался, но Журавский еще с ним поговорит. От Журавского теперь будет все зависеть, а сам Журавский очень заинтересован в нашем Центре, потому что это единственное, что останется, кроме Академии... Надо понемногу собираться. К концу лета я хочу продать машину, а то просто развалится...

Она слушала и чувствовала, что всегда выдающая ее бледность уже давно должна бы обратить внимание мужа, если бы он был склонен обращать внимание на перемены в ней. Или если бы обнаруживал, что обращает внимание... Ее застали врасплох, это случалось редко, но в последнее время она устала и все чаще оказывалась не готова к неожиданностям. Что можно ответить? Муж все прекрасно продумал, все устроил, все вовремя, и чем больше он говорит, тем меньше остается у нее поводов возразить. Только закричать — нет, нет, не могу. Полгода не видеть его, не лежать с ним на изжеванных простынях, пропитавшихся их запахом, не исходить последними, кажется, силами и не чувствовать, как они откуда-то вновь берутся уже через полчаса, не лететь в Институт, ожидая утреннего его звонка, не звонить ему по вечерам, слушая его нетерпеливое: «Але! Да говорите же... Ну, перезвоните...», не целоваться, как девчонка, у каждого светофора, рискуя быть замеченной из соседней машины, не держать руку на его колене, мешая переключать передачи... Полгода провести с глазу на глаз с этим вот человеком, с его кофе «дескофеинадо», с его гантелями, с потом, выжимаемым обязательными упражнениями, с его невыключающимся возлюбленным «лэп-топом», с его различно-доброжелательным молчанием, редкими, но всегда с каким-то важным, неизвестным ей смыслом, вопросами... И, главное, полгода по ночам слышать хрип, скрежет зубов, тяжелое дыхание и единственное его слово: «Ну?.. ну?.. ну?..» — он все ждал, год за годом, ее ответа, ее судороги. И без старания изображать эту судорогу, без выражения повторять: «Да... ты же знаешь... я с тобой...» Ужас, какой ужас! Незнакомые люди, город, по которому предстоит ходить одной. Если бы с ним, если бы... Нет, это невозможно. И невозможно ответить «нет» — все за эту поездку:

закрытие Института, подходящие к концу доллары, мечта мужа сменить машину, обещание Журавского потом помочь с ее работой... О Боже! И еще Журавский... Почему все в эти два дня совпало? Муж увидел в метро их, а заговорил о Журавском, потом Журавский звонил сам...

— Да, это неожиданно и очень кстати, — сказала она. — Только надо договориться с кем-нибудь из знакомых, чтобы пожили здесь это время, сейчас пустые квартиры так грабят!.. Каждый день рассказывают.

Телефон зазвонил, когда она мыла посуду, пытаясь сообразить, что же можно сделать, и окончательно понимая, что сделать ничего нельзя, да и не стоит, если честно: эти полгода дадут единственную возможность просуществовать потом какое-то время, и придется все вытерпеть, потому что иначе нищета разрушит их печальную, но все же романтическую любовь еще быстрее, чем разлука. Она не представляла себе, как будет себя с ним чувствовать, если придется скрывать рваные колготки, как будет принимать его подарки, садиться в машину... Хватит, рваные колготки в ее жизни уже были...

«Вас не слышно», — сказал муж в комнате и положил трубку. Через минуту звонок раздался снова, она дернулась, но сдержалась — сейчас нельзя, надо все устроить. Как же неудачно он выбрал время! Муж положил молчащую трубку, тихо пробормотав испанское ругательство. Муж никогда бы не позволил себе сказать то же самое при ней по-русски — в отличие от него, в отличие от него...

— Вынеси, пожалуйста, мусор, пока я соберусь! — крикнула она и ушла в ванную. Сквозь шум воды прислушалась... Вот он захлопнул за собой дверь.... Она выскочила голая, мокрая, оставляя следы на линолеуме, сдвинула защелку, — может, муж взял с собой ключ, — набрала его номер... «Что случилось?» «Да, это я звонил...» «Что, что случилось?! Скорее...» «Я хочу тебе рассказать... Мне кажется, я заболел... Знаешь, похоже, что действительно крыша поехала». Ее передернуло: даже сейчас она заметила этот отвратительный жаргон. «Приезжай... В половине шестого будь у Ленкиного подъезда, ты же знаешь, где? У меня будет двадцать минут». «Хорошо. Я приеду на такси, «жук» слишком заметен».

Муж уже звонил в дверь.

— Подожди, я в ванной! — закричала она, бросив трубку.

Было около двух ночи.

Журавский сидел в кресле, выглядел свежим, чуть улыбался, на коленях держал поднятый с полу английский «The Personalist», даже листал его, поглядывая иногда в текст. Плотников сидел на выдвинутом в середину комнаты стуле, положив ногу на ногу по-американски, щиколоткой на колёно, дымил трубкой, наполняя душную комнату приторным запахом не то «амфоры», не то «клана». Кравцов стоял у двери, прислонясь к притолоке, с любопытством искренним и наивным продолжая оглядывать комнату — пыльный резной буфет, картины в облезших золотых рамах, огромный дубовый стол и старый «рейнметалл» на нем...

Он сидел на кое-как прикрытом пледом диване. Лелька примостилась рядом, положив морду на его колёно, внимательно и строго посматривая на гостей, не обращающих на собаку внимания.

— Видите ли, все это достаточно серьезные дела... — Журавский наконец решил, видимо, вступить сам в этот бессмысленный и затянувшийся разговор. — Наверное, вы не станете спорить, что все здесь присутствующие... — он довольно откровенно покосился, запнувшись, на Сашку, — ...практически все, тесно связаны с новой ситуацией. И, вероятно, вы согласитесь, что если жизнь покатится вспять, из нас... — он опять покосился на Кравцова, — ...из нас троих вы потеряете не больше всех. Поэтому мы и решились на этот — согласен, с точки зрения морали обычных обстоятельств достаточно сомнительный — шаг. Но выхода нет... Вы ведь автомобилист? Это же ваш красный «жучок» там у подъезда? Значит, вы должны понять: Мы поднимаемся в гору, угол почти критический, мотор глохнет, ручник не держит... Что же делать? Лететь назад через крышу, колеса вверх, стойки ломаются, позвоночник пополам?.. Или все же выскочить в последний момент, а под задние колеса ткнуть, что под руку попало — хоть кирпич, хоть палку

потолще, канистру... Мы хотим выскочить, да, с помощью этой самой Академии, сделаем ее международной, пусть будет, допустим, Российское отделение Международной Академии Структурных Проблем... Не это важно. Важно, что мы не только пытаемся сохранить свои позвонки, но и найти эти самые кирпичи или палку, остановить машину...

— Простите, Алексей Петрович, я не совсем все-таки понимаю, — он положил руку на Лелькин узкий затылок, и она едва слышно застонала от счастья. — Все это, конечно, ясно, и вы, наверное, правы... Но при чем здесь я? Почему надо было ставить меня в дурацкое положение с этим приглашением, с этой реорганизацией Института, о которой, оказывается, все знают, кроме меня? И, главное, я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о кирпиче или палке, которые надо подложить под летящую в пропасть нашу колымагу. Вот тут Саша целый час твердил о каких-то народных средствах, которые спрятаны партократами по всему миру... Что ж, мы будем их собирать, чтобы вернуть народу? Через какие-то коммерческие структуры, черт его знает, я в этом не разбираюсь, через какие-то счета. Это ли занятие для академической организации? Я еду на конференцию, все нормально, и вдруг оказывается, что моя, да и ваша, простите, Алексей Петрович, функция — это прикрытие, а главная задача поставлена перед товарищем Кравцовым...

— Так, — крикнул Сашка, — значит, в «товарищи» меня произвел... Презрение, значит, хочешь показать? Ну, ептмать, ладно...

— погоди, Саша, — сказал Плотников, вытащил из чуть оскаленных желтых зубов трубку, не гася и не выбивая, сунул ее в карман куртки. — погоди... Тут вопрос поставлен принципиально. Я вас, в таком случае, спрашиваю конкретно и самым ясным образом: вы едете? Вы будете выступать с сообщением? Будете — тогда все, и считайте, что мы к вам просто в гости приехали, по рюмке выпить... — он покосился в сторону стола, на котором стояла пустая бутылка Black & White, стаканы и плоская тарелка с растаявшим в лужицу льдом. — Будете? В конце концов, это начало вашей работы в Академии, если хотите откровенно.

Закурив, он осторожно, чтобы не потревожить Лельку, дотянулся до пепельницы, поставил ее на пол у ног... И

ответил тихо, хорошо подобрал слова, и голос почти не дрожал:

— Я на атаке, пока ворованное перепрятывать будут, стоять не хочу.

Тут же он услышал крик толпы. Странно, подумал он, в голове всегда начинало шуметь, когда оставался один и в тишине, а в такой обстановке впервые... Может, это просто давление подскочило, ведь психую же... Ведь страшно мне, невыносимо страшно, вот в чем дело, и уже почти нет сил храбриться, лицо сохранять... Крик нарастал, все громче и быстрее выкрикивали из толпы слова, которые невозможно было разобрать. Вдруг стены его старой, обжитой до последней пылинки, набитой милой сердцу рухлядью комнаты поехали вверх, потолок стал удаляться и почти исчез где-то в ночном небе, и желтый, собственноручно сделанный из старой шелковой шали абажур повис, шевеля бахромой, нелепым аэростатом. Все, кто был в комнате, и он сам тоже, уменьшились и медленно задвигались на дне этого мира.

Он поднялся, взяв поперек живота Лельку, и одним движением выставил ее в лоджию, и запер за ней дверь. Плотников нагнулся, не вставая со стула, порылся под свешивающейся почти до полу с круглого стола рваной штофной скатертью, вытащил оттуда желтый телефон с гербом СССР на диске, поставил «вертушку», шнур от которой тянулся в его же карман с непогашенным «данхиллом», на стол. Журавский швырнул журнал, откинулся в кресле, окаменел, потихоньку отвешивая нижнюю губу, отпуская поехавшие вниз щеки, хмурия брови. Сашка Кравцов отклеился от притолки, не отрывая профессионального взгляда, держа опасность в секторе наблюдения, сделал шаг вперед.

Портфель, мятый кожаный портфель, валялся на подоконнике. Он сунул в него руку и вытащил ее с огромным револьвером «python», чудовищной двухкилограммовой штуковиной, даже на вид способной пробить бетонную стену.

— Газовый, — криво усмехнулся Сашка Кравцов и, делая еще шаг вперед, завел руку за спину, вытащил из-за пояса брюк, из-под пиджачка, штатный спецназовский «стечкин». — Газовая игрушка, полная имитация... Ну, козел...

— Договорились, — сказал в трубку «вертушки» Плотников, — обнимаю тебя, дорогой, звони. Ты сейчас где, в Барвихе? Ну, я сам позвоню, как вернусь...

— Пора запомнить, — сказал Журавский, — мы никому не позволим остановить наши реформы, повернуть развитие нашего общества от демократии к тоталитаризму, от свободного рынка в интересах людей к административному хозяйствованию, от соблюдения прав человека к репрессиям и преследованиям инакомыслия, от либерализма...

Он сбился, губа его совсем отвисла, щеки легли на плечи.

— Ну все, козел, — сказал Сашка и поднял руку.

Между тем он все еще вытаскивал из портфеля револьвер — но успел.

Во сне тоже всегда так, подумал он, бежишь, бежишь, тебя догоняют какие-то люди, наяву — это мирные знакомые, но во сне они хотят тебя убить, догоняют, но никак не догонят, и ты все бежишь... Он потянул спуск.

Кравцова крутнуло вправо, бросило назад, он ударился спиной в стену и сполз по ней, вытягивая вперед переставшие сгибаться ноги и опрокидывая ими стулья. На правом боку его пиджачка начало расплываться темное пятно, будто от пролившейся в самолете ручки, только все больше и больше. Все засуетились. Плотников сунул «вертушку» все в тот же карман, бросился к Сашке, подхватил под мышки, потащил, пятясь, к двери. Дверь уже открылась, в нее, теснясь, лезли кожаные убийцы, но он держал их под прицелом, широкий и длинный ствол «питона» чуть двигался, и он повторял: «Лежать!.. ложиться всем... стреляю... лежать!..», а они, не имея места, чтобы развернуться, вытаскивать из-под курток обрезы, АКСУ, ржавые, со сгнившими ручками «наганы», новенькие армейские «макаровы» — теснились, сгибались, пятились, и следом за ними пятился Плотников, волоча Сашку, на губах которого вздувались бело-розовые пузыри, а последним шел Журавский. Вид у Алексея Петровича был международно-вальяжный, спокойный, проходя, он слегка, вполне деликатно похлопал его по левому плечу, обаятельно улыбнулся и добродушно проворчал: «До чего ж вы человек резкий... так разве мож-

но?.. ну, в Копенгагене с вас за это банка пивка, это уж минимум». И, подобрав по пути Сашкин пистолет, вышел.

Он запер дверь. Постоял, послушал хлопанье и гуденье лифта, топот по лестнице. Глянул в глазок. Искаженная линзой, чуть искривленная лестничная площадка была пуста, банка для окурков, приспособленная соседом — на своем месте, на батарее. Он перевел взгляд на свою правую, висящую вдоль тела руку. Револьвер тяжело смотрел в пол. Он оттянул фиксатор, дернул кистью — выбросил вбок бабабан. Капсюль одного патрона — холостого, выбрасывающего страшный пугающий огонь — был пробит и черен, капсули остальных — газовых — целы.

Он вернулся в комнату. На обоях, там, где к ним прислонился Сашка, расплылось Южной Америкой пятно крови. Прошел к лоджии, впустил рыдающую Лельку. В ужасе от незаслуженного изгнания собака немедленно влезла на постель, под плед, выставила виноватую рожу: вот видишь, я даже не прошу больше на улицу, и, если нечем, можешь меня не кормить, я уже легла и жду тебя, и не за что меня больше выставлять на балкон, что ты, с ума сошел? Я же твоя собака...

Тогда он пошел на кухню, достал из холодильника последнюю банку из привезенных в прошлый раз ее любимых консервов, открыл, позвал: «Лелька! Иди, не сердись...» Собака даже голоса не подала, перепуганная. Выложив полбанки в тарелку, он отнес тарелку в комнату, поставил перед черным носом прямо на плед. «Ну, не сердись. Видишь, что делается? Я ж за тебя, дуру, испугался. Ешь...» Совершенно растерявшаяся Лелька начала есть только из вежливости, у нее был настоящий характер домашней женщины, она не любила приключений и перепадов, даже если после выкидывания в лоджию следовала такая сладость примирения, она предпочитала ровную, постоянную, тихую любовь. Он обнял ее, она застыла, перестав жевать...

Потом он отодрал всю полосу обоев, на которой внизу осталось кровавое пятно, всю, сверху донизу. Старые, ломкие обои изодрал на мелкие куски, на узкие колючие обрывки, и постепенно, кусок за куском, сжег в большой пепельнице, а пепел вытряхнул в унитаз. Залез на стул, осторожно уместил на стуле кухонную табуретку, влез,

едва дыша, — не хватает отсюда сверзиться! — на табуретку, сунул руку в пыльную глубину антресолей... Нащупал и вытащил рулон обоев, банку с еще хорошим, хотя простоявшим с уже такого давнего ремонта, клеем...

Когда все было закончено, глянул на часы. Четверть шестого... Ложиться смысла не было. Пошел в ванную, принял долгий душ, побрился. Сварил кофе, выпил. Пошел в комнату, с тоской посмотрел на пустую бутылку — стакан возле нее был только один, остальные он, видно, сам не заметив, отнес в кухню и сполоснул. Вытащил из шкафа полную, самую уж последнюю — простецкий Long John — скрутил ей голову, долго глотнул... Вот так. И черт с ней, с печенью. И с ними со всеми. Разбудил вконец одуревшую с таким полумным хозяином Лельку, натянул спортивный костюм с надписью «New York. Marathon» на груди и спине, кроссовки, надел на собаку ошейник и вышел во двор.

Под деревьями было пусто и сыро, дул довольно прохладный ветерок, но яростное московское солнце уже поднималось, его исступленный свет пробивался сквозь утреннюю смутность, асфальтовый пяточок перед помойками парил, быстро просыхая после ночного дождя, а посередине пяточка сверкал и лучился его красный, как игрушечная пожарная машина, «жук». Он подошел поближе. Все было цело, резина не проколота и не спущена, и даже ничего не написано гвоздем на будто напрашивающейся на такое действие пологой и просторной крышке переднего багажника.

И только намокшая смятая бумажка желтела за поводком щетки. Он вытащил ее, расправил. Бледно-красными кривыми буквами, почерком малограмотного человека на бумажке было написано: «Ты казел мы вирнемся». Без знаков препинания. Написано было не чернилами, и похоже, это было единственное участие Кравцова в этой угрозе кровной мести — писали же, судя по орфографии, кожаные... Изорвав мелко бумажку, он бросил клочки по ветру — и тут заметил возле переднего колеса пузырек. Он поднял его. Пузырек был с красной тушью, наполовину еще полный.

Была суббота. Он позвонил ей в десять, попал на мужа, перезвонил... Потом позвонила она. До четырех, до того,

как он вышел на угол ловить такси, он вообще старался ни о чем не думать, и ему удавалось...

Во всяком случае, он даже не пытался понять, как он пугачом ранил — убил?! — Кравцова...

Сидя в машине, почти беззвучным шепотом, с ужасом глядя в спину непрерывно курившего удушающую «Яву» таксиста, они перебивали друг друга, спеша, захлебываясь своими рассказами. «Они хотели меня убить...» «Я не могу, понимаешь, не могу ничего придумать, чтобы не ехать с ним...» «Но, ты слышишь, осталась кровь, а я стрелял просто из пугача, пойми...» «В конце концов, это только полгода, и это деньги, я не могу лишать его заработка...» «Я не стану участвовать в их жульничестве, я просто не поеду...» «А ты, если уж на то пошло, никогда и не предлагал всерьез, чтобы ушла от него...» «Но уверяю тебя, это не галлюцинации, я видел, как смотрела на них Лелька...»

Вдруг дошло до обоих.

«Значит, ты уедешь на полгода», — сказал он, лицо его задрожало, он весь задергался, пытаясь сдержать слезы — начала выходить истерикой прошедшая ночь. «Ты совсем, совсем болен, ты переутомился, ты смертельно устал от всего этого, и от меня, и от Института», — шептала она, глядя его по щеке, прижимаясь, забыв о таксисте, о том, что уже прошло больше получаса, и муж ждет ее, и звонит Ленке: «Леночка, она уже вышла? Мы же на прием опоздаем...», и бедная Ленка выворачивается и врет напропалую — забыв обо всем, она гладила его, дергающегося, напуганного, измотанного и дрянными людьми вокруг, и собственной их невыносимой любовью, совсем, Боже, совсем сумасшедшего ее мальчика, быстро стареющего, только сейчас она увидела, как он изменился за эти три года...

— Ехать будем? — спросил таксист. — А то ведь так за столик-то не настоишься...

— Я приеду к тебе завтра, — сказала она. — Не знаю что, но придумаю и приеду. У нас будет целый день, мы все обсудим, и наговоримся, и даже где-нибудь погуляем, и поедим, и все решим, все...

Она хлопнула дверцей и побежала через двор, через вечные канавы, траншеи и свалки. В левой руке она несла боль-

шой пластиковый пакет «С & А» с юбкой, которую Ленка чуть укоротила по моде этого лета. Он закурил.

И выбросил сигарету уже перед светофором на Трубной, открыв дверцу, когда машина на секунду притормозила. Шофер же продолжал наполнять тесное пространство едким дымом. Приемник он врубил на полную громкость, хотя по возрасту не был похож на поклонника Джорджа Майкла на волнах «Европы-плюс».

Трехчасовое, самое жуткое, злобное солнце жгло город всюду. Несчастные, не успевшие убраться на садовые участки, дачи, уехать за триста километров перебирать сруб, закупленный в прошлом году еще по дешевке где-то почти под Вологдой, просто вырваться на Клязьму или в Серебряный бор — одурело бродили по рушащемуся, гниющему, засыпанному мусором, галдящему азиатско-африканскими рынками у станций метро бывшему напыщенному мегаполису, на глазах превращающемуся в гигантский лагерь старателей.

В его квартире шторы были наглухо задернуты, по углам шевелилась зимняя, сбившаяся в лохматые легкие валики пыль, но простыню он постелил свежую, в ребристых складках после прачечной, на подушку надел чистую, с трудом раскрывшуюся наволочку, а на кресле лежало их общее, купленное еще тогда, в Германии, шелковое черное кимоно с двумя золотыми драконами, намертво сцепившимися на спине — его он сам вечером постирал, и за ночь шелк высох в лоджии, а утром, дожидаясь ее звонка, задохнувшегося: «Все, еду!..», долго гладил, разложив на круглом столе плед и подставив стулья, чтобы свешивающиеся рукава не касались пола.

Она лежала с закрытыми глазами, а он курил, одну за другой давая сигареты в стоявшей на полу пепельнице, время от времени они делали по глотку прямо из бутылки, она по-деревенски кривилась и гнала ладонью воздух в обожженный рот, он задерживал виски сантиметр за сантиметром — вот стало горячо в глотке, вот в груди, вот под ребрами... В два поели, не вставая — он нашел случайно зажившуюся в холодильнике банку китайского колбасного фарша еще из

февральских, наверное, заказов, помыл и порезал на четвертинки пару привезенных ею помидоров, длинный огурец, выложил все это в одну глубокую тарелку, взял две вилки и принес на постель. Хлеба, конечно, не было, зато нашлись в буфете, черт его знает откуда, мелкие немецкие крекеры для коктейлей, в пластиковой коробке, разделенной перегородками — в одной части печеньеца в виде рыбок, соленые, в другой микроскопические крендельки с тмином... Лелька, вопреки всем педагогическим принципам, поела фарша вместе с ними, брезгливо дергая носом от близости помидоров и выпивки.

Потом он с наслаждением закурил и продолжал говорить — сил после первых полутора часов пока все равно больше ни на что не было. Она лежала на боку, подперев голову правой рукой, а левой бессознательно прикрывалась, приняв, наверное, самую естественную для обнаженной женщины позу, так хорошо известную старым живописцам и любителям альбомов классического изобразительного искусства. Она слушала его, почти не перебивая, что было ей несвойственно, обыкновенно любая его фраза заканчивалась многоточием, после которого следовало ее длинное, с отступлениями и ассоциациями подтверждение и развитие его мысли, а чаще полное опровержение. Слишком самостоятельна была она в размышлениях, чтобы молча внимать. «Я могу внимать только в одном смысле», — однажды довольно лихо пошутила она, это потом стало их словом...

Но сейчас она слушала молча, глаза потемнели, блеск из них ушел, и она только раз шевельнулась — озябла, потянулась за кимоно, прикрыла ноги. Ему же было жарко, бутылка неумолимо пустела, сзади подвалилась и сопела задремавшая Лелька... Они совсем не спешили, от этого горький его рассказ имел чудесный привкус счастья совместной беды. Она считалась уехавшей на весь день на дачу к подруге, подруга была предупреждена с вечера — позвонила из автомата на станции поделиться нескончаемыми проблемами с рушащейся дачей и двумя пацанами, восьми и пяти лет, оставшимися после полгода назад умершего от страшного инсульта сорокапятилетнего мужа, и звонок этот оказался чрезвычайно кстати, она тут же сообразила: «Я приеду к тебе завтра, — сказала она, — обязательно. Помнишь, в во-

семьдесят седьмом ты приезжала ко мне в такой же ситуации? Вот и я приеду, поговорим, разберемся со всеми проблемами, уйдем с ребятами в лес на целый день...» В восемьдесят седьмом у подруги был короткий, но жесточайший роман, дома говорила, что пошла к ней на целый день, будут шить детские тряпки, и исчезала к какому-то безумцу, который только и делал, что уговаривал ее немедленно уйти от мужа. Безумие заключалось в том, что подруга была на пятом месяце беременна, беременна от мужа, и весь роман длился между четвертым и восьмым месяцами, потом подруга родила, безумец ходил кругами возле ее дома, но муж взял большой отпуск, очень помогал, подруга не оставалась одна ни на минуту, и роман затух. В восемьдесят девятом безумец уехал по израильской визе. А потом умер муж.

Теперь считалось, что она на даче у этой подруги, поэтому в их распоряжении был весь день, допоздна.

«Я всегда чувствовал, что под этой наружной, скучной, бытовой жизнью что-то происходит, идет какая-то другая жизнь, — говорил он. — И не смейся, романы и рассказы, которых я начитался подростком, американское кино, которое я смотрел и смотрел в юности, еще без всякого видео, пролезающая на любые просмотры, недели и фестивали — вот эти романтические сказки и утвердили меня в ощущении, в уверенности, что есть другая, скрытая жизнь, детская жизнь «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», молодая жизнь «Трех товарищей» и «Великого Гэтсби», наивные слезы «Любовников полуночи», которых у нас в прокате гениально назвали «Разбитые мечты», и горький вздох «Искателей приключений», фанатики которых все мечтали посмотреть существующее в их мечтах продолжение...

Пришло время, и я получил новые, гениальные подтверждения иной жизни под поверхностью быта. И это уже были не сказки, безуспешно натягивавшие прозрачную маскировку жизнеподобия, сотканную из далекого времени или места, а это была сама жизнь, но тайная и потому более настоящая, чем внешняя.

Ведь истина всегда скрывается за ложью, а не наоборот.

Кот сидел на Бронной, озадаченно потирая усы гривенником, голая красавица маячила в верхнем окне особняка... Стекали по холсту подтаявшие часы, слон шел

на мушиных ногах... Внутренняя Партия сторожила любовников у преступной постели... Джазовая баллада о гангстерах и чечеточниках оказывалась разыгранной на подмостках, и действующие лица сидели в зале, аплодируя своей смерти на сцене... Все смешалось, тайная жизнь прорастала в явную, сквозь тоскливую поверхность которой то тут, то там вылезали, прорывались бледные подземные грибы невидимого, несуществующего, невозможно антиобычного.

Москва наполнялась призраками особенно естественно, и мы, приезжие с юга, чувствовали это, кажется, всегда острее местных. Зыбкий, дрожащий розовый воздух над Кремлем двигался и поднимался слоями, словно сигаретный дым в хорошо прокуренной комнате. Объявляли о пленуме, а я представлял себе сумасшедших стариков, голдфингеров в криво сшитых черных костюмах, сидящих в подземелье, толстые трубы с грубыми вентилями шли по стенам, подъезжали особые подземные поезда, двигались стальные лифты... Конечно, я знал, что на самом деле они сидят в обычном тоскливом кабинете, обшитом полированным деревом, с фирменным кондиционированием, и даже друг с другом говорят партийными эвфемизмами, но, согласись, слухи о бункерах и секретном метро ведь тоже ходили... Все чувствовали, что наружная эта жизнь невозможна без внутренней.

Я стремился в тайную жизнь всегда. Но единственным прорывом к ней долгие годы была только тайная любовь. Только она давала доступ под видимую тоску повседневного, хитро и корыстно, тонко и непрямойно устроенного мира, туда, где резкий контраст черно-белого, где есть любовь, а все остальное против нее, где самая большая хитрость — элементарный обман непосвященных, где действует главная и единственная пружина — непреодолимая тяга друг к другу, и эта пружина двигает весь сюжет наружных событий...

Собственно, никаких наружных событий и не было, после лекций еще с одним-двумя сравнительно молодыми преподавателями сворачивали с Моховой на Никитскую, шли пить в какую-нибудь из самых мерзких забегаловок где-нибудь у «Художественного» или на Воздвиженке, как они когда-то назывались, уже и не вспомнишь... Пьянство

тоже было шагом в подпольную, идеальную жизнь, и не из-за галлюцинаций, которые были результатом, а из-за тайности, неофициальности самого действия. И у всех, у всех была скрываемая любовь, о ней не говорили, или почти не говорили, но ее существование подразумевалось, как главное содержание и смысл всего, и это укрепляло меня в стремлении под поверхность, под эпителий бытия.

Потом невероятная, сказочная жизнь вдруг рванула наружу сразу из сотен прорех, пробоин, и все погрузилось с полной готовностью в ее заливающие мир воды, в открытия скрытого, в называние вещей их истинными именами, в объяснение хитрых, тонких, скучных житейских сплетений простыми причинами из сказочного ряда — переворот, заговор, столкновение прямых интересов и характеров, опять заговор, опять переворот... Голдфингеры и их подземелье появились на экранах и газетных страницах. Франкенштейн и его чудовища стали называемыми вслух персонажами. Меня этот прорыв сразу вынес в самый водоворот, видно, тайны связи персонажа и прототипа оказались очень кстати в это время авантюры и мелодрам. По чести сказать, какая уж это наука, мои домыслы и допущения, примитивная романтика, лубок... Я всёгда чувствовал себя неловко в серьезном академическом мире, мне было не место с моими детскими выдумками среди взрослых ученых. Но в Институте я пришелся ко двору, я совпал с институтским шарлатанством, возведенным в принцип, уличным популяризаторством, казавшимся непрофессионалам наукой, как алхимия средневековым толпам, с этим собранием мистификаторов и авантюристов. Я полюбил Институт, он стал для меня широким входом в торжествующую победу, тайную жизнь, в романтику сказки, ставшей не то что былью — бытом. И я не ошибся: здесь, как последнее подтверждение высшей достоверности невероятного, появилась ты, главная тайна и главная любовь — любовь самая скрытая и самая истинная. Я летел по этой вывернутой изнанкой наружу жизни, чувствуя, что это еще не все, что рано или поздно я ступлю дальше, что приключения еще не исчерпаны.

Может, я сходил понемногу с ума...

Но было бы и странно не сойти с ума, оказавшись вдруг,

не меня географии, в мире своих давних, всегдашних фантазий, снов, в мире игры собственного освобожденного воображения. Шум толпы, время от времени возникавший в моей голове, становился все громче. Кстати, тебе не знакомо такое ощущение?»

«Я не совсем понимаю, о чем именно ты говоришь, — она вздохнула, придвинулась к нему, привычно положила руку, он вздрогнул, глаза ее просветлели, осветились, — то есть, я-то все понимаю..., я почти такая же... Беспутная, тщательно скрывающая беспутство девчонка, актриска, выбравшая тягостную роль честного синего чулка и тянущая ее изо всех сил, со всею женской добросовестностью, и только с тобой, здесь, становящаяся тем, кто я есть... как это там?.. Анжелика, маркиза одного чокнутого ангела... но эти голоса... нет, не слышу. Ты просто устал, изнервничался в нашем проклятом Институте, с Федей и вправду сойдешь с ума, он чудовище, злой, холодный, действительно злодей, с наслаждением дергающий жизнь за ниточки из своего замка. Ты устал, и обычные твои фантазии начали теснить тебя...»

«Не знаю, — он не стал настаивать, ему уже было не до этого, ее рука сосредоточила все, он чувствовал, как что-то подталкивает его, придвигает, прижимает к ней, — не знаю... Но они были здесь, можешь мне не верить, но я продырявил Сашке Кравцову правое легкое, надеюсь, что он выживет, мелкий говнюк, и я не понимаю как, но мой газовый пугач действительно стрелял всерьез, я почувствовал по отдаче, и настоящая кровь была на обоях, вот там, где теперь, видишь, более светлая полоса, и Плотников сидел здесь в камуфляжной идиотской куртке, разговаривая по «вертушке», и Журавский на глазах превращался в генсека, и...»

При имени Журавского она вздрогнула, но он уже не мог заметить этого: впервые за многие недели, месяцы, может, впервые за эти годы он не дождался ее, взвыл, затрясся, и счастье сразу же излилось в рыдания, он плакал взахлеб, уткнув мокрое лицо в ее розовое, натертое его отросшей за день щетиной, горячее плечо. Она лежала, пораженная всем — и тем, что на нее так подействовало это упоминание, и его слезами, его явным нервным перенапряжением, с которым,

конечно же, связаны и эти страшные галлюцинации, и такая небывалая и немного огорчившая ее мгновенность реакции... «Я схожу с ума, — повторял он, — я действительно схожу с ума!» Его слезы текли по ней, ложбинка на груди уже была вся мокрая.

Потом они заснули — вместе, почти одновременно.

Но перед тем, как мысли его стали путаться, слушая ее почти неслышное дыхание, глядя, как во сне она старается спрятать лицо — она всегда спала, уткнувшись в подушку или укрывшись с головой, будто боялась, что ее увидят беспомощной — он успел подумать о том, о чем всегда думал после каждого разговора, даже с ней, с самой близкой, о чем думал, засыпая после любого дня.

Вроде бы, подумал он, я был не так уж плох в этом признании, вроде бы и честен, но ничего лишнего, некрасивого. Почти ничего. Все правда, что я ей сказал, и мне действительно стало легче, но, кажется, удалось остаться в образе.

Я выглядел неплохо, хотя не все было в стиле, подумал он — и заснул.

Когда он проснулся, в квартире была полная, абсолютная тишина и тьма. Он взглянул на валяющиеся на полу часы — восьмой, день кончился. Она во сне перевернулась на бок, лежала к нему спиной в позе бегуньи, подогнув одну ногу под живот. Он почувствовал, что тишина начала действовать: в голове снова зашумело, крики и гомон невидимого митинга становились все громче.

И тут же услышал какой-то реальный звук, шорох. Звук шел из лоджии. Лелька, из-за жары ушедшая от них спать на кресло, подняла голову, внимательно посмотрела в сторону стеклянной двери, задернутой вместе с окном глухими красно-коричневыми шторами.

Он встал, беззвучно, в секунду натянул трусы, джинсы, туфли, потрогал ее за плечо и, как только она открыла глаза, прикрыл ее рот ладонью, жестом показал: надень кимоно и иди на кухню, затряс головой — не спорь, молчи, делай, что сказано! — и вытолкнул ее. Лелька немедленно потопала следом: проголодалась, и надежда что-нибудь там получить от любимой гостьи оказалась сильнее любопытства к происходящему в лоджии. Да и недолюбливала она эту

лоджию после вчерашнего... Прикрыв за ними дверь, он осторожно выглянул, раздвинув в шторе щель в полсантиметра.

Как раз в этот миг на перилах лоджии появилась нога в сильно растоптанном мокасине с медной блямбой на перемычке и в шелковой адидасовской штанине. Нога осторожно нащупывала опору, наконец утвердилась. Немедленно рядом с ней появилась вторая. Человек задержался, уверенно балансируя на перилах и готовясь спрыгнуть в лоджию.

Все это мог бы проделать любой мальчишка, успел подумать он, и странно, что никто не проделал раньше: подняться по пожарной лестнице из пустой, позади гаражей, части двора, и перелезть на перила с этой, проходящей в метре, лестницы ничего не стоит.

Примерно полторы секунды прошло с того мгновения, когда он увидел ногу, тянущуюся к перилам.

Кино продолжается, подумал он, но почему-то я играю главную роль без каскадера.

Он распахнул дверь удачно, поворотная ручка не заела, и не теряя времени, чтобы поднять кулак, ударил человека в пах головой. Человек скорчился, но его ноги каким-то чудом не соскользнули с перил. Он почувствовал, что человек падает вперед и сейчас придавит его сверху к полу лоджии своей сотней килограммов, своим хрипом «Я маму твою...». Собрав все, что было в его мышцах, сухожилиях, суставах, он рванулся вверх, разгибаясь, и ему опять повезло: затылком он попал точно в подбородок человеку, и тот опрокинулся, оторвался в пустоту...

Когда она прибежала из кухни, едва не растянувшись из-за путающейся в ногах собаки, он стоял, прислонясь к косяку распахнутой настежь двери, косо свисала полусорванная штора, он был в испарине, на лбу ссадина сочилась кровью, но держался он за затылок. «Посмотри вниз», — сказал он почти без звука. Она глянула. Внизу, у глухой задней стены кооперативных гаражей, медленно разворачивалась машина, такси, на ходу захлопывались дверцы, вот она рванула — и исчезла в арке соседнего, длинного девятиподъездного дома.

Позвонила девочка из нового отдела, по связям с общественностью — теперь такие отделы под стильным названием «паблик рилэйшнз» возникли во всех конторах, работали в них неопределенные молодые люди с приличным английским и девочки из тех, которые и прежде всегда организовывали выпивки с баней для начальства. Девочка сказала, что сегодня всех, кто едет в Данию, приглашают выступить в телепрограмме «Вечерний монитор», Федор Владимирович просит быть в двадцать минут восьмого в Останкино, пропуска заказаны.

День предполагался совершенно пустой, у нее был свободный, библиотечный вторник, она сидела дома, возилась по хозяйству, понемногу писала главу в плановый отчет, а муж был дома всегда, и созвониться удавалось только случайно, если, улучив момент, она набирала его номер и заставала в комнате — где он бывал редко, предпочитая бродить по Институту, поскольку работать в офисе все равно не мог, и все, что писал, было домашнего, ночного, раннеутреннего, субботне-воскресного изготовления. Ему же звонить и просить ее к телефону деловым голосом, как иногда, нечасто, делал раньше, после встречи на эскалаторе было совершенно невозможно.

Он стоял в коридоре, покуривая и размышляя, пойти ли выпить паршивого кофе в буфете или попросить хорошего чаю у Фединой Вали, когда подошел Валера Грушко.

— Привет пытливым исследователям, — сказал Валера, и он, помимо желанья, засмеялся. Нехитры были Валерины шутки, обычная полуинтеллигентская ирония, пародия на газетный стиль — уже умерший, кстати. Но само состояние Валеры Грушко, постоянная улыбка, с которой говорил, пил, ел и, наверное, спал этот человек, особый, обращенный на все вокруг и на себя самого усмешливый прищур действовали безотказно. Это был стиль общения, уже очень давно занесенный резкими, хорошо оформленными южанами в расплывчатую, вяловатую Москву, ставший принятым во всей стране стилем определенного, более или менее культурного слоя, постоянно подпитывающийся новыми талантами, поднимающимися к северным широтам из южных провинций, как легкие фракции при перегонке...

Однажды Сашка Кравцов прошипел в спину на ходу рас-

сказавшего убойный анекдот Грушко: «Жидовские шуточки... над всем смеются...» — и он вдруг понял, как Валера должен раздражать таких, как Кравцов. Потому что со всеми своими анекдотами, с постоянным пересмешиванием, был Грушко человеком очень серьезным, к делу и к своему положению в деле относился ответственно и в высшей степени профессионально, почти не пил и делал быструю и честную карьеру. Приехав десять лет назад из своего областного пединститута в целевую аспирантуру, женился удачно, на хорошей девке, причем по любви, — это было очевидно и сейчас, через десять лет, — но с не помешавшей чувству четырехкомнатной квартирой на Беговой, оставшейся от тестя, полного генерала, вовремя, за пару лет до перестройки, убравшегося на Новодевичье. Валера помощью тестя не пользовался, да и не мог, даже если бы и захотел: во-первых, слишком оперативно товарищ генерал отбыл к месту вечной службы, во-вторых, никого не знал и знать не хотел в смутной гуманитарной сфере. Так что все, вплоть до защиты докторской и занятия в прошлом году места ученого секретаря Валера сделал сам — все, включая необыкновенно красивого, похожего на мать восьмилетнего мальчишку, компьютерного вундеркинда, все, кроме сказочной квартиры, набитой тяжелой мебелью в стиле «ровенского гестапо», по Валериному же выражению, да еще «двадцать первой», хриплой, глохнущей, но все никак не разваливающейся благодаря танковому своему железу — а продавать категорически не советовала теща, безвыездно живущая на даче в Архангельском, но и оттуда железной комдивской рукой держащая дочку, идиотку, вышедшую за этого... чернявого...

— Чувствую, что вчера состоялось взятие не одного стаканчика шотландского народного напитка, — сказал Валера. — Пошли, у Вальки чайку выпросим?

Они сели в малюсеньком, но хорошо изолированном кабинете Грушко, он полез в сейф и достал узкую бутылку где-то чудом добытого «Белого аиста» — у него, непьющего, всегда водилось, — долили в сразу остывший чай.

— Что за странная у тебя история с Данией? — спросил Грушко. — Ты на Федю слишком не злишься... Я и сам иногда от его людоедских манер устаю, но как вспоминаю, что без

этого паровоза наша институтская телега и с места не сдвинулась бы, да и сейчас все только на нем держится... Ну, пусть Академия... Давай будем честны хотя бы друг перед другом: никогда мы с тобой так хорошо не жили, как сейчас. Наше это время... И в этом судьбоносном, как недавно говорилось, времени Федор Владимирович Плотников играет, по меткому выражению нашего друга Кравцова, большое значение и имеет огромную роль. Ну что ты киснешь? Или печень послала на хер? Так сам виноват, ты с ней уж слишком крут...

— Кстати, ты не знаешь, чего Кравцова не видно?— перебил он. Даже в голову не пришло рассказать Валере про все чудеса и ужасы, творящиеся уже неделю, не тот Грушко человек, хороший дельный парень, настоящий приятель, может, даже и друг, но не тот. Трезвый и слишком веселый.— Он же тоже в Данию намылился...

— Болеет, что ли,— Валера пожал плечами,— но не волнуйся, к Дании выздоровеет. А на черта он тебе сдался? Он еще в Копенгагене тебя достанет, большой любитель хорошего пива на халяву.

— Да я краем уха слышал о каких-то денежных делах,— сказал он небрежно, закуривая, чтобы не выдать голосом особый интерес,— что-то там Журавский и Плотников проворачивают с зарубежными счетами... Вроде для будущей Академии. Партийные деньги, что ли, хотят вернуть... И Сашка Кравцов чем-то должен им в этой поездке помочь...

Он прикурил, отхлебнул чаю и только потом взглянул на Валеру. Грушко сидел молча, глядел пристально, и ни тени обычной, иронической, равно ко всему относящейся улыбки не было на его лице. Подвижное, все из-за этого в мелких морщинах, курносое лицо мальчишки вдруг стало лицом пожилого некрасивого человека.

— У нас в богадельне,— сказал Валера, и на втором слове улыбка вернулась, он даже коротко хохотнул,— слухи возникают и распространяются, как в провинциальном театре. Говорят, что режиссера на заслуженного выдвигают... Да не на заслуженного, а на народного и госпремию, а все это делает его любовница, с которой он жил в Конотопском оперном театре, а она теперь министр культуры Западно-Украинских вольных кантонов... Ну что ты слушаешь? И

кого? Максимум, что может быть — хотят наши академики тысячу-другую долларов в тамошний банк положить, кредитные карточки завести, как белые люди, а прохиндей Сашка обещал им в этом помочь... Ну, и дай им Бог, имеют право сохранить свои честно заработанные зеленые от нашего любимого государства, которое если чего еще не отняло, так обязательно отнимет. А что услугами Кравцова пользуются, так академики вообще народ небрезгливый, я много раз убеждался, да и ты, думаю, тоже... Так что не бери ты себе это в голову, мой тебе совет. Съезди в Копенгаген, расскажи международной научной общественности, кто в какой нашей книжечке под каким именем выведен, а то она уж заждалась, измаялась, а потом оторвись ото всех, и главное, от Юрки Вельтмана, а то он тебя Русалочкой затрахает, и сходи-ка ты в Христианию, такой там райончик любопытный, гетто международных бродяг и старых хиппи — наших, между прочим, ровесников...

Грушко болтал, налил еще коньяку, но он видел, что время от времени улыбка исчезает с Валериного лица. Что ж это происходит, подумал он, они все что-то знают о чем-то очень серьезном и скрывают от меня, все, даже Валерка... Но почему?! Что я, такой уж чистюля, что мне не полагается знать о настоящей жизни? И зачем они тогда приезжали, все объясняли, угрожали, нарывались, и Кравцов нарвался-таки... Болеет... Или я действительно схожу с ума?

Он встал, поблагодарил Грушко за коньяк: «Спасибо, аист, спасибо, птица...» — и вышел.

И тут же в коридоре налетел на Леру Сванидзе, грозу и крест Института. Родовитую грузинскую фамилию она носила по бывшему мужу, внешность же имела Элен Безуховой: крупная блондинка с безукоризненным профилем камен, с крупными платиновыми локонами, с бледно-голубыми, чуть водянистыми большими глазами. Но при такой внешности и внушительной фигуре девушки с веслом пользовалась удивительным мужским равнодушием — единственным вызываемым ею чувством была постоянная опаска, как бы не нарваться на истерику, дикую, трамвайную грубость по любому поводу и без. Самым для него в Лерке отвратительным было то, что все ее истерики, вопли и хлопанье дверями были абсолютно продуманной линией

поведения, методикой выбивания всего ей нужного, от внеочередной защиты до получения старшего научного, и осуществлялась эта линия с холодным, ледяным сердцем.

— Привет, — Лерка резко сунула руку для пожатия, мужественность поведения входила в методику, — ну что, едешь в Данию цековские деньги вытаскивать на нужды Журавского и Плотникова с их Академией? А мы, значит, быдло институтское, будем ждать своей участи, кого отбракуют, кого пощадят...

Это в ее образе считалось прямотой — переть безостановочно гадости в глаза первому же встречному. Так же, как поминание с ругательствами кстати и некстати коммунистов — смелостью.

— Слушай, Лера, — сказал он, — ты сама себе еще не наделала?

Она еще орала что-то в коридоре, когда он уже заперся в своей комнате, — какое счастье, что старец Ямщиков-Ланской, с которым делит эту каморку, появляется в Институте не чаще раза в месяц! — бессознательно набрал ее номер. Конечно, снял трубку муж. Странный тип. Вроде бы, дельный и порядочный малый, в Центре политологии считается человеком абсолютно честным. Знающий, хотя звезд с неба не хватает... Но однажды знакомый парень из Центра, коротая время за сплетнями шепотом на каком-то нудном межинститутском семинаре, назвал, среди прочих, фамилию (он вздрогнул, не сразу сообразив, что речь идет не о ней) и усмехнулся: «Подлостей не делает, потому что ленив, да и глуп для серьезных подлостей... Но своего не упустит, да и чужое прихватит. Особенно же любит собирать всякое говно, грязные слухи обо всех, копит информацию. До подходящего случая, наверное...» Парень и сам был дерьмо полное, в науке ничтожество и завистник, но вспомнилось старое правило, которое сформулировали они еще с Лелькой, в прежней жизни: «Если о ком-нибудь говорят, что он сволочь, задумайся — даже если говорящий сволочь сам». Правило достаточно циничное, но много раз подтверждавшееся.

Впрочем, не стоит искать объяснений для неприязненного чувства к мужу любовницы, тем более, к мужу, к которому так и не разучился ревновать. Слишком хорошо он ее

знал, ее почти неспособность сопротивляться жадному, ко-режащему изнутри желанию, представлял усилия, которые приходится ей прилагать, чтобы это желание, жжение терпеть, не показывать виду, носить милую маску домашней дамочки, пухленькой домохозяйки с научными интересами — терпеть и носить до поры, пока не взорвется бешенством. Муж всегда рядом...

Зазвонил телефон и сразу выключился. Перезванивает, дает понять, что слышала его звонок. Ну и на том спасибо.

Все же дни связаны неразрывно, он и эта странная, еще недавно невозможная для него женщина. До истерики уставал от нее, каждая секунда в этих трех годах была ею напряжена и вздрагивала, как перетянутая проволока. Иначе она не могла. Все в ней было поперек его представлений о женской привлекательности — и слишком самостоятельный ум, мощный, ни на секунду не прекращающий тяжелой мужской работы, и простоватая внешность, совсем не такая, как у стильных центровых девочек-дамочек, с которыми прежде имел дело, и тяжелый, не игровой характер, вдруг пересекшийся с чем-то таким же тяжким, сидящим в нем, как оказалось, очень глубоко...

Под крутым мужиком — слякоть и вечный испуг закомплексованного, жаждущего удачи мальчишки, подумал он. Ну, что делать, это он знает о себе давно, одна забота — другим не показать. Но вот что под этой слякотью, кашей, пустотой есть еще более глубокий слой — угрюмой серьезности, свинцово-тяжкого размышления — узнал только благодаря ей. Задела, зацепила что-то — и полезло наружу настоящее.

А настоящее оказалось безумием, подумал он. И додумал с холодной, деловой ясностью: да, болен, уже вторую неделю галлюцинирует, пора к врачу. Вот и сейчас — не заметил, когда началось, но в голове уже шумели, митинговали невесть как понавшие туда крикуны. Он встал, быстро прошел по комнате, из угла в угол. Полез в стол, вытащил транзистор, валявшийся там еще с тех ночей, когда приходил под утро не домой, а сюда, вымокший, небритый, встречался с другими, смеялись, от счастья все были немного не в себе, а он больше всех — сказка перла совсем уж круто, гвардейцы кардинала вот-вот пойдут в атаку!.. Но три

дня и три ночи кончились, и начались скучноватые десять лет спустя, двадцать лет спустя — уже через какие-нибудь пару месяцев. А дальше и вовсе скука — скука и нарастающее уныние, безнадежность...

Он включил приемничек, плоский, черный, весь в кнопках и экранчиках, как волшебный прибор из какой-нибудь фантастики пятидесятых. «Грюндиг-космополит» захрипел едва слышно, батарейки сели. Хрип был тише, чем шум в голове...

— Валечка, если Федор Владимирович будет спрашивать, скажи, что я приеду в Останкино самостоятельно, мне в поликлинику заскочить надо, — сказал он, заглядывая в приемную. Валька молча кивнула на ходу: она волокла поднос с парадными чашками, чайниками и вазами с конфетами в кабинет Феде, дверь была открыта, оттуда слышалось радостное бульканье — о, грэйт! ит'с со интрестинг! — очередных визитеров. Мимо проскользнул в кабинет гладкий юноша из «паблик рилэйшнз» — переводить, и дверь закрылась. В приемной валялись дюралевые блестящие кофры и ящики от фирменной телеаппаратуры...

Он приткнул «жука» в довольно тесный ряд «шестерок» и «восьмерок» у поликлиники, весьма престижной, к которой прикрепился недавно, по совету Валеры Грушко и с его же помощью. «В нашем предпенсионном возрасте, дедушка, уже не помешает. Своевременная реанимация бывает столь же необходимой иногда, старик, как материальная помощь. Да и зуб-другой, глядишь, вставим по старой госцене...» В регистратуре было пусто — впрочем, по обе стороны барьера. Полы паркетные...

«Девушка, — позвал он, — можно вас на минутку...» Появилась чудовищно покрашенная жирная халява в коротком белом халате, надетом явно — в лучшем случае — прямо на белье. «А вы за минутку успеете?» — привычно буркнула она, видимо, даже не понимая хамскую скабрёзность навсегда полюбившегося ответа. «Я бы успел, если б мог, — ответил он тихо, со значением заглядывая в бессмысленные глаза, с некоторых пор научился себя вести с отечественным сервисом, — да мне сейчас к невропатологу надо. Вот подлечусь...» «Ну, лечитесь, — протянула девица, оценивая взглядом модную куртку, — только к невропатологу на сегодня

талончиков уже нет, а завтра с утра приходите...» «Ну девушка, — скорчил он жалобную рожу, — мне же быстрее надо, а то ведь у нас с вами любовь не получится, вы ж не станете с таким нервным!» Регистраторша засмеялась: «Я бы, может, и стала, да ведь нервный не станет... Ну ладно, иди так, без записи, невропатолог сейчас свободен, а я твою карту отнесу. Фамилия, нервный?»

Невропатолог, женщина довольно молодая и миловидная, очень высокая, почти его роста, обошла вокруг него, стоявшего посреди кабинета голым до пояса, провела рукой по позвоночнику, нажала на загривок над лопатками, попросила сесть, ручкой молоточка поводила по груди, нарисовав большой крест под его маленьким. Он напрягся. «Все-таки хорошо хоть одно, — подумал, — живота нет, не жирный. И так-то раздеваться при женщине всякий раз испытание для комплексов, а то бы...»

— Вы, извиняюсь, верующий? — вдруг спросила врачаха, уже садясь за свой стол, листая его пустое поликлиническое дело. — Одевайтесь...

— Да, — он ответил коротко, как всегда на этот вопрос, с тех пор, как он стал официально возможен. — А что вас удивило? Или это как-то связано с моим состоянием?

— Ну почему... Просто здесь написано, что вы старший научный сотрудник... Просто странно, ученый — и в Бога верите...

— А вы не верите? — он встал, повернулся к ней спиной, заправил рубаху в джинсы, снял со спинки стула и накинул куртку. — Вы что же, считаете, что все начинается и кончается рефлексами?

— Я крещеная, — почему-то обиженно ответила она, — так ведь я ж не старший научный. Ну ладно... В чем, собственно, ваше недомогание? Жалуетесь на что?

Он вздохнул, на секунду закрыл глаза. Начать все рассказывать этой курице было невозможно. Придется ждать, пока однажды не придет «скорая» с сиреной и санитары не свяжут длинными полотняными лентами совсем сбрендившего, палящего по призракам старшего научного.

— Да как вам сказать... Бессонница, шум в ушах. Переутомление, наверное... — проямлил он.

— Переутомление... — с оттенком иронии по адресу

переутомления научных сотрудников повторила докторша. — А если в ушах шумит, вам к терапевту надо.

Через пять минут, получив рекомендацию меньше курить, не пить кофе и, конечно, спиртного, гулять перед сном и употреблять настой валерианы, он уже гнал к Останкино. На Шереметьевской было полно машин, у каждого светофора застревали. Слева, за храмом Нечаянная Радости, рушилось в недра города круглое латунное блюдо солнца. Стекло рядом с его щекой нагрелось, и он вдруг почти ощутил ее прикосновение — тепло было очень похоже на тепло ее тела. Она глянула на него снизу, чуть косо повернув голову, немного испуганно и смущенно, втягивая щеки, крепко смыкая губы кольцом... Он тряхнул головой, это тоже было галлюцинацией, хотя и прекрасной. Невозможно жить во сне, да еще и за рулем.

— В третью студию, пожалуйста, — сказала встречавшая женщина. В огромной пустоте студии бродили операторы, он, старательно переступая через кабели, прошел к ярко освещенной выгородке, сел в указанное кресло, посмотрел на камеру («там загорится красный сигнал, значит, вы в эфире»), подставил лацкан куртки под клипс микрофона («дайте-ка я вам петельку подвешу»), кивнул знакомой редакторше... Все уже сидели по креслам вокруг маленького столика, неловко уткнувшись в него коленями. Все, кроме Сашки Кравцова... Пробежала старушка, поправила сухой букет на заднем плане — передача должна была идти в непринужденной обстановке гостиной. Ведущий — какой-то толстый — широко заулыбался.

— Сегодня у нас в студии члены российской делегации на международной конференции по структурным проблемам, точнее, на конференции по международным структурам проблем, которая начнется на следующей неделе в Швеции, точнее, в Дании, столица которого, точнее, который столица Копенгаген уже давно известен высоким уровнем интереса к уровню наших сегодняшних непростых по уровню проблем и структур, в это сложное время, когда структуры так быстро обновляются, что весь мир... Федор Владимирович, точнее, Алексей Петрович, что вы хотели бы сказать нашим телезрителям, которых, конечно же, волнуют наши проблемы наших структур?

По экрану монитора пошла бегущая строка: «А.П. Журавский, академик, народный...», и появилось лицо Плотникова. В студию вошла телевизионная кошка, села точно у края освещенной съемочной площадки, вытянула вертикально вверх левую ногу и принялась подмываться. Передача началась.

...На обратном пути, когда он поворачивал с Олимпийского на Трубную, перед эстакадой, его круто обогнало и сразу же подрезало такси. Он, вжимаясь в спинку сиденья, изо всех сил упираясь в баранку и чувствуя, как она хрустит, ломается в руках, почти во всю длину вытянул ногу, придавливая тормоз — и встал, чуть развернувшись тяжелым моторным задом «жука» в сторону. Все же он был хороший водитель — подумал он, как о другом. И тут же, со страшным звоном и скрежетом ломая и отрывая его задний бампер, проскочил мимо короткий деревенский автобус, «пазик». Такси уже было далеко, номер в темноте нельзя было рассмотреть и в двух шагах, но он готов был спорить на что угодно, что такси было то же самое, Сашкино, и кто-то в кожаной куртке за рулем.

Он вылез, обошел несчастного «жука» вокруг. Левый задний фонарь вырван из стойки, разбит вдребезги, бампер оторван и сложился посередине в фигурную скобку... Могло быть и хуже. «Пазик» стоял метрах в пятидесяти, из него никто не выходил. Он направился было к проклятому автобусу и вдруг рассмотрел — остановился.

Автобус был охряно-желтый с черной полосой на борту. Похоронная колымага. И никто так и не вышел из кабины шофера.

Вот автобус медленно тронулся — и тут же свернул направо, исчез за углом.

К «жуку» уже подъезжал гаишный «жигуль».

Время от времени с изумлением и ужасом перед самим собой он замечал, что многие чувства, переживания, внутренние состояния и даже размышления, которые считаются свойственными всем человеческим существам, обходят его стороной. Он думал о счастье и ясно понимал, что просто не

знает смысла этого понятия и никогда в жизни его не испытал.

Даже когда его маленькая, в пол-листа статейка «Тень героя», опубликованная в заштатном сборнике, наделала невероятного шума, ее читали все, даже те, кто отродясь не слышал о самом анализируемом романе, на улицах показывали пальцами в угаданных им за романскими персонажами знаменитостей, его интервьюировали «Рейтер» и «Нью-Йорк таймс», статью переводили и публиковали где попало, от «Тайма» до «Коррьере де ла сера», он мотался по миру, повторяя в лекциях свои измышления, наконец, ему передали уважительную обиду самого автора — был ли он счастлив? Кто ж его знает...

Он думал о любви, вспоминая их первые три свободных ото всех дня, когда он прилетел к ней в Ростов, на всесоюзное тогда еще совещание. Сразу после своего доклада она тихо исчезла, и они провели в ее номере безвыходно почти двое суток, только раз она выскочила в гостиничный буфет — он, нелегал, скрывался — и притащила какой-то довольно подкисшей еды и, гордясь собой, бутылку чудовищной краснодарской водки, они пытались охладить ее в ванной, и все равно оба сильно напились теплой этой мерзостью в жару, и засыпали друг на друге, и просыпались, и вместе шли в ванную, неистовые, вовсе потерявшие рассудок от желания окончательно соединиться, и он охрип, задавленно — чтобы не было слышно соседям — рыча... Была ли это любовь? Может, да, но ему казалось, что другие люди, и живые, и жившие в книгах, чувствовали совсем иное.

Он хоронил близких, ревел, дергая распухшим носом, повторял про себя: «Что ж это?.. Все?.. Бедный, бедный старик, бедный мой старик, мы были похожи, что же, что же это...» — но действительно ли так переживают нормальные люди истинное горе, потерю?

Он думал и о своей смерти, о жизни внутри начала и конца, но мысли сбивались, он вспоминал о какой-нибудь милой, легкой и элегантной картинке, и только через несколько минут спохватывался — а как же там получалось со смыслом, со связью, с главным? Не получалось никак. Он вспоминал известные, много раз читанные чьи-нибудь размышления об этом и только вяло удивлялся: как им удава-

лось не только додумать все до конца, но еще и на бумагу перенести?

Самое лучшее, не столько глубокое, сколько тонкое, что он придумал или ощутил, возникало на ходу, за рулем, за выпивкой в одиночестве в какой-нибудь малознакомой дыре, куда его вдруг заносило, и на бумагу переходило случайно, почему-то всплыв где-нибудь в пустом, проходном, соединительном месте статьи или главы. Так возникло и запомнимшееся даже Феде построение о связи между персонажем и прототипом как между взаимно дополняющими частями одного существа...

Так же однажды он сообразил, что именно от этих его выродочных легковесности и бесчувственности родились страсть и стремление к скрытой авантюрной жизни, к романтической тайне, вкус к простоватой лирике и сентиментальность. Он испытывал не просто неприязнь — отвращение и вражду к той культуре, имеющей дело с истинным, некрасивым и недобрым, без правил живущим человеком, которая все мощнее полезла в последние годы изо всех щелей. Свобода, бля, свобода... Он с гадливостью смотрел на этих молодых людей, кстати, как правило, прекрасно устроенных, с американскими и немецкими стипендиями, спешащих вытащить на всеобщее обозрение свою внутреннюю — он предполагал, что еще и сильно преувеличенную — грязь, гной души, уродство страстей.

«И что же тут нового? — спрашивал он ее в бесконечных их спорах, в очередной раз отвозя домой, для конспирации высаживая у метро за одну до нужной ей станции. — Что они придумали нового? До несчастного больного немца, завидовавшего здоровым, до маркиза с его разгулявшимся воображением был цезарский Рим, а до этого Содом, а до Содома, уверен, еще что-нибудь... Человек мерзок? Ну и открытие... Человек и в мерзости — человек? Тоже новость не первой свежести. Вот и остается от всей их новации одно: вызывающее заявление о собственной свободе от этого скучного, живущего по буржуазным правилам мира. Маяковщина... За что, кстати, мир всегда таким неплохо платил. Но разумный мир держал их при этом в художественных резервациях, а чуть разойдутся — и в тюрьмах. Понимая, что свобода от буржуазности — это свобода от свободы. У нас же им

в рот смотрят, а они уже договариваются: мол, человеку истинному свобода не нужна, это выдумка обывателя — свобода... Ненавижу...»

Он не выпускал ее из машины, заведясь, непременно стремясь договорить, размазать этих поганцев, к которым, ему казалось, она имеет некоторую неявную склонность. Она смеялась:

«Боже, до чего же ты малограмотен и, соответственно, безапелляционен!...»

Насчет малограмотности сначала говорилось вроде бы в шутку. Но бывало, что безапелляционность и линейность его рассуждений постепенно начинали злить ее всерьез, тогда они понемногу входили в ссору...

Танцы в сумерках, Синатра, «Стрэйнджерз ин де найт», белые костюмы, открытый «шевроле», мимоходом убранный с дороги негодяй, лиловый закат над заливом, тайный побег на пустынный пляж, и объятия, объятия, и светлый песок под луной, прилипающий к мокрой коже и сверкающий вдруг в волосах, и никакой боли, никакого насилия — разве что картонная фигура все того же негодяя, заваливающаяся плоской мишенью от точного выстрела...

«“Великолепная семерка” и “Некоторые любят погорячее” застряли в тебе навсегда, — хохотала она. И вдруг делалась серьезной, как обычно, когда заговаривала об интересующем ее по-настоящему. — А действительно, ты ведь никогда не делаешь мне больно... Почему? Тебе совсем не хочется? Или по принципиальному неприятию бедного маркиза?»

«Совсем не хочется? — он пожимал плечами. — Не знаю... Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, все, что могу, я делаю для этого, при чем же здесь боль? Я действительно не понимаю, я, видно, начисто лишен этой составляющей либидо, моя агрессия, видишь, вся выходит в наши споры, в слова...»

Иногда эти дискуссии кончались тем, что она выходила из машины у ближайшего автомата, звонила домой, что еще на час задерживается, они мчались за Кольцевую, он сидел за рулем весь сжавшийся от желания, гнал машину жестче обыкновенного, пуская «жука» в малейший просвет между автобусами, они выбирали какой-нибудь наименее сквоз-

ной лесок, съезжали с шоссе в быстро синеющей тьме, она умудрялась полностью раздеться в невозможной тесноте, он бросал на заднее сиденье огромную махровую простыню, всегда валявшуюся в пластиковом мешке в багажнике, и через миг, почувствовав влажную от дневного пота кожу под ее грудью, уже не ощущал ничего, кроме нее, не думал ни о чем, не существовал нигде, кроме как в ней.

«Не спеши,— твердила она, задыхаясь, светясь в темноте глазами, кожей, волосами,—...не спеши... ляг здесь, сбоку... все, не двигайся, все... сейчас, сейчас...»

Иногда же спор переходил в такой серьезный скандал, что, дергаясь и гримасничая от обиды, резко замолчав, он тянулся через нее, распахивал, толкнув изнутри, дверцу с ее стороны, бросал: «Пока» — и, развернувшись почти на месте, уносился, не дожидаясь даже, чтобы она вошла в метро.

Так выродок я, что ли, думал он, добираясь пешком до дому с Бутырского хутора, где жил изумительный умелец, взявшийся всего за пять штук к возвращению хозяина через пару недель «с Капенхагена или откуда» сделать «жука» «как нового, сами тогда скажете». Устроил, конечно, Валера, со своей заслуженной «двадцать первой» он знал всех автомобильных левшей города... Выродок? Бесчувственное чучело, оснащенное десятком расхожих понятий и соображений, некоторой наблюдательностью и способностью на лету схватить чужую мысль — вот и все... Но почему же все, и даже она, относятся ко мне как к настоящему человеку? Что они, не видят? Я не тот, за кого они меня принимают. Еще правильнее: я не тот, за кого себя выдаю, а они меня принимают не за того, за кого я себя выдаю. Даббл мизандерстэндинг.

На Трех вокзалах шла обычная ночная жизнь, и он удивился, что она даже не очень изменилась за последние двадцать лет. Несмотря на все катаклизмы, здесь почти все было как в те времена, когда, застряв где-нибудь в центре допоздна, а живя в недостижимом тогда Дегунине, он брел на Ярославский передремать до первых троллейбусов... Милиционеры, давно прекратившие борьбу за нравственность где бы то ни было, здесь так же исправно гоняли тонконогих, страшно пахнущих, полусумасшедших вокзальных пожилых девушек от автоматов с газировкой, девушки так

же разбегались, унося граненые стаканы и тут же протягивая их первому встречному: «Налей, командир! Полюблю от души...» Все так же шатались очумелые дембеля в застращенной где только можно до полной обтяжки — хотя уже пятнистой — форме, ища бормотухи и приключений на свои закаленные задницы. И мелкоголовый мужичок отлавливал на проходе к стоянке такси каждого, начиная беседу неизменно: «Вы, извините, конечно, думаете, что я шакал? Иметь меня, извините, конечно, в рот, если я шакал... Мне только до Рыбинска доехать...»

Когда он поравнялся как раз с этим мужичком и уже обошел его, размышляя, не сократить ли прогулку и не взять ли отсюда до дому такси — в куче зеленовато-желтых машин, стоявших здесь в ожидании чумового клиента-северянина (после очередного повышения цен были как раз те два-три дня, когда народ привыкает и не особенно ездит), произошло движение. Одна довольно ободранная «Волга» пробралась в первый ряд, ее пропустили, отъезжая, отворачивая в сторону, сдавая назад по каким-то своим правилам и соображениям о привилегиях. Дверца у шоферского места открылась, вышел таксист. Правую руку чертов водила держал как-то скованно, на отлете...

Ну и ладно, подумал он, надоело мне от них бегать, надоело их убивать, надоело воображать себя сумасшедшим, все надоело! В конце концов, почему это психоз? Я же всегда был уверен, что приключения существуют, что под бессюжетницей быта постоянно разыгрывается боевик... Вот оно и получилось по-моему, чего ж я психую? Ну-ка руки в карманы — и пошел. Жаль, что «питон» именно сегодня валяется вместе с портфелем дома, самое ему сейчас время бы оказаться под курткой, слева за поясом, чтобы разом выдернуть. Что ж, придется играть с прыжками и разворотами, с прямыми в челюсть и выбиванием монтировки молниеносной пяткой, хотя каратэ — это не в моем образе, это следующее поколение...

— Куда поедет, батя? — спросил таксист, и он увидел, что никакой это не Сашка Кравцов, и вообще не гангстер, а совсем молодой парень, с белобрысами, слипшимися, длинными волосами по давно забытой везде, кроме эстрады и Мытищ, моде.

— Что с рукой-то? — спросил он, уже подъезжая к дому.

— А с черножопыми в Черемушках дрались, вот плечо и выбили эти суки палкой, — ответил парень весело. — Больничный не возьмешь, ну, зато ребята пропускают на стоянках, уважают... Приехали, отец. Новый тариф знаешь?

— Знаю, знаю, — пробормотал он, выкладывая пару четвертных сверх самого новейшего из новых тарифа борцу за национальную гордость великороссов. — Знаю... Слушай, а ты такого водителя, — он, как мог, описал Сашку, — не знаешь, случайно? Я у него в машине... сумку забыл.

— Знаю, а как же, — уверенно сказал особенно разгневанный после лишнего полтинника парень, — это Митька Жевакин из пятнадцатого парка. Он тоже в Черемушках был, суровый мужик... Знаю, а как же! Он и говорил, что у него какой-то... — тут он немного смутился, — ...фраерок, значит, сумку фирменную оставил. Понял? Запиши: Митька Жевакин из пятнадцатого. Будь здоров, батя.

Такси отъехало. Он пошел к подъезду. В голове шумело громче, чем когда-либо: перенервничал с таксистом. Под деревьями, на скамейках вокруг доминошного стола, сидели какие-то мужички, слышалось звяканье бутылки о стаканы, вспыхивали самолетными огнями сигареты, доносились отдельные слова...

Он услышал голос Федора Владимировича Плотникова:

— Мне не полный, Леша... Ну, так что же мы будем делать с отделом статистики? Пойдем поименно...

Но теперь он уже твердо решил не обращать внимания на такие глупости — история с таксистом его многому научила и почти полностью успокоила. Он поспешил домой, взял Лельку, сразу от подъезда свернул с нею за дом, миновал пустой асфальтовый пяточок у задней стенки гаражей, причем ничего не почувствовал, и вышел на заросший грязной и клочкастой травой пустырь, где всегда встречалось собачье братство. Но сегодня здесь, на его счастье, было совершенно пусто: уж слишком поздно он выбрался. Он обрадовался: как раз разговаривать с кем бы то ни было ему сейчас и не хотелось.

Через несколько минут он заметил, что в голове все стихло. Будто разошлась, по позднему времени, неутомная толпа. Наступило спокойствие, и он понял, что уже дав-

но их не боится — он перестал бояться, как только стало ясно, чего именно можно от них ждать.

II

Прямо за воротами, ведущими на территорию бывших казарм, начиналась грязь, как в Калуге весной. Стояли почему-то лужи, хотя дождя давно не было, прошлогодние палые листья каким-то образом сохранились в гниющих кучах, вместе с другим мусором, разбитый асфальт дорожек прерывался просто черной разъезжающейся глиной. У первой же халупы с забитыми разрисованной фанерой окнами полуголый, татуированный многоцветными гребенчатыми рыбами и пучеглазыми вампирами человек с длинной седой косицей, скользящей при движениях между лопаток, перебрасывал большой лопатой уголь из сваленной у стены горы в темный подвал. Жили здесь, судя по свисающим из выбитых окон тряпкам, в основном в зданиях казарм, ободранных и по кирпичным брандмауэрам расписанных гигантскими червяками граффити, разобрать шрифт которых непосвященный не мог. Но многие обосновались и в пристроенных к основным домам хижинах из железа, фанеры, картона, сплошь покрытых многоцветными картинами с яркими, круглыми, розово-зелено-голубыми деревьями, пузатыми коротконогими птицеголовыми людьми — стиль поздних шестидесятых, великая «Yellow submarine». Эти шалаши, напоминавшие, если не считать роспись, самозастройку какой-нибудь Ахтырки, бывали и довольно аккуратными, в окошках светились уютные огоньки, висели вязаные занавесочки. Среди хижин и развалин была такая же фанерная, но с деревянными столбиками колонн, вегетарианская столовая. Кое-где попадались лавки, торгующие тем же базарным барахлом, что продают туристам грустные негры и арабы на всех европейских углах: кожаными широкополыми шляпами, ремнями, медными браслетами, мелкими серебряными кольцами, но были и местные особенности — крупными узлами связанные свитера, цветные чулки-гетры и много старых аптечных пузырьков с кривыми горлышками, медных ступок с пестиками, наводящими на

мысль о нечаянном убийстве, бронзовых и фарфоровых резервуаров керосиновых ламп без стекол...

Всюду бродили неумытые, вполне цыганского вида, но светлоголовые дети и огромные грязно-белые собаки, одной, какой-то специфической здешней породы. Люди попадались навстречу самые разнообразные, но в то же время как бы в униформе. Это могла быть немолодая огромная блондинка в широчайшей арабской джеллабе и кожаных сандалиях; или мелкая, тощая, почти бесплотная брюнетка в черных рейтузах, черных солдатских башмаках и большом мужском черном пиджаке поверх рваной черной майки; лысый толстяк в джинсовом комбинезоне и босиком, собравший на затылке все остатки волос в некий как бы пони-тэйл без пони; или черногривый горбоносый красавец, в серьгах, в коже и бахrome, в серебряных пряжках и бляхах, решительно вдавливающий в грязь косые каблуки богато тисненых сапог — но все они были похожи друг на друга, как солдаты разных родов войск, но одной армии.

Он слонялся здесь уже полдня, чувство полнейшего отдыха и размягченной доброжелательности наполняло его, как в давние годы, когда Лелька бывала занята, и он сам приходил в детский сад за сыном, и стоял среди галдящих маленьких людей... Где теперь Лелька, и где теперь сын, сменивший, по слухам, даже имя? Может, вот пошел...

Когда после пресс-конференции пришлось уйти из гостиницы, он поселился у немедленно прильнувшего, немедленно перешедшего на «ты» здешнего русского. Уехал в начале семидесятых, что-то здесь пишет, для какого-то журнальца корреспондирует, иногда переводит на русский для какой-то большой торговой фирмы переписку и каталоги, основной же источник существования — пособие... Всю ночь после пресс-конференции сидели на кухне, жена Галя жарила яичницу с колбасой, пили «столичную», взятую за углом, в окне была чернота — дом стоял напротив огромного кладбища, за высокой стеной невидимо шумевшего деревьями под ветром. Странное кладбище прямо в центре совершенно пустого по ночам, но ярко светящегося города.

— Да, ты совершил поступок, — твердил Костя, добирая из всех бутылок все остатки, совсем по-московски, будто и

не прошло двадцати лет, — ты и сам не понимаешь, какой поступок ты совершил... ты же первый такой здесь, с тех пор, как у вас там пришли эти... с тех пор, как они развалили нашу страну... это была такая страна, суки, что они с ней сделали... а ты — человек, давай за тебя!..

Чокались уже случайно задержавшимся в кухонном шкафу, в пыльной полупустой бутылке, апельсиновым итальянским ликером. Вдруг Костя заговорил довольно трезвым голосом.

— Но все-таки что же это за делишки, которые обделывают здесь твои коллеги и этот кагэбэшник с ними? Как это у вас теперь называют... партийные деньги? Да?..

Совершенно свободно переходя от «у вас» к «нашей стране», к утру Костя его достал. Наконец, с отчаянной гримасой хватаясь за затылок, поправившись «тюборгом» и громко его понося по сравнению с «нашим “жигулевским”», хозяин убежал по своим текущим делам. Он тут же попросил у Гали разрешения оставить пока сумку и немедленно смылся с твердым намерением ночевать хоть под мостом, но сегодня не возвращаться, отдохнуть ото всех соотечественников. Пару раз спросив дорогу у не слишком приветливых, но особенно белокурых и не выглядящих полностью сексуально раскрепощенными женщин — их почему-то на улицах было заметно больше мужчин, — он пришел-таки в описанную Валерой Христианию... Как-то там Валера Грушко после наверняка переданной «Свободой», да и нашими расписанной пресс-конференции?..

Здесь, среди неприкаянных из принципа, он пробродил несколько часов и вдруг — неприкаянный по необходимости — почувствовал себя более одиноким, чем среди блестящих магазинов, гостиниц и чистенькой публики центра. Он вернулся к воротам и, не доходя до них, слева, обнаружил сарай с дощатым крыльцом — бар, одноименный всему кварталу. Интересно, почему название совпадает с древним именем столицы недалекой страны? Интересно, но спросить не у кого.

В баре было так же грязно, как снаружи, как даже в бреду нельзя представить в любом баре любого другого района города. Бродили те же собаки, дети и костюмированные взрослые, а в довольно мглистом и сыром воздухе стоял

сильный, странный запах — через минуту он сообразил, что впервые дышит в атмосфере марихуаны. Немного повело... Вот и славно, подумал он, можно бы и добавить, только по-своему, по-привычному, по-стариковски...

Тут обнаружилось, что в баре, кроме наличия грязи, есть и еще одна особенность: отсутствие чего-либо крепче пива. На его клубный пиджак с галстуком и короткую стрижку никто внимания не обращал, к туристам здесь привыкли и относились, видимо, как к неизбежности и даже необходимости. Но на «Уан скотч, плиз» бармен реагировал неприязненно — не глядя, ткнул большим пальцем за себя, где прямо на стене кривыми буквами было изображено «Никакого алкоголя» на всех языках. Слава Богу, хоть пиво они не считают алкоголем, чертовы наркоманы... Он взял бутылочку какого-то местного, раньше даже не слышал, горьковатого, прекрасного, и стал в уголке, прислонясь к беленой, но не пачкающей стене. Подошла собака в половину его роста, понюхала, легла... Зашемило сердце, защемило по-настоящему: как же теперь с Лелькой? Милая моя псина, Боже мой, как же я теперь буду без тебя...

Из-за одного столика на него уже несколько минут смотрел странного по здешним местам вида господин. Было ему лет сорок, одет он был так, как рекомендовали каталоги в этом летнем сезоне сорокалетним господам: зеленоватый льняной пиджак чуть мешком, шелковая сизая рубашка, шелковый же сильно пестрый галстук и еще более пестрый платочек в нагрудном кармане. Стрижен красиво, и виски, конечно, серебряные... Господин улыбнулся и кивнул на свободный стул рядом с собой — садись, мол, старик, мы здесь должны поддерживать друг друга, среди этого детского сада переростков.

Когда он пересек сарай и сел, господин немедленно полез в карман, вытащил, развернул и торжествующе шлепнул на стол вчерашнюю газету. Так и есть: в черед длинных слов с обилием точек над буквами — его перекошенная фотография. «Ай спик онли инглиш, сорри», — сказал он и, извиняясь, улыбнулся: все понятно, мужик, ценю внимание, но, увы, разговора не получится... Тут модный господин радостно захохотал: «Неужели и на русском вы нисколько не разговариваете, уважаемый товарищ?» Если

не считать едва слышимого акцента, чуть смещенных, странноватых оборотов и уже звучащего пародией «товарищ», язык его был безукоризнен.

Его звали, конечно, Ян. Ян преподавал русский и историю русской культуры в здешнем университете и иногда в соседней Швеции, ее можно в хорошую погоду увидеть с дамбы. Ян, естественно, как специалист по языку и стране, слушал все доклады русских товарищей, успел и на его пресс-конференцию — правда, не с самого начала. Если товарищ... о, извините!.. если господин коллега не возражает... Ян чувствует, что для их возраста здесь неподходящие напитки, он сам просто живет неподалеку, поэтому и забрел, но теперь можно пойти куда-нибудь... скотч?! но это чудесно, у них совсем совпадает тест, то есть, как это... вкус.

Когда они вышли за ворота, было уже совсем темно. У обочины стоял нелепый здесь большой черный «пежо», битком набитый людьми.

Плевал я на них, подумал он, в конце концов, времена укола зонтиком прошли. И в голове за этот день почти не шумело, подумал он.

* * *

Вечером, после открытия конференции, после коктейля в честь этого в каком-то роскошном месте, где он даже забыл на время все свои горести и кошмары, до того прекрасный Chivas Royal Salute разливал бармен, до того хороши были копченые устрицы и лососина, до того милый попался в собеседники немец — после чудесного этого двухчасового хождения, мелькания, дивной выпивки и еды, нашел его Федя.

— Ребята предлагают пойти потом где-нибудь посидеть, — сказал он, одновременно знаками объясняя бармену: без льда и воды, мол, давай чистого, — если вы еще с ног не валитесь, пойдём, поглядим на ночной городишко?

Пошли... Долго примеривались, где бы присесть, выбирая среди баров, сверкающих темным деревом и медью, стойками и желтыми уютными лампами. Отовсюду гремела музыка, было ощущение праздника, а заглянешь — пусто, два человека да перетирающий бокалы бармен, да и эти двое пьют пиво или кампари с водой... Впереди шли Плотников с

Журавским, негромко переговаривались, затем он один, следом Юра Вельтман, радостно улыбающийся во все стороны, ощущающий себя заграничным гулякой впервые за все свои нередкие поездки, взад и вперед сновал Сашка Кравцов, совал нос во все двери, читал цены в меню, хмыкал — ептмать, ну, стакан пива у них, как сорочка! Сашка осторожно держал чуть на отлете правую руку, угораздило же за неделю до поездки ключицу сломать, погулял как-то вечером, ну, и...сам понимаешь, старик... и, главное, ключица же не гипсуется, блин, а болит, ептмать!..

Наконец остановились на маленьком баре, посередине которого стоял огромный бильярдный стол, за ним двое довольно поддатых, по виду приезжих откуда-нибудь из Северной Африки или с Ближнего Востока работяг не очень ловко гоняли шары. Один из них сразу же повадился подходить, стрелять именно у него сигареты, оставляя каждый раз, несмотря на его протесты, на краешке стола по кроне.

— Ты так хороший бизнес с этим мудаком сделаешь, — сказал Сашка. Держался он в своей обычной манере, то и дело норовил левой, здоровой рукой хлопнуть его или Юру по спине, Плотникова, слишком часто обращаясь, называл Федей, к Журавскому же вдруг начал адресоваться «Петрович», от чего того слегка передергивало... Заказали, с помощью Сашкиного быстрого и достаточно многословного, но с диким выговором английского, Журавскому огромную кружку пива, Плотникову и ему виски Grant's, а непьющему Юре Вельтману Сашка, как и себе, взял по большой рюмке «абсолюта».

— А закусить? — спросил наивный Юра. Посмеялись, потом все же взяли бедняге какой-то сэндвич... Через минут двадцать все повторили, еще через пятнадцать — снова, кроме Юры и Журавского. Вельтман уже был хорош, смех у него прошел, теперь он решил удариться в игру: встал, пошел посмотреть, как арабы безуспешно пытаются засунуть в лузу последний шар, начал давать им советы по-французски. Решили рассчитаться и двигать в гостиницу, там, если будет желание во втором часу ночи, можно добавить, у Плотникова имелось кое-что в чемодане. Бармен, увидав поднятый Сашкин палец, принес блюдечко со счетом, Сашка глянул, присвистнул, сделал как бы движение правой

рукой во внутренний карман за бумажником, но ойкнул и матернулся от боли.

— Ну, что там набежало? — поинтересовался Плотников. — Много, что ли? У меня только доллары, не успел обменять, но они, может, возьмут?..

Журавский сидел молча, наслаждался пивом и огнями беззвучно проплывавших по каналу барж, яхточек, тихих катеров... Тогда он вытащил из-под Сашкиной руки счет, посмотрел и положил его под блюдечко вместе со стокроновыми бумажками, махнул рукой подошедшему бармену, оставляя пятнадцать крон чаевых. Счастье, какое счастье, подумал он, что есть, хоть небольшой, долларовый заработок, позволяющий не считаться с этими жлобами, ну, Кравцов ладно, но эти... «Академики народ небрезгливый», — вспомнил он Валеру Грушко. На улице Юра Вельтман всучил-таки ему раза в два больше, чем причиталось за «абсолют».

— Я ж не девушка, не фру какая-нибудь местная, — повторял он и радостно покатывался со смеху, — чтобы ты меня угощал! Я ж не фру...

До гостиницы идти оказалось довольно долго, он поглядывал на темные, местами весьма обшарпанные дома. Город, из виденных им, сильнее всего напоминал Лондон, только, конечно, много меньше и, вроде, поплотнее... Неожиданно Журавский взял его под руку.

— Ну что, о чем задумались? Небось о судьбе нашей бедной страны, о том, будут ли у нас хоть через пять поколений такие витрины, чистые тротуары и гладкие мостовые? Размышления в загранице знакомые... Вот и мы с Федей о том же говорили, пока в эту забегаловку с приема брели. И пришли к двум выводам. Во-первых: ну, прогнали ум, честь и совесть, а все никак не успокоимся, все власть гонять хочется, а власть, между прочим, не для того создана, чтобы ее гоняли, а чтобы была власть! А у нас, друг мой, после партии все еще никакой власти нету... И во-вторых: чтобы какая-нибудь власть в России — как и в любой стране — установилась, нужны этой власти деньги. Возвращаемся мы, таким образом, к тому же, о чем мы с вами уже однажды, дорогой мой друг, говорили... Дело нам здесь предстоит серьезное, мимо вас оно пройти никак не может, и нужен

нам — и поэтому, и потому, что умные люди делу требуются — в вашем лице надежный союзник...

— Сообщник... — тихо перебил он и, чуть напрягши локоть, высвободил руку. Журавский усмехнулся.

— Ну-ну... Вы человек остроумный. Кроме того, я заметил, материально в какой-то степени независимый? Так что наши предложения, как можно понять, категорически и даже с брезгливостью некоторой отвергаете. Что ж, дело ваше... Забудем. А то уж совсем рехнулись: Копенгаген, ночь чудесная, выпили, а все о проблемах наших несчастных... Лучше о других материях, более приятных, поговорим. Я вот на канал здесь смотрел и вспоминал одну такую поездочку, пару лет назад... Ездили мы хорошей такой компанией в Венецию, на конгресс...

Он задержал дыхание. Что это?! Этот конгресс, эту поездку, эту компанию он отлично помнил. Словно площадь взорвалась криками — зашумело в голове. Венеция, что же это?..

— ...Она у вас же в институте и работает, между прочим. Ну, по-джентльменски, не буду фамилию называть... И вот в такую же, только много теплее, ночь, стоим мы, представляете, на палубе огромной такой гондолы, они там бывают и маленькие, такси как бы, и здоровенные, вроде автобусов... Не бывали в Венеции? Ну, надо найти какую-нибудь поездку, посмотреть это чудо... Да. Значит, стоим мы с нею на палубе, музыка играет... Помните, в тот год всюду это крутили, в ушах навязло? Как ее... Ну, в общем, романтическая была ночь, да...

Утром он в семь вылетел из гостиницы — в номере никак не мог справиться с телефоном, добежал до ближайшей кабины автомата, нашел на стенке номер международной, набрал код... Там уже девять, она как раз должна прийти на работу. Ответила сразу. Слышно, как и отовсюду, было лучше, чем в Москве.

— Это я, — сказал он, как говорят все и всегда, звоня самым близким, — здравствуй.

Она задохнулась, потом счастливо засмеялась:

— Ты... Ну, что, что? Рассказывай скорей! Ты из гостиницы звонишь?

— Нет, из автомата. Ты одна, можешь говорить? — он

зажал в горсти монеты, целую кучу которых наменял у портье, но автомат жрал их с невероятной скоростью.

— Пока одна, одна, девочки сегодня будут попозже, отпросились... Скучаю, уже скучаю...

— Скажи, а в Венеции, когда ты ездила с Журавским, ты тоже сильно скучала обо мне?

Он чувствовал себя почему-то последним подлецом, задавая вопрос, который повторял всю ночь, наливаясь в номере с неразобранной постелью ненавистью и дешевым виски, какой-то местной подделкой, купленной в грязнейшей забегаловке ночью же, когда от подъезда гостиницы повернул в переулок, бросив «Пройтись!» на встревоженный вопрос Плотникова вслед. Пустела грязноватая пластиковая бутылка, ныла печень, да и сердце постукивало недовольно... На рассвете принял плохо регулирующийся кранами душ — гостиница была не из самых дорогих. Долго брился, допил желтую дрянь, утром показавшуюся не такой уж дрянью. Заел тремя облатками аллохола, без которого уже давно не жил, подумал — и проглотил еще одну, после таких издевательств и более здоровые внутренности могут взбунтоваться. Закурил... Прав был Кравцов, хорошие сигареты «Prince». Ну, дай ему за это Бог, чтобы легкое простреленное — или что там у него, ключица сломанная? — зажили быстрее... Не в того стрелял... Одедся тщательно, больше чем нужно выпрыснул одеколону на горящие после бритья щеки. И, уже поняв, что с кнопками на гостиничном телефоне не разберешься — какую ни нажимал, отвечали «Ресепшен» — пошел звонить.

Она молчала.

— Ты же расслышала? — спросил он безжалостно. Уже хотелось закричать: «Не слушай меня! Забудь все, ничто не имеет значения, все простительно и исправимо, я тебя люблю! Люблю, все остальное не имеет значения, слышишь, никакого!...» — но он ждал ее ответа.

— Так я и знала... — сказала она. — Так я и знала, что эта ваша поездка добром не кончится. Ну хорошо. Что ты хочешь? У меня ничего не было с ним, он приставал всю ночь, мы все поехали кататься на гондоле, я стояла на палубе, он лез, лез, но я отворачивалась и смеялась — не лупить

же его было по морде... Потом мы вернулись в гостиницу. Там всюду крутили эту музыку, я сходила от этой музыки с ума — помнишь, у нас все еще только начиналось, и мы бродили по всем ресторанам в Москве, тогда все это еще было по-другому, и всюду была эта музыка, я забыла название... Он пытался войти ко мне в номер, я его не пустила и промучилась всю ночь, вспоминая тебя — вот и все. Ну, подумай сам, как я могла бы с ним? Он жирный и старый...

— Не такой уж жирный, — ответил он и повесил трубку.

В десять утра он сказал знакомому парню с «Би-би-си», что хочет собрать пресс-конференцию. «Зачем?» — удивился парень... «А вот слушай, — сказал он. — Дамы и господа! Я не хочу участвовать в международных финансовых аферах, подобно некоторым присутствующим на этой конференции. Не имея доказательств, воздержусь от имен, но...»

* * *

— Только не рассказывай мне эти клепаемые подробности о денежных махинациях твоего начальника и его дружков, — сказал Ян. С каждой минутой, проведенной ими вместе, он говорил по-русски все точнее. — Меня все это говно совершенно не интересует, вся эта политика и прочая грязь. Конечно, по убеждениям я социал-демократ...

— Ну и мудака, — перебил он. — Вы еще нахлебаетесь с вашими левыми закидонами. Видал, где мы с тобой были? Вот это и есть торжество левой идеи, ваша Христиания, причем еще в лучшем варианте. Грязь, безделье и безобразия. Но пока есть пиво, потому что его привозят из других районов города, из нормальных. И пока не нашлось фюрера, хитрого мужика, который бы научился веревки вить из этих ленивых придурков. А теперь представь такую же, даже хуже, грязь в масштабе всей огромной страны; такое же, только не веселое, а унылое безделье; вместо травки паскудную водку, отдающую керосином; отсутствие пива навсегда, потому что его некому делать; кое-как сварганенные ракеты и танки, которым предназначено насаждать великую идею — и ты получишь окончательное торжество социализма, которое мы имели семьдесят лет и до сих пор никак не опомнимся. Видал жулье, с которым я приехал? Вот люди

победившего социализма, он их создал, а теперь они жаждут его восстановить, воспроизводят свою среду обитания... Хочешь такого? Только не морочь мне голову, не объясняй, что наш социализм был не настоящий — как раз он-то самый настоящий и был, это ваш не настоящий! Как только на социализм напяливают человеческое лицо, либо социализм скукоживается, тихонько втискиваясь в самый настоящий капитализм, только современный, как у вас, либо маска лопается, и вылезает мерзкое людоедское рыло «реального социализма», которое, впрочем, тоже существует недолго — гниет изнутри...

— Вероятно, ты прав, — грустно вздохнул Ян. — Вы все это прожили... Но, знаешь, очень не хочется расставаться с красивой идеей. Без нее здесь так скучно...

— Это другое дело, тут я тебя понимаю, — он примирительно снизил тон. — Я понимаю: окружающее всегда противно, и хочется думать, что возможно иное...

— Вот-вот! — обрадовался Ян. — Это как раз то, о чем ты мне рассказывал: иная, скрытая, романтическая жизнь. Социализм — это наше приключение. И я хочу рассказать одну вещь, которая тебе покажется, думаю, очень интересной. А в твоём теперешнем положении может быть даже полезной...

Уже часа три они сидели в малюсеньком, на четыре столика, баре, с полуметровой стойкой, с тихой музыкой — может, Гил Эванс? — из невидимых колонок. Входили и выходили какие-то люди, некоторым Ян кивал, все они были однотипные, как и в Христиании, но совсем другой породы: средних лет, старательно и даже строго одетые, мужчины, как один, в костюмах с галстуками, некоторые даже в летних плащах, женщины в платьях, в туфлях на каблучке, куда дальше — в шляпках! Но вся эта одежда, дорогая и хорошо сшитая, была как бы с чужого плеча, чуть широковата, чуть балахоном, и сильно потерта, и галстуки повязаны кривовато, хотя явно от Сен-Лорана, и плащи припачканы... Лица же у многих были слишком румяные, если присмотреться — в склеротической сеточке, а дамы, очень многие, были слишком тонконоги, так что чулки сидели не туго, что — как он давно заметил, во всем мире, от Трех вокзалов до Сен-Жермен — изобличает женщину пьющую.

— Это наша интеллигенция, — сказал Ян. — Изысканные художники, поэты, тонкие журналисты... Такой стиль: многие сильно пьют и одеты соответственно, как аристократы, третьи сутки ночующие под забором. Тоже протест — против здорового образа жизни, на котором, по примеру американцев, помешался и здесь обыватель, против правила выглядеть свежо и на десять лет моложе своего возраста... Думаю, они понравятся тебе, и ты придешь среди них... как это?.. ко двору. У меня есть план, и если он удастся, завтра все твои неприятности покажутся тебе... как это сказать... херней на постном масле, так?..

В три ночи — он не спал вторые сутки, но чувствовал себя прекрасно и, главное, никакой суеты в мозгах! — они пришли к Яну домой. Таких квартир в Москве не было и быть не могло, хоть у бывших членов бывшего политбюро: слишком красиво. Запомнил только лимонное дерево, каким-то образом росшее прямо посередине гигантской комнаты, и огромное количество книг, ярких альбомов и изумительных постеров, валявшихся везде...

— Теперь ты идешь в душ, после душа наденешь вот эту рубашку, эти носки, вот трусы... или ты предпочитаешь трикотаж? Извини, нету, не ношу. И, знаешь, не советую тебе: сдавливают... как у вас говорят?... а, да, яйца, а нам надо уже беречь. Иди, иди, все остальное у тебя в порядке, этот пиджак ты купил в России? Очень хороший... А, в Англии... Ну ладно, иди, купайся, мойся, потом я расскажу тебе мой план подробно.

План он начал рассказывать только утром, когда, пару часов передрамав, они оба одновременно вскочили — Ян с постели где-то на возвышении вроде эстрады, а он с дивана — от телефонного звонка. Ян долго и, как ему показалось, очень нежно что-то втолковывал в плоскую трубку, потом, положив ее, еще некоторое время смотрел на телефон очумело.

— Итак, мой русский товарищ... я не в этом, не в этом смысле! — закричал Ян, — это же не запрещенное, в конце концов, у вас слово? Итак, вот каковы обстоятельства. Твоя история, которая кажется такой исключительной — ты сам, как неглупый человек, должен понимать, весьма обычная. Нас, мужчин от тридцати пяти до пятидесяти

пяти, слишком поздно, или слишком неудачно, или слишком неожиданно застигнутых — это правильно, застигнутых? я так читал... — застигнутых любовью, тысячи, десятки, сотни тысяч на земле. Не меньше и женщин в таком положении. Наблюдения и логика показывают, что особенно часто это случается с людьми среднего класса, вроде нас с тобой. Объяснение простое: с одной стороны, у нас больше свободных сил и фантазии для этого, чем у какого-нибудь бедняги, приехавшего из Пакистана или Турции, чтобы подметать наши улицы или, в лучшем случае, встать у конвейера, разливающего швеппс, с другой — у нас больше обязательств перед семьей и меньше материальных возможностей эти обязательства выполнять, чем у какого-нибудь малого, оставляющего унаследованную виллу на Cote d'Azur и сотню миллионов прежней жене, чтобы на яхте смыться к новой... И вот мы мучаемся. Мы делаем шаг в сторону, но никак не можем стать там двумя ногами, мы уходим и возвращаемся, в конце концов оказывается, что одна из возлюбленных — это серьезнее, чем просто наиболее удачное совпадение темпераментов. И тогда ты пьешь, пьешь все больше в своей студии, а у меня положение другое — я приезжаю в ее студию, чтобы перестать пить, а пью в барах, и жена уже привыкла, что от меня почти всегда пахнет виски, но никак не может понять, чем же она хуже той, от которой я прихожу без запаха спиртного. Да она и не хуже... Все это чудесно описал один американец в своем романе...

— Я читал, — сказал он, — у нас переводили... Что это такое — студия?

— А, ну, как это называется у вас, — Ян постучал себя по лбу, — а, да: однокомнатная квартира, так. Ну, и теперь: мой план...

Ян был женат уже двадцать лет, старшему парню было четырнадцать, второму — восемь. Пять лет назад на его курс пришла студентка-переросток, каких здесь полно, всего на два года моложе его самого, до этого зарабатывала на учебу медсестрой где-то в Африке. Через месяц все и началось... Ян показывал фотографию жены — прелестная темная шатенка, которую никак нельзя было счесть матерью огромных белобрысых пацанов в рваных майках, стоявших

рядом с ней. Ян показывал и фотографию любимой, сто раз вытаскивая ее из потайного отделения бумажника. Прелестная темная шатенка, пожалуй, чуть постарше жены на вид. Вот и вся любовь.

«Тайна сия велика есть», — пробормотал он. «Что? — вострепенулся совсем было загрузивший, глядя на фотографии, Ян. — Что ты сказал?» Он вздохнул: «Старые мы с тобой козлы, Ян, вот что».

Наконец дошли и до собственно плана, и тут обнаружилось, что далеко не они одни старые козлы.

Жена и сыновья Яна были сейчас на отдыхе, «на Балеарах, это, конечно, не Багамы, но очень милое место». Сам Ян должен лететь туда через три недели, так что, естественно, сейчас вполне счастлив и за последние дни впервые ночевал дома, а не у нее. Следующие три недели Ян будет наслаждаться любовью, «а ты будешь жить здесь, как у Христа за пазухой, правильно?»

Вот холодильник, вот здесь выпивка, на полицию плевать, а через три недели он улетит на Балеары с паспортом Яна, он увидит сам, что это вполне возможно, надо только встать в большую группу, которая будет идти в самолет, и помахать перед носом у этого парня в форме этой... внимание, сейчас Ян употребит слово, которому научился еще пятнадцать лет назад, на стажировке в Ленинграде!.. этой ксивой, правильно? И все! И он уже будет на острове, в чудесном городе Пальма-де-Майорка, где датчан, англичан и немцев в сезон гораздо больше, чем местных, майоркинцев, где вечером на каждом углу едят паэлью, моллюсков с рисом, где все прекрасно, только очень низкорослые женщины, как, впрочем, и мужчины, что нам безразлично, и где есть друг Антонио, такой же старый козел, как мы, и у друга Антонио есть тоже студия, которую он снимает для свиданий с любимой, и можно пожить в этой студии, потому что любимая друга Антонио как раз уезжает в Мексику, у нее там бизнес, а потом он сможет спокойно перелететь в Барселону, потому что Пальма, Балеары — это уже Испания, и никакой визы не понадобится, а сам Ян просто прилетит на неделю позже, когда получит новый паспорт вместо потерянного. А он в Барселоне сможет разыскать свою любимую, выяснить наконец с ней отношения, и уж

потом решить, где они поселятся. Ян советует обосноваться вообще в Испании, чудесная страна... Все.

— Извини, все это невозможно, — сказал он, и, не давая возразить уже набравшему воздуха для следующей бесконечной фразы Яну, продолжил: — и не потому, что я боюсь вашей полиции. Я очень, честно, очень благодарен тебе, Ян, ты удивительный парень, правда, но я не смогу... Извини, ты, наверное, забыл: у нас, приезжих из России, не бывает достаточно денег, чтобы прожить здесь самостоятельно даже неделю. Завтра я пойду в полицию, просить убежища, потом что-то надо будет решать с работой... С прежней жизнью кончено, Ян.

— Ты говно, — сказал Ян. — Говно и предатель. У меня нет миллионов, но есть немного денег, чтобы дать займы старому козлу, который готов из-за паршивой сплетни бросить любимую и даже не пытается с нею объясниться, потому что не хочет брать деньги у приятеля... Потом отдашь. И ты, и она, я уверен, найдете здесь работу, в вашей профессии вы ведь имеете репутации? И больше не будем говорить об этом. Я бы тебе не советовал особенно бродить по городу — после фотографий в газетах тебя будут узнавать, как я; многие. Сиди, смотри телевизор, хотя это очень скучно... Надеюсь, что ты оставишь мне хотя бы глоток из моих запасов к возвращению. Завтра продолжим обсуждение деталей и поговорим еще о социализме — мне кажется, что ты все-таки преувеличиваешь... Я пошел на лекцию, потом к ней. И не грусти слишком сильно, слышишь? А на телефонные звонки не отвечай — здесь есть машина, она все запишет.

Ян ушел.

У него не было сил подняться — так и лежал на диване. В квартире установилась ровная, отчаянная тишина. В голове немедленно зашумело, крики становились все громче, ему казалось, что сейчас что-то взорвется, такой шум не может усиливаться бесконечно. Он дотянулся, взял пульт дистанционного управления, экран телевизора осветился. Минут через десять, после прекрасной детской передачи — отличные взрослые актеры без всяких костюмов и приспособлений изображали животных, лучше всех был старый дядька в тенниске и джинсах, игравший черепаха — пошли

новости. Не понимая на этом странном, несколько, но очень отдаленно, напоминающем английский язык ни одного слова, он все же как-то ориентировался: вот карта Ближнего Востока, потом репортаж: инспектора в Ираке ищут ядерные объекты... вот взорванное здание, солдаты вытаскивают изломанное тело, кладут на носилки... где же это? а, в Испании, баски... вот бегут люди с «калашниковыми», стреляет многоствольный миномет, старухи и дети сидят в подвале... Карабах, понятно, нет конца... а вот и Федор Владимирович Плотников. Во весь экран.

«Господа, я вынужден сделать официальное заявление после безответственного...»

... а, мать их, переводчик заглушает!..

«...никаких незаконных операций... правительство демократической России... отношения, установившиеся между Данией и нашей страной... благодарю вас.»

Он выключил телевизор. Все же это не бред, подумал он, все это было — их приезд вечером, сволочь Сашка, разговор с Журавским, пресс-конференция... Жизнь кончилась, уже ничего нельзя исправить, как после смерти, подумал он. Ну и слава Богу. В конце концов, тут, в Христиании, он видал мужиков и постарше, живут как-то. И наверняка далеко не у всех порядок с документами. Если бросить пить, — а на что будешь пить-то? вот и хорошее следствие нищеты, — печень восстановится довольно быстро, а прочих органов может хватить надолго. Наконец отпущу косицу, давно хотелось.

Только две мысли вызывали нестерпимую боль — о ней и о собаке. Разговор с Журавским вспоминался уже вполне спокойно. Ну, допустим даже, что и было... А, черт! Ну, трахнулась. Чепуха. Он прислушался к себе — действительно, представлять это было почти терпимо. Невозможно было терпеть другое: сознание, что уже никогда, никогда в этой жизни, она не примчится, задыхаясь, на Преображенку, не проскочит в ванную, не выйдет оттуда в его рубахе, достающей ей до колен, не мелькнут из-за отошедшей полы еще мокрые волосы, русые, почти не скрученные в кольца... И Лелька, милая Лелька не подляжет к ним!

Надо лететь в эту, как ее, в Пальму, подумал он — и заснул.

Он не слышал, как по пахнувшей дезодорантами

лестнице поднялись трое, как один из них вставил отмычку в дверь Яновой квартиры, долго и безуспешно крутил — пока не открылась дверь на этаж выше и не послышались тяжелые шаги толстой соседки Яна, вдовы знаменитого копенгагенского архитектора, не слышал, как ссыпались все трое вниз, захлопали дверцы «пежо», и когда машина тронулась, один из взломщиков, почти не двигавший правой рукой, сказал тому, кто действовал отмычкой: «Ну, хрен с ним, Коля. Сам здесь с голоду сохнет... Теперь-то наших здесь и без него — девать некуда... мудило».

Он не слышал ничего, он спал первым сном после окончания жизни.

* * *

Новость она услышала утром, в лифте, но сначала не поняла, о чем и о ком идет речь.

— Приложил, в общем, он всех наших здорово, — сказал малознакомый ей парень, кажется, редактор из издательского отдела, другому, вовсе ей незнакомому, продолжая, видимо, рассказ.

— И что же теперь? — почему-то понизив голос, спросил незнакомец.

— Останется, — твердо ответил редактор, — что ему здесь делать...

Они оба засмеялись и замолчали, переживая рассказ. Она вышла на своем четвертом и оглянулась — мужчины смотрели ей вслед, но тогда она не поняла почему, и вошла к себе в комнату довольная: все-таки эти узкие брюки по совсем новой моде она еще может себе позволить...

Через полчаса все объяснил муж. Позвонил, сказал веселым, совершенно несвойственным ему обычно голосом:

— Ну, ты уже знаешь, конечно? — и не дожидаясь ее ответа, продолжал: — У нас ребята возмущаются, матом его несут, считают, что всем нам, делу вообще, он повредил, что все его откровения на руку только патриотам из Института славянской истории. А я считаю, молодец, мужественный мужик, а то ваш Плотников с Журавским одурели совсем, почище прежних цековских академиков...

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — перебила она,

уже почти понимая, уже поплыв, уже теряя дыхание. — Кто возмущается? Кто молодец?

— Ты не знаешь?! — искренне изумился муж. — Да этот же... приятель твой! Вчера днем собрал пресс-конференцию, рассказал, что Журавский, Плотников и этот ваш с ними... сапог... приехали туда с главной целью деньги партийные выручить. Скандал! Ночью, оказывается, все голоса передавали. А сегодня уже и в наших газетах есть... Говорят, сразу после пресс-конференции он ушел из гостиницы — и с концами.

— Ага, — сказала она, не слыша своего голоса, — молодец.

И повесила трубку. Вчера, после его звонка, она часа два сходила с ума, будь проклята эта Венеция, обернувшаяся вот чем! Тогда, два года назад, конгресс казался таким привлекательным, ее впервые включили в команду столь высокого уровня, в конце концов, это было ее профессиональным признанием... И вот теперь расплачивается, и хоть было бы за что... Но постепенно успокоилась. Ну, ладно, не первая же их ссора, он и раньше ревновал ее страшно, особенно к начальству, липнувшему, надо признать, действительно постоянно: любят старички пухленьких и светленьких: Вернется — помиримся, а может, и сам к вечеру опомнится, а завтра снова позвонит... Но в начале одиннадцатого вдруг остро закололо в груди, стала задыхаться, девочки заволновались — ой, вы вся прямо красная, может, у вас давление? — она им казалась вполне инвалидного возраста. И до самого вечера кружилась голова, а ночью не спала ни минуты, думала — из-за жары...

Потом в комнату стали одна за другой заглядывать подруги и просто знакомые, пытались рассказать услышанные по радио и вычитанные в газетах подробности, она поняла, сколько же народу на самом деле знало об их отношениях. В буфет, конечно, не пошла, вместо этого по прожаренному солнцем стéклянному переходу на уровне третьего этажа перебралась в новый корпус, зашла в библиотеку, взяла еще не разобранные утренние газеты, стала искать сообщения, прочла в одном месте, в другом... И все поняла.

Бедный, несчастный ее мальчик! Испуганный, затравленный этими негодьями. — может, действительно

приезжали к нему домой, что-то требовали? Довели до того, что ему показалось, будто убил этого засранца Сашку Кравцова, а тот вон живехонек, отвечает в Копенгагене на вопросы нашего корреспондента: «Это не более, чем фантазии довольно талантливого, будем справедливы, но неуравновешенного и легкомысленного человека...»

Да еще и от ревности потерял окончательно рассудок... Что же он пережил, если решился... Для него это же все равно, что самоубийство, она знает... Журавский, тварь, подонок!.. И ничего, ничего она теперь не сможет сделать...

Она почувствовала взгляд — от соседнего столика на нее смотрела Валя, секретарша Плотникова, воспользовавшаяся отсутствием хозяина и заглянувшая полистать «Бурду». Она попыталась улыбнуться этой незлой девке, и вдруг почувствовала, что уже давно плачет, слезы текут по щекам, размывая и без того подтаявший от жары грим. Хороша же она сейчас... Валя встала, быстро подошла вплотную, быстро вытащила из кармана узейшей и короткой джинсовой юбки бумажную салфетку:

— На, вытрись, — сказала тихо. Всем в Институте, кроме самого Феди, говорила она «ты», не различая ни возраста, ни положения. Было ей не то тридцать, не то сорок, и никто, кроме подружек-машинисток, не знал о ней ничего. — Вытрись, вытрись... Еще наладится. Теперь еще и не такие возвращаются. Время пройдет — еще встречать будут, как космонавта. Парень, конечно, хороший, плакать стоит. Только на Федю он зря попер, я так считаю. Федя — человек, вы никто не знаете его...

А еще через два дня вернулась вся делегация, вся, кроме него. Она сидела безвыходно в комнате, раза по три в день пила какие-то таблетки, добытые великой Ленкой, от таблеток немного кружилась голова и плавали строчки, но можно было жить.

Институтские собирались вокруг Кравцова, выпытывали подробности, Сашка хмыкал: «Ептмать, тоже, новый диссидент нашелся... Просто решил там сразу выбиться в люди, да там теперь не больно с такими носятся...» Плотников в Институте почти не появлялся, видно, хватало хлопот в больших кабинетах, где утрясались последние проблемы с организацией Академии. На доске приказов вы-

весили объявление, что последняя зарплата будет в июле, вместе с ней всем, кроме тех, кто к тому времени уйдет переводом в другие организации, будет выдано выходное... Что значит «другие организации», все понимали — Академия. Заглянул Юра Вельтман, поздоровался с поцелуем, потоптался, поулыбался, повздыхал — видно, даже на эти безоблачные небеса донеслись слухи, что случившееся ее касается прямо. Вдруг решил, сказал:

— Ты, милая, держись... Он, между прочим, совершенно правильно поступил, я считаю. У меня, например, просто характер не такой, а то... А ты держись, — и неожиданно закончил, — мы с тобой еще в этой Академии дурацкой поработаем, будь здоров!

Вельтман ушел. Она тут же приняла таблетку: почувствовала, что опять подступают слезы, спешила заглушить становящуюся совершенно невыносимой, едва кончалось действие Ленкиного лекарства, боль в груди. Девочек теперь почти постоянно не было, бегали, оформляли перевод в университетскую аспирантуру, а старички-отставники как-то незаметно исчезли — на пенсию... Едва успела проглотить огромную, с пятак, таблетку, запить противной теплой водой из нагревшегося графина, как позвонили из группы оформления, попросили зайти.

— Тут такое дело, — сказал, глядя то в стол, то в потолок, вечный Федор Степаныч, сидевший здесь, когда это еще был первый отдел, и когда еще просто секретный, и даже, говорят, когда на двери была совсем откровенная табличка «Уполномоченный ОГПУ», — такое дело... Не едешь ты в Барселону. Не успели мы тебе у испанцев визу вырвать. Волокитчики они, испанцы, перестройку им, такое дело, пора устраивать. Но ты не расстраивайся. Тут лично тетка мой, — он со значением поднял палец, и она с некоторым трудом поняла, что речь идет о Плотникове, — звонил сейчас мне и порекомендовал тебя в другую группу включить...

— Что значит «в другую»? — ей, в общем, это было сейчас вполне безразлично, она даже не хотела никуда уезжать, ей казалось, что каким-то образом все скоро прояснится, он появится, или хотя бы позвонит, но сообщение Степаныча ее возмутило страшно. — Что значит «в группу»?

Я не туристка, я еду на коллоквиум, в программе мое выступление...

— Не шуми,— старый чекист посмотрел холодно, но страшного льда в глазах не нашлось, вытаял весь за полвека оттепелей, получилась просто старческая бесцветная слеза.— Не шуми, а посмотри лучше, куда тебя товарищ Плотни... куда тебя руководство включает.

Он подвинул к ней факс, скручивающуюся тонкую бумажку, заполненную смазанным английским текстом. Она прочитала, пропуская непонятные слова: «...международная ассоциация гуманитарных исследователей проводит в Париже... пять дней с... по... во Дворце... расходы по пребыванию и транспорту...»

Париж... И на две недели позже, чем Барселона. Может, что-то уже прояснится, может, он позвонит, и если он действительно остался, может... Какое-то безумие, подумала она, я тоже становлюсь тайной авантюристкой, это перешло от него.

— Ну, допустим, что по этой теме мое сообщение тоже может пройти,— сказала она.— Так ведь вы и сюда не успеете оформить?

— Успеем, успеем, — усмехнулся старик.— У французов в консульском отделе мой дружок трудится. Я еще и других не засылал на визу, за три дня все сделаем. Ты, еще Гречихин пусть напоследок съездит, да вот Сашку Кравцова надо послать, он с языками, поможет вам... А в Испанию ты ведь все равно скоро с супругом едешь, я слышал?

Тут-то до нее дошло все. В Барселону ее не пускают, и вовсе не испанцы! В Барселону она должна была ехать одна, а они теперь этого не хотят, они все знают и хотят держать ее за границей постоянно под присмотром — на тот случай, если он попытается с нею увидаться. Неужели все это не кончилось?! Неужели они и теперь могут преследовать за границей, мстить?..

Убить. Они могут убить — сразу и удивительно ясно поняла она. Но кто они-то? Ведь уже нет ничего... И немедленно сама себе возразила с вдруг пришедшей и уже не исчезающей трезвостью: да вот Сашка Кравцов и может убить. По молчаливому согласию — а то и просто указанию — этих распрекрасных, знаменитейших, интеллигентнейших, со-

вести страны — Плотникова с Журавским... Неужели могут? Неужели он был прав... Или действительно испытал...

А если так, подумала она с той злостью, которая всегда охватывала, если что-нибудь мешало удовлетворить жажду, страсть, желание тела, а если так, то я поеду в Париж, и посмотрим, что сможет сделать этот говнюк Кравцов, если придется, с нами двумя.

— Хорошо, Федор Степаныч, оформляйте, спасибо, — сказала она.

Домой ехала в каком-то веселом настроении, даже мелодию ту, двухлетней давности, то и дело начинала про себя петь. Ладно, твердила она, вы все против, ладно, а мы вдвоем, вдвоем, будем вдвоем... Ей уже казалось, что он в Париже окажется обязательно, что у них там назначена встреча. Все будет хорошо, твердила она себе, ничего не кончилось, жизнь большая, люди уезжают, возвращаются, она потерпит, хотя нет для нее ничего страшнее, чем терпеть его отсутствие, и ночь за ночью мучиться, а на третью, ну, на четвертую, в полубреду, почти в горячке, додрагиваться до только что заснувшего после самых поздних телепрограмм мужа, и уже знать, что это ничего не даст, будет пятиминутное ожидание, а потом отвращение и все та же, даже хуже, иссушающая жажда — но она потерпит, дождется, и все еще будет, будет соединение, то, ради чего можно жить, а без надежды на это — нельзя...

Только уже подходя к дому, она вспомнила, что впереди — Мадрид. Полгода.

Вечером, после девяти, становилось прохладно. Он сидел за столиком популярнейшего в городе бара «Bosch», на углу площади, названной в честь нынешнего короля, тихонько высасывал свой один за день стаканчик — виски стоил столько, сколько четыре пива, но, собственно, больше ни на что расходовать деньги с портретом все того же красавца-короля из довольно толстой пачки, в которую превратился здесь всунутый на прощание Яном чек, не приходилось. В студии Антонио, которая действительно была удивительно похожа на однокомнатную московскую квартиру, только вся белая, с мраморным полом, и ванная

побольше, а кухня поменьше, холодильник был забит тонкими ломтями ветчины в запаянных пластиковых лотках, банками с оливками, в каждую из которых вместо косточки был всунут кусочек анчоуса, да еще и дырка заткнута вырезанной из оливки же пробочкой, колбасами, покрытыми белым налетом, пивом, помидорами, гигантским, почти древовидным луком... А есть в жару не хотелось, днем валялся на ближайшем к студии Антонио пляже, в пригороде Cala Mayor, рассматривал удивительно некрасивых женщин, которым мода top-less не добавляла сексуальности, а напротив, отнимала последнюю, и только после пяти, когда жара спадала хоть немного, сидел в автобусе, ехал по невероятно узким, да еще и петляющим дорогам в гору, с горы, по сторонам стояли дома, каждый с названием — «Villa Maria», «Edificio Solar», к дороге они выходили лакированными дверями с начищенными медными ручками, а в противоположную сторону спускались с откоса двумя-тремя этажами, садом, бассейном... Это были пригородные деревни. Он всякий раз смотрел в спину шофера, разъезжавшегося в полусантиметре со встречными «сеатами» и «судзуки» — и не мог перестать удивляться этому цирку. Ему казалось, что он бы слетел в пропасть на первом же закрытом повороте... Приезжал в центр, бродил по пешеходным торговым улицам, до тошноты рассматривая витрины, выходил к огромному, застывшему наплывами свечного воска собору, поворачивал в полуметровой ширины сырые древние улицы — к арабским баням, сидел там в замкнутом каменными стенами садике... Потом спустился к оживленному бульвару, к площади, сидел на углу. «Камареро! Уна скотч, пор фавор». Отучить их пихать в стакан лед не удалось...

В девятом часу у края тротуара швартовался открытый «сааб», самый местный шик, приезжал Антонио.

Провожая его в аэропорт, скорчившись за рулем своего микроскопического «остина» (а это тамошний, североевропейский стиль), Ян вдруг сказал: «Я знал довольно много русских... Ты совсем, совсем нестандартный, так? Да, нетипичный. Я тоже датчанин... нетипичный. Теперь тебя встретит нетипичный испанец...» И замолчал. Молча, грустно доехали до аэропорта, долго искали место, чтобы воткнуть

полтораметровую машину. Потом все было именно так, как Ян предсказал: он затесался в шумную группу, все в длинных и широких цветастых шортах, в майках, с детьми, стариками и инвалидами в креслах-каталках, с огромными чемоданами на колесах, и он тоже был в этих дурацких штанах, в бейсбольной шапке, с отросшей за неделю и аккуратно подбритой седоватой щетиной, делавшей его непонятным образом похожим на круглолицего Яна, слегка приподнял синюю книжечку — и все, за стеклом! В этот момент шум в голове поднялся такой, какого никогда не бывало. Все же впервые в жизни пересек границу нелегально, да еще и не свою... Оглянулся — Ян стоял, подняв обе руки, в лиловой тенниске с крокодильчиком на груди слева, словно с точкой мишени, словно сдающийся.

Сколько таких нетипичных в мире, подумал он, может, вместе нас больше, чем типичных, может, мы, безумные, ведущие скрыто истинную жизнь и томящиеся во внешней, ложной — может, мы и есть самые нормальные, может, это в нас здоровье бунтует?

Нетипичный Антонио служил в сети местных сберкасс, организации на острове, судя по обилию ее рекламы и отделений, вездесущей и могущественной. Судя же по бешено дорогой машине, огромному особняку в тихом районе, который показал издали по дороге из аэропорта, и по каждый день меняющимся, но всегда темным тонким костюмам, белым рубашкам и английским галстукам, занимал Антонио в своей конторе положение немаленькое. Единственная при первом знакомстве странность: не говорил ни на каком языке, кроме испанского. Полное невладение английским — такая же к западу от Чопа редкость, как неумение водить машину, но бывает и то, и другое... Тем не менее, разговорились уже в зале прилета, где строгий пограничник в черных погонах — в цвет усов и вылезавшей из-под черного же форменного берета шевелюры — очень строго помахал ему ладонью, проходи, мол, не тычь мне свой датский паспорт, не задерживай... Антонио стоял за барьером, и он сразу узнал прекрасно описанного Яном испанца: «Он будет самым элегантным, если поблизости не окажется манекенщика от Hugo Boss». Антонио сделал шаг вперед и громко сказал: «Ола, Ян», — и оба дико расхохотались.

После этого, перекрикивая в открытой машине шум дороги, на невероятной комбинации испанского с жестами, интернациональными словами и мимикой, Антонио умудрился рассказать ему, что у него жена и дочь-невеста, а самому сорок семь, последние, понимаешь, друг, годочки, и вдруг приходит к ним в контору молодая бизнесвумен, совсем, друг, молодая, двадцать девять, представляешь, и блондинка, настоящая, представляешь, друг, здешняя, но блондинка, а ты сам блондинок любишь? ну, правильно, настоящий мужчина, значит, поймешь, это, друг, последнее счастье в жизни, а уйти от жены нельзя, никак нельзя, у нее диабет, и еще их родители очень дружили... Антонио совсем расстроился, прижал, «сааб» вылетел в крайний левый ряд, и ветер засвистел так, что говорить стало невозможно даже не имея общего языка. Взлетели на эстакаду, потом подругую — дороги на острове были не хуже, чем где бы то ни было на цивилизованной части материка — и остановились у бара. Здесь обнаружилось, что, кроме языка, есть еще одно расхождение, неполное понимание: Антонио с ужасом посмотрел на выбранный им Bell's и взял себе коньяку — конечно, не дешевого местного, а настоящего, Remy Martin. Да, есть такая слабость, здесь этого никто не понимает, друг, а как проживешь без коньяка, когда тебе сорок семь, а ей двадцать девять, и у тебя дочь-невеста, учится в университете в Мадриде, жена больна, очень больна, а здесь все пьют только вино, красное, тинто, а он не может, потому что у него желудок, эстомахо, и теперь едем в эстудио, там все хорошо, муй буэно, и через десять дней ты будешь в Барселоне, друг, как раз там будет твоя русская блондинка, и все будет о'кей, поехали, садись...

Антонио причаливал, брал свой коньяк, норовил заплатить за его виски, они сидели, молча переглядываясь, когда — в толпе толстых старух, хромых стариков, даунов, будто специально съехавшихся сюда со всей Европы в невероятных количествах, видно, настоящий сезон еще не начался и пока совсем по дешевке здесь отдыхали пенсионеры и инвалиды — проходила вдруг немка или скандинавка лет тридцати-сорока, беловолосая, уже дочерна загорелая, держа шорты-кюлоты или короткую юбочку крепкими, твердыми ногами... Что может быть прекраснее загорелой

блондинки, спрашивали они друг друга взглядами, и взглядами отвечали друг другу — ничего. Потом Антонио отвозил его в студию, в Sala Mayor.

Однажды Антонио запоздал. Было уже девять, половина десятого... Народ постепенно перемещался из-за уличных столиков под крышу. К вечеру он, надеясь молча сойти за местного, чисто брился и надевал свой блейзер, но сейчас продрог и в нем. Надеюсь завтра сэкономить — Антонио собирался пойти с ним и еще одним своим приятелем в ресторан, съесть хорошую паэлью — он заказал второй виски, чтобы согреться. Глотнул — и сразу возник шум, закричала в голове возвращающаяся туда время от времени, хотя все реже, толпа. Может, выпивка так подействовала, отвык от нормальных порций, подумал он, и тут же другой шум, настоящий, заглушил все.

От дальней стороны бульвара показались, приближаясь со скоростью идущего на посадку самолета, мотоциклы...

Они неслись уже совсем близко, уже мимо него промелькнули первые — в черной коже, в черных круглых глухих шлемах, без лиц, на горящих мощными фарами машинах с высоко поднятыми широкими круппами...

Всадники Апокалипсиса, успел подумать он, вот настоящие Всадники Апокалипсиса, а не хлипкие скелеты на заморенных клячах...

В эту секунду один из мотоциклистов круто свернул, поднял машину на дыбы и, въехав на тротуар, оказался в полуметре от его столика. Рядом упал плетеный стул, с которого вскочила, пытаясь убежать, женщина. Мотоциклист же, со всего размаху опустив переднее колесо, затормозил и сорвал шлем...

Он увидел знакомое яростное лицо, небритые, туго обтянутые скулы, золотые фиксы, сверкающие в оскале... И еще успел разглядеть шелковые тренировочные штаны между черной кожаной курткой и знакомыми, не удержавшимися на перилах его лоджии мокасинами с медными блямбами на перемычках...

Мотоциклист взмахнул шлемом — и в тот же момент, толкнувши от себя стол, он опрокинулся вместе со стулом навзничь, вбирая в плечи голову, чтобы не шмякнуться об асфальт затылком. Стол, переворачивающийся в сторону

мотоциклиста, толкнул убийцу, сбил удар, и шлем обрушился как раз на ребро столешницы, расколовшись вдребезги и расколов мраморную столешницу пополам.

И мотоциклисты исчезли, поглотив в своей исходящей ревом колонне приезжего товарища.

Антонио подъехал через секунду. Идем, друг, идем, торопил, подталкивая его к машине и расплачиваясь с официантом за все выпитое и разбитое, старательно отворачиваясь от знакомых, идем, тебе совершенно не стоит дожидаться полиции с твоим чудесным датским паспортом, черт меня дернул сегодня задержаться, понимаешь, я в офисе ждал ее звонка, вот и опоздал.

Они уже отъезжали под крики опомнившихся посетитель бары, в криках этих нетрудно было различить слова, вполне похожие на нормальные русские: «хулиганы» и «бандитизм». Он оглянулся. За крайним столиком со стороны, противоположной той, к которой подъехал дважды незадачливый киллер, сидел пожилой господин. Седые его кудри слегка шевелил вечерний ветер, светлый летний костюм был безукоризнен, трубка сыпала мелкие искры в синюю ночь. Ну, Федор Владимирович, вы даете, подумал он, лично контролируете... Что подделаешь, привычка руководителя. А с многократкой испанской прилететь сюда — проблема небольшая.

На шум в голове он уже внимания не обращал.

Через три дня Антонио проводил его в Барселону. Прощаясь, поцеловались по-западному — дважды, потом третий раз — по-русски...

В кармане его лежал чужой датский паспорт и вполне приличная сумма в песетах, в сумке — абсолютно приемлемая по любым требованиям одежда, билет пижон Антонио взял, конечно, в первый класс... Когда и как я расплачусь с этими ребятами, подумал он, с Яном и Антонио? Кто знает. Надо бы постараться расплатиться, пока жив... Ладно, что-нибудь придумается...

Полчаса лету до Барселоны он дремал. Когда сели, и народ пробирался к выходу, столкнулись с седым господином в светлом костюме, с нераскуренной трубкой в зубах. «Пардон, месье», — сказал господин. «Ничего, Федор Владимирович», — ответил он. Господин взглянул на него с

легким удивлением, потом засмеялся, как хорошей шутке: «Рюс? Же не парль па, месье...»

Но ему уже было все равно. Он вышел к стоянке такси и сказал шоферу: «Отель “Суизо”». Это было единственное название в Барселоне, которое он знал. И это была последняя и, может, самая главная услуга, которую оказал ему Антонио: бился все десять дней, но через каких-то своих могущественных деловых знакомых узнал-таки, где будут жить участники коллоквиума.

Открытие коллоквиума состоялось сегодня утром. Он рассчитывал перехватить ее у входа в отель вечером. Должна же она будет вернуться когда-нибудь в номер, даже если банкет в честь встречи выдающихся ученых планеты очень затянется... Главное — выбрать место для наблюдения, чтобы не раздражать швейцаров и полицейских.

Что будет потом, он себе не представлял, но не особенно и старался представить. Главное было: не встать слишком близко, но и не прозевать ее, потому что иначе придется снова караулить с утра...

Таксист напрягал слух, но не мог разобрать ни слова из тех, что бормотал сам себе иностранец. Сумасшедший швед или датчанин, решил таксист, их сейчас здесь полно.

В Москве, как почти все последние годы, отчаянная, горечью отдающая жара мая сменилась дождливыми, почти осенними днями уже к концу июня. Луи, вроде бы чистые, оставляли на джинсах — похолодало настолько, что приходилось одеваться, как в сентябре, она ходила в джинсах и кожаной куртке — грязно-желтые пятна.

Однажды в коридоре встретила Журавского, было это уже дня за четыре до отъезда, визы французы еще не дали, но Степаныч обещал, что хоть к самолету, но привезут... Журавский остановил, изобразил бурную радость, с объятиями и поцелуями, эта манера была принята, отворачиваться — выглядело бы неприлично.

— Ну, в Лютецию? — по-барски громко спросил академик. — Хорошее дело. Шанзэлизе, улица Фобур Сент Оноре, магазин Гермес... Отвлечешься, красавица, от наших тоскливых обстоятельств. Надолго?

— На пять дней, — коротко ответила она, не глядя, уже сделав шаг, чтобы обойти его.

— Жаль, мало... А ты, милая, что грустная такая? Или на меня дуешься за что-то? За что же? А я твою главу читал в предварительной верстке сборника, понравилась безоговорочно, мы с тобой полные единомышленники...

Она побледнела. Ему эта бледность мгновенно бы сказала обо всем — о наполнившем ее бешенстве, об изнуренности давно не удовлетворенным желанием, о том, что сейчас будет взрыв, скандал. Но академик Журавский ее настолько не знал, да и вообще не был склонен к наблюдательности по отношению к хорошеньким сотрудницам — просто отмечал их проходящее покачивание некоторым движением в своем организме, движением этим бывал удовлетворен, значит, все еще в порядке с Лешей Журавским, разговоры же с дамами на профессиональные темы считал неизбежной и скучной вежливостью.

— Я никогда не чувствовала себя полной вашей единомышленницей, Алексей Петрович, — сказала она очень тихо, и он был вынужден замолчать, прислушаться, — а в последнее время особенно. Кроме научных позиций, я придаю большое значение научному поведению... Непонятно? А знаете, как в спорте? Там за неспортивное поведение могут дисквалифицировать независимо от профессиональных результатов. Вот я считаю, что и за ненаучное надо бы тоже... Кстати — а разве мы с вами переходили на «ты»?

Она наконец обошла его и направилась к приемной: вызвал Федя, чего почти никогда с нею не бывало. Чувствовала, что Журавский смотрит вслед — и слышала-таки за спиной его негромкое, но внятное:

— Недостаточную настойчивость женщины никогда не прощают — вот и вся наука...

Ответить на это — уже был бы просто базарный скандал, она предпочла не услышать. Самое оскорбительное, что в этом отчасти была правда. Уж лез — так умел бы лезть! Как он: молча всунул в такси, повез... А этот поганец все на группу оглядывался, не видит ли кто, да не стукнет ли его Насте... Да и ему наговорил, мразь, от бессилия и в своих жлобских деловых целях... Ладно, забыть. Она толкнула

дверь и с тихим «Можно?» вошла в кабинет Плотникова, Валья даже головы не подняла.

Плотников встал, вышел из-за стола, хотя обычно его галантность на сотрудниц не распространялась, усадил. И начал сразу, как умел он:

— Скажите... прошу простить, это, естественно, между нами, даже оговаривать отдельно не надо... у вас с ним в последнее время какие-нибудь контакты были? Звонил? Передавал, может, с кем-нибудь что-нибудь? Поверьте, я на него не в обиде. Ну, сделал человек свой выбор, решил, что если один раз на скандале с названием прототипов удачно сыграл, то и во второй раз со скандалом укрепит свое положение. — его дело. Но, поймите, дальнейшие его действия очень важны для всех нас, и для вашей судьбы, конечно, тоже. Ваша поездка с мужем в Мадрид...

Она сидела молча, глядя ему прямо в глаза. Ну, Федя!.. Тем не менее, что-то надо отвечать. Решила немного выиграть время:

— Я не понимаю, Федор Владимирович, о ком вы говорите, о каком скандале, о каких звонках? И что вы имеете в виду, говоря о поездке в Мадрид? Это еще не решено, и я, если поеду, то не от Института...

Федя вздохнул, начал раскуривать трубку:

— С вашего позволения?.. Эх... Значит, не хотите говорить откровенно? Что ж, в другое время я бы посчитался с вашим правом на скрытность, посчитаюсь даже и сейчас. Но, уж не обижайтесь, сам буду откровенен. Вы задали вопросы, я отвечаю. Говорю я о нем. Скандал, который разыгрался с его обвинениями в адрес Института... в мой и Алексея Петровича адрес, известен всем, известен, конечно, и вам. Так же, как многим, и мне, конечно, известны ваши отношения... близкой дружбы, будем говорить, оставаясь в рамках приличий. Известны они и очень мною уважаемому вашему супругу, и он мирился с ними до поры. Но сейчас слишком многое с неуравновешенностью и непредсказуемостью вашего друга оказалось связано. Мы не можем допустить, чтобы его контакты с вами были нам неизвестны — именно через эти контакты мы надеемся дать ему знать, что если он не будет продолжать своих, кажущихся ему честными, высказываний, разоблачений, называйте как хотите,

мы, в свою очередь, просто оставим его в покое, пусть живет, как хочет, решит вернуться — думаю, не в Академии, так вон хоть у коллег, в Коммерческой исследовательской лаборатории, место ему найдется. Останется окончательно — будете видаться при любой возможности, мы будем даже помогать, только, чтобы помогать, надо ведь в курсе быть, правильно? Вот здесь и связь с Мадридом... Почему вы не поехали в Барселону, сами, наверное, догадались. В Париже, надемся, будете вести себя разумно, если что — Кравцов будет там, вы же знаете... Ну как, подруга героя, звонил он? Или действительно — нет?

Слушая Плотникова, она взяла из стакана на его столе карандаш, отклеила от кубика квадратный листок для записок, чертила бессознательно — и вдруг увидела, что рисует одно и то же: таксу, таксу, таксу... Только сейчас сообразила, что надо было давно позвонить соседке, которой он оставил Лельку, успокоить, завезти денег на кормежку собаки. Что же сказать? Федя действительно откровенен предельно. Почему-то из всего услышанного меньше всего задело очевидное соучастие мужа, стало даже легче... Ну ладно.

— Контакт, к сожалению, не было, — сказала она и захлебнулась воздухом, закашлялась, едва отдышалась. — Был, правда, один звонок из-за границы, судя по звонку, но трубку взял... муж... в общем, ничего не было слышно. Так что о его судьбе и планах я знаю не больше, Федор Владимирович, чем вы с уважаемым Алексеем Петровичем. Обещать стучать на него не могу даже ради его безопасности, он бы не простил. Если и в Париж не пустите, как в Барселону, дело ваше, хозяйское, но одно обещаю точно: если поеду, ни при каких обстоятельствах этой гниде Кравцову ничего от меня известно не станет. Если же поездка мужа в Мадрид не состоится — что ж, это его проблемы, пусть он их и решает с вами. А со мной если захочет прояснить отношения, я готова, но вас, господа, извините, это не касается, это дело наше семейное. Вот, естественно, все, что могу вам сказать. Если вызывали только для этого разговора, я пойду?..

Она заметила, что говорит сама в совершенно плотниковском стиле: вежливо, складно, точно выбирая

слова, которые обычно приходили ей на ум только задним числом после серьезных разговоров, особенно с начальством, — и порадовалась за себя. Она сегодня была достойна его романтики, его представлений об истинной жизни. Бедная, не совсем выездная госпожа Бонасье!..

— Что же вам сказать...— Федя выколотил трубку в пепельницу, стал набивать новую.— Счастливо съездить в Париж! И все же не забывайте, о чем мы говорили, при случае, может, передадите. Мы все можем оказаться скоро очень полезны и даже необходимы друг другу, все, кто связан с Институтом и вообще с новой жизнью. Может, уже через пару недель... Возможно, и ему, и вам потребуется наша помощь — и у нас будут для этого возможности, ради того и стараемся, ради того и шокировали, может, его щепетильность... А возможно, и он сможет помочь нам... Как еще ситуация повернется... Ну, счастливо.

Она вернулась в свою комнату. За окном лупил дождь, и, несмотря на раннее время, всего около четырех, от туч было темно. Через пару недель... А сегодня какое? Двадцать девятое июня. Значит, числа двенадцатого июля что-то должно случиться? Боже, до чего ж он был прав: истинная жизнь авантюрна, похожа на роман и, видимо, никогда не прекращается и не прекращалась под поверхностью внешней, обыденной, серьезной. А время от времени вырывается вот таким обжигающим выплеском... Муж... Ну вот и наступила полная свобода — свобода не мучиться совестью, не считать себя предающей. Если знал все время... И, к тому же, знал про Журавского — а видимо, знал, судя по некоторым фразам, как теперь становилось ясно... Все, свободна! Свободна играть по тем же правилам, на свой, отдельный выигрыш, лгать и ловчить, используя любой промах этого, уже чужого, человека в своих интересах... А ее интересы одни: увидеть его, быть с ним, когда и где только можно, быть с ним снова и всегда.

Пока же было ясно только: в Париж она поедет, потому что они рассчитывают, что там он... как это говорилось в идиотских шпионских фильмах?.. «выйдет на нее». А если они на это рассчитывают, значит, такая возможность есть, она поверила в их осведомленность и могущество после разговора с Федей, они действительно все, почти все знают и

могут. Он был прав, и никакие не галлюцинации его мучили, а, конечно же, они преследовали его, пытались сломать заранее, чувствуя, что он для них опасен. Жаль, что он не пристрелил тогда Сашку Кравцова, только ранил — до сих пор рукой почти не двигает... Она ужаснулась этой своей мысли, злорадному воспоминанию о том, как он сбросил из лоджии одного из их помощников — но ужаснулась мельком и тут же отвлеклась. Выйдет на нее, на нее... на нее... Господи, если они не встретятся скоро, через несколько дней, она тоже сойдет с ума! И так уже каждую ночь ей мерещится он, его тяжесть, его тепло, его стон, и приходится тихо идти в ванную, выделывать над собой невесть что, пытаюсь утихомирить боль, жжение, муку... Она сойдет с ума, и они встретятся, двое безумцев, обязательно встретятся, но именно не раньше, чем она сойдет с ума, сравняется с ним — в этот миг она поняла абсолютно ясно, что так и будет. Ну, так пусть же скорее, хоть сейчас я лишусь рассудка, взмолилась она, вот хотя бы в эту минуту, под этот сумрачный дождь, льющий весь день, в этой постылой, заваленной никому не нужными бумагами комнате, пусть!

И зазвонил телефон — длинным, нескончаемым, международным звонком.

И телефон звонил, а она тянулась, тянулась к трубке, и никак не могла дотянуться, снять.

И она сняла трубку.

— Наконец, — сказал он, — наконец я дозвонился до тебя. Здравствуй.

* * *

Комнату он нашел только часам к пяти — к счастью, в пансионе «Fontanella», в двух шагах от ее «Suizo», на той же via Laetana.

Он бросил сумку, умылся, сменил рубашку и повязал галстук, чтобы выглядеть нормально в окрестностях приличной гостиницы, в самом центре города, и отправился на дежурство. Заплатил он только за сутки — без всякой особой идеи, просто цена, как всегда в отелях, показалась поначалу несообразно высокой даже в этом, беззвездном — впрочем, вполне начищенном и исправном во всех частях, от лифта до бачка в уборной.

Он прошел по забитой машинами улице. Справа остался какой-то не то замок, не то дворец с высокой глухой стеной и узкими, между тонких колонн, окнами, выходящими на балюстраду где-то на уровне четвертого-пятого этажа, перед замком маленький памятник, позади замка собор — все, что полагается.

Ходу было ровно десять минут. Он занял наблюдательный пост через неширокую улицу — одну из отходивших от прелестной площади, на которой стоял ее отель с красивым и чем-то идущим ей названием «Суизо». Это могло бы быть ее именем, но, как нетрудно догадаться, по-испански это просто «Швейцария», что и явствует из флага над отелем.

Спустя час он понял, что отсюда он может ее не разглядеть, да и простоит еще максимум час — или заметит какой-нибудь полицейский, или ноги подкосятся. Тогда он вышел на площадь и оказался в баре, в самом удобном для наблюдения месте, со столиками, естественно, на воздухе. Взял «кофе соло пекеньо», то есть без молока, маленький, закурил... Здесь он провел еще час.

В десятом часу народ начал толпами возвращаться в гостиницу. К этому времени он в своем баре уже хватанул дважды — махнув рукой на деньги, как-нибудь все устроится — пахнущего цветами дивного бурбона, полностью соответствующего своему названию Four roses, но все равно начинал замерзать, оставшись один среди пустых столиков на площади. В числе входящих он приметил мужчину с удивительно знакомым лицом, и после недолгой попытки память выдала: американец, кажется, Пит... или Билл... черт его знает, факт, что постоянно околачивается в Москве, до недавнего времени назывался советолог, теперь просто русист, хотя никакой он, понятно, не филолог, просто отлично говорящий по-русски и знающий страну политический разведчик, работавший, вероятно, и на тех, и на других... Но раз он прошел, значит, все правильно, коллоквиум размещен здесь, и компания, в которой мелькнул Пит или Билл, — это возвращавшиеся с коктейля или осмотра достопримечательностей участники.

Ее не было.

Мимо все время ходили отчаянно вооруженные — пистолеты, дубинки и даже короткие автоматы —

полицейские из управления, которое он заметил поблизости. Он вспомнил, что живет с чужим паспортом...

Без пяти десять он вскочил из-за стола так, что чуть не перевернул его — показалось, что она. Но это была немка или шведка, на двадцать сантиметров выше, на сорок килограммов толще и уродина. Тогда он расплатился в баре — зашел, не дожидаясь официанта, направился к стойке, «уна кофе соло и дос борбонас, грасиас, буэнас тардес» — и вдруг сообразил, когда бармен подвинул ему вместе со сдачей талончик счета: счет... заказ... регистрация! Какую фантастическую тупость демонстрировал он весь сегодняшний день!

Он бросился в вестибюль гостиницы. Идиот, идиот, столько времени потеряно! А все привычка последних недель чувствовать себя нелегалом, всего бояться, скрываться... Как будто здесь на каждом углу требуют документы... Хелло, ду ю спик инглиш? О'кей, ай'м лукинг фо рашен лэйди, хе нэйм из... О, дэт'с импоссибл, ши маст би хиз, плиз, трай эгейн...

Она не останавливалась в этом отеле.

Сорри, кен ай аск ю? Ис дээ энаде пипл, ху тэйк партиндэ колок, уот'с оргэнайзд бай зэ юнивесети? Йес? Тэнкс. Бай.

Она не приехала на коллоквиум. Теперь он соображал быстро — если бы давно так, а то сейчас в Москве уже... хотя... ничего страшного, только четверть первого, муж наверняка еще смотрит телевизор, она может взять трубку... Только услышать голос, узнать, что жива — и все. Идиот, идиот, самолюбивый идиот, обиделся — и чего ждал? Ей же позвонить некуда, что она, могла позвонить в студию Антонио? А если так уж обиделся, не простил ей историю с Журавским, чего городил огород, прискакал в этот неведомый город, бродишь здесь у подъезда, как подкарауливающий задевшую за живое девчонку семиклассник? Провинциальный русский подросток в Барселоне...

Деньги разменял на тяжеленькие стопесетовые желтые кружочки в том же баре — бармен невозмутимо улыбался, отсчитывая монеты сумасшедшему, то сидящему три часа неподвижно, уставившись на подъезд гостиницы, то вскакивающему, как укушенный, то намерившемуся

звонить, судя по разменной сумме, на Луну и говорить час...

Он вперся в будку автомата, прочел здешний код международной, набрал... теперь Россию, отовсюду семерка... Так. Муж, конечно, следовало ожидать...

— Але? Але!?! Вас не слышно! Не слышно!

И вдруг — в сторону, но совершенно отчетливо, в сторону — значит, ей, больше некому:

— ...Наверное, меня. Может, Мадрид, звонок международный... странно, оттуда всегда хорошо проходит... или тебя? Але? Але! Не слышно вас.

И гудки.

Все. Боже... Она есть, существует, муж обращался к ней. Не приехала — ничего страшного, может, визу не успели сделать... Хотя... Собиралась давно. В чем же дело?

Облегчение, когда он услышал, как муж обращается к ней, прошло и сменилось совершенным отчаянием. Что он здесь делает? И что будет делать дальше?

В голове уже давно стоял дикий крик, он брел к своей гостинице, миновал ее, повернул налево, вышел на какую-то замкнутую со всех сторон домами прямоугольную площадь — все другие, которые он прошел, были круглыми, пошел дальше, попал на широчайший бульвар, вымощенный плиткой так, что создавался зрительный эффект волн, его уже и без того качало, он побрел по бульвару вниз, выбрался к набережной...

В небо, нижняя часть которого угадывалась как море, упиралась колонна с человеком на вершине.

Вдруг почему-то подумалось: давно ничего не происходило с ним страшного, только мотоциклист в Пальме, давненько никто в него не стрелял, да и он здесь, в мирной Европе, почти не воюет. Вот что значит хорошая полиция, ее и призраки боятся, усмехнулся он про себя.

— Колон, — сказал появившийся рядом старик с потухшей трубкой в зубах, в кепке, из-под которой выбивались седые кудри, в растянутой вязаной кофте.

Он не сразу понял, что это означает не «колонна», а «Колумб». Памятник человеку, совершившему самую удачную из возможных ошибок. Кажется, он поплыл отсюда, всем за-

должавший Христофор. «Я тоже отсюда поплыву... черт меня знает куда...» — пробормотал он.

— Алемано? — спросил старик. Он подумал, потом кивнул. — Ке таль, алемано? — спросил старик. Он знал, что это значит «как дела?», и знал, как ответить.

— Муй бьен, грасиас.

— Пепе, — сказал старик и ткнул большим пальцем себя в кофту.

Он подумал и похлопал себя по лацкану пиджака:

— Ян.

Старик посмотрел на него внимательно, потом взял за локоть, повернул, как паралитика, и подтолкнул.

Они пошли рядом, время от времени старик подталкивал его, и они поворачивали направо, налево, снова направо. Так они шли совсем недолго, но город изменился совершенно. Вместо широких и хорошо освещенных бульваров и проспектов здесь город состоял из теснейших и грязных улочек, причем не было ощущения древности — грязь была обычной грязью, сырость обычной сыростью, теснота обычной теснотой, и только полуметровая ширина мостовой, да то, что мостовая эта все-таки была, да в черном небе палки поперек улицы, а к палкам привязаны веревки, а на веревках тени белья — только это и напоминало, что ты не в Челябинске, не на Автозаводской в Москве, не в Тюмени, а в иной, чуть все же более экзотической нищете. Темные человеческие фигуры выходили из полусломанных дверей, переходили в один шаг улицу, распахивали другие такие же двери — открывался взгляду бар, затхлый узкий коридорчик с тремя пластиковыми столами и полусгнившей стойкой. За стойкой поднимали стаканы люди в грязной одежде, и запах старого пота перешибал все. Вот еще отличие — даже таких баров в Челябинске не водится... Людей на улицах было полно, район и не думал спать, все окна светились — собственно, это и было здесь единственное уличное освещение.

Он вяло переставлял ноги, вяло, привычно искал аналогии тому, что видел, в виденном раньше, без особой боли всплывали слова — «Москва», «дома», «у нас»... Он почти спал на ходу, хотя было не так уж и поздно. Старик шел молча. Ржавые, модели семидесятых годов машины были

каким-то образом тоже втиснуты в эти улицы, время от времени какая-нибудь из них перегораживала дорогу, тогда старик осторожно помогал ему обойти препятствие, как слепому. «Вот я и уплыл, — бормотал он, — вот моя Вест-Индия...» Старик молчал. На улице же непрерывно звучала тихая речь — иногда, среди испанской, арабская...

Вдруг он понял, что уже никогда не увидит ее, что все попытки бессмысленны, что невозможно встретиться двум русским в мире, населенном людьми, говорящими на непонятных языках. Утром придумаю, как послать отсюда все деньги в Москву, чтобы кормили Лельку, подумал он, наверняка здесь есть какая-нибудь организация, через которую это возможно сделать. И приду в этот квартал, здесь останусь. Это хорошее место для сошедшего с ума пацана с Преображенки...

Старик толкнул дверь, и вошли в помещение небольшого магазина — из тех, что торгуют тряпками для молодежи: джинсами, ковбойскими сапогами, кожаными куртками и бейсбольными каскетками с нейлоновой сеткой сзади.

На прилавке сидел парень, одетый во все продающееся в магазине барахло, и курил тоненькую самокрутку, светлый дым плыл к потолку, под которым горела одна смутно видимая лампочка.

— Алемано, — сказал старик парню и показал на него. Парень спрыгнул с прилавка и обошел вокруг, словно прикидывая, какой размер одежды ему нужен. Наверное, просто привык так осматривать людей, работая в магазине. Потом парень снова взлез на прилавок, вытащил из одного кармана черной рубахи тоненький пакетик, вроде тех, в которые кладут овощи в супермаркетах, из другого — бумагу для самокруток и протянул все это ему.

— Херба, — сказал парень, — грасс.

Тут он понял, что ему предлагают покурить травку, и сразу вспомнил, где пахло так же, как в этой лавочке — в том баре, где встретил он Яна, это было уже почти месяц назад... Он кивнул.

Старик давно ушел. Он сидел на стуле, который парень принес и поставил посередине помещения, прямо под лампой, и докуривал самокрутку, за которую заплатил парню три тысячи. Это недорого, думал он, совсем недорого за то,

что удалось совершенно остановить время, я выкурил всего одну тоненькую самокрутку, а прошел уже целый час... Или год?.. Но, значит, я не остановил, а ускорил время?.. Тем лучше, значит, еще одна самокрутка, и жизнь кончится, и мне не надо будет возвращаться в гостиницу, и все...

Потом время пошло обычно. Он огляделся. Парень дремал, лежа боком, поджав ноги, на прилавке, больше никого не было. Он взглянул на часы — три двадцать, ничего себе, погулял... Жутко хотелось пить. Он посидел, подумал... Встал, подошел к парню, подергал за плечо, парень не проснулся, спал здоровым, детским сном, дыхание было ровное, лицо незапоминающееся, чистое и спокойное. На прилавке лежала стопка карточек, он взял одну, там было название лавки «California» — и адрес. Он сунул карточку в карман и вышел.

До гостиницы он добрался, проплутав, но ни на минуту не отчаиваясь, как раз вовремя, к шести. Уборщица, мывшая холл, посмотрела на него с полным безразличием, поправила свой белейший фартук и снова стала возить по цветному камню толстой розовой губкой на розовой же палке. Он взял свой ключ, назвав фамилию Яна, и поднялся в номер, разделся, пошел в ванную. Московская закалка и давно проверенная методика помогли: получасовой контрастный душ, беспощадное бритье, одеколон, старательнейшее причесывание... Натянул трусы, джинсы, толстые носки, надел кроссовки, черную майку... Бегом спустился с лестницы, обогнав по дороге медленно сползавшую в зарешеченный пролет полированную деревянную шкатулку лифта... Выскочил на улицу, прорезал поток идущих на работу служащих в просторных костюмах и секретарш в узких юбках, влетел в лавку на углу... Через пять минут был уже снова в номере, скрутил голову маленькой фляжке дешевого Queen Anne, сделал большой глоток, подышал, сделал маленький...

Все. Можно жить дальше, особенно если фляжка осела в заднем кармане. Еще раз ополоснул лицо холодной водой. Засунул всю одежду в сумку, пиджак надел прямо на майку.

И ушел, положив на стойку ключ, махнув на прощание уборщице — адюс, адюс!

Было еще слишком рано, он решил пройтись...

Вдруг остановился: один из углов очередного перекрестка был волнистым, как вчерашний бульвар, но это был дом, а не мостовая, и волнистым в этом доме было все — линии балконов, окна, крыша... Угол, на котором стоял дом, был живым, камень дома как будто двигался, это было похоже на плывущую медузу... Он вспомнил имя Gaudí, и фильм, в котором видел этот дом впервые.

То, что происходит со мной в последнее время, подумал он, должно бы происходить именно здесь, в этом городе, в этом доме, они достаточно безумны.

Он повернул назад, и вскоре уже шел по вчерашнему бульвару, при свете утра не менее волнистому, но еще обнаружившему и свое название — Rambla, и свое основное назначение — здесь был цветочный и птичий рынок. Продавали также сиамских кремовых котят с бессмысленными голубыми глазами... Он опять дошел до набережной, повернул, сверившись с вынутой из кармана карточкой, спросил дорогу у старухи, тащившей из чистки мужской костюм на плечиках, в прозрачном чехле...

Наконец он увидел вывеску «California» и вошел.

Парень посмотрел на него со спокойной профессиональной улыбкой продавца, как на абсолютно незнакомого. И понадобилось не меньше получаса, чтобы по-английски — говорил молодой хозяин «Калифорнии» на соответствующем языке вполне свободно — уломать его взять сумку со всем содержимым.

— Три таузэндс, — сказал парень. Он пожал плечами, это было ничтожно мало за свитера, и шорты, и рубашки, и английские ботинки, все почти новое, но что сделаешь... Парень протянул ему три ярко-зеленые бумажки, и он мог бы поручиться, что именно эти самые он вчера здесь оставил за тощую закрутку не очень хорошей травки. Тогда он снял с себя и протянул парню пиджак. Помяв в руках купленный на Oxford street настоящий Harris tweed, парень бросил пиджак на прилавок и протянул ему, вытащив откуда-то из-за себя, кожаную куртку, черную блестящую куртку, униформу российских гангстеров и всемирных бродяг. Теперь все было в порядке. Он сунул бумажник поглубже в карман, застегнул молнию. Теперь, налегке, он был готов ко всему предстоящему...

В три он решил позвонить ей на работу. В конце концов, он или не застанет ее, или услышит ее голос, услышит — и все, положит трубку. В конце концов, он может позволить себе такое прощание — молча. В конце концов, если они уже никогда не увидятся, это еще не значит, что нельзя будет иногда позвонить и услышать ее голос. Можно всю жизнь звонить и класть трубку. В конце концов, даже если от этого будет только тяжелее, все равно стоит позвонить, разве до этого он делал только то, от чего становилось легче?

Он уже бежал, высматривая автомат. Сейчас там пять, соображал он, пять... Еще, может, не ушла.

Он дозвонился сразу.

И в сплошном, захлебывающемся, с причитаниями плаче — впервые он слышал, чтобы так плакала эта женщина, и успел подумать, что, видимо, не так уж хорошо знал ее раньше, если впервые слышит ее горький плач — он вдруг разобрал: «Париж...»

— Что?! — закричал он. — Какой еще Париж? Когда? Что же ты молчишь?

— Я говорю, — она еще всхлипывала. — Ассоциация гуманитарных исследователей, через четыре дня...

— Отель? В каком отеле ты будешь?

— Не знаю. Заседания будут во Дворце... Ой, я не помню названия, подожди... подожди... где же эта бумажка...

У него уже кончались монеты и время, на экранчике вместо трехзначных запрыгали двузначные цифры кредита, значит, осталось меньше минуты.

— Я найду тебя! — заорал он, стараясь перекричать короткие гудки, предупреждающие о прерывании разговора. — Найду обяза...

Прервалось.

И он сразу же вспомнил, что паспорт Яна — в пиджаке...

Остаток дня он искал лавку «California».

Ужас заключался в том, что карточку он уже выбросил, а адрес не запомнил.

По некоторым переулкам он прошел трижды, и толстые тетки, стоявшие в дверях своих домов с пригоршнями обычных, серых с белыми гранями, жареных подсолнечных семечек, совершенно как в Орле, при его появлении кричали что-то, оборачиваясь в темные глубокие коридоры, и оттуда

выходили сумрачные мужики в майках, в тапках на босу огромную ногу, смотрели без выражения ему прямо в лицо... Он наткнулся на магазин, торгующий подержанной кухонной мебелью, двое одинаковых — коротких, толстых, без шей, широкоплечих, на мощных низких ногах — выносили оттуда тяжелую стальную мойку. При этом они были, скорее всего, муж и жена, во всяком случае, один из них был лыс, а другая неаккуратно крашена хной. Он попытался разминуться с ними, шагнул влево, вправо, опять влево — и все же оказался у них на пути, как раз когда они собирались запихнуть груз в высокий фургончик «рено». Тогда муж поставил свой угол на землю, взял его за ворот кожаной куртки одной рукой, а другую, сжатую в кулак, сильно прижал к его щеке, сворачивая голову на сторону, придавливая нос, как бы демонстрируя в статике, что его ждет, если будет путаться под ногами у бедных, но работающих людей — старый псих в куртке, как у молодых бездельников. Он разобрал в крике толстого два слова: «идиото» и «ходер». Что значит второе, он уже тоже знал, по-русски в таком случае обычно добавляют какое-нибудь прилагательное. Час спустя за ним увязался мальчишка, методично швырявший ему в спину пустую пластиковую бутылку. Бутылка с гулким стуком отскакивала, он оглядывался, но пацан уже успевал поймать свой снаряд и, под хохот друзей-болельщиков, кривлялся метрах в пяти: хлопал себя рукой по ширинке, тут же поворачивался, наклонялся и так же хлопал себя по темной латке на заднице ветхих штанов...

Лавки нигде не было.

Он пошел наугад к границе этого странного квартала и вдруг опять вышел, через пять-семь минут, прямо к памятнику Колумбу.

Старик стоял на том же месте, что вчера, в той же кепке, только вместо вязаной кофты на старике был его пиджак, английский пиджак, оставленный утром в проклятой лавке. Трубка сеяла искры в ярко-синий вечерний воздух, седые кудри, торчавшие из-под кепки, сверкали под светом, падавшим от фонарей на бульваре.

Где-то я видел этого старика раньше, подумал он, не вчера, а гораздо раньше, не здесь... Вспоминать было некогда.

Уже почти понимая, что все бесполезно, он подошел, заглянул в лицо старика, похлопал себя по лацкану куртки:

— Алемано, — и добавил: — Ола, чико.

Старик смотрел на памятник.

— Колон, — сказал старик. Потом перевел взгляд на него и отрицательно покачал головой:

— Но. Ту Пепе. Йо алемано, — и ткнул себя большим пальцем в твид пиджака.

* * *

Из невероятно, невыносимо грязного вагона, примерно равного по этому качеству межобластному Казань—Йошкар-Ола, он вышел в сумерках. Городишко, по его расчетам, сделанным с помощью туристской карты, был уже у самой границы.

Все те же двух-трехэтажные дома, гаражи, лакированные двери к улице, машины сплошным рядом у тротуаров... Он побрел без особой цели от станции, рассчитывая выйти к здешнему центру. Зайти в какой-нибудь бар, попробовать разговориться, предложить все оставшиеся деньги, часы — настоящие, хорошие «Seiko», купленные из первых гонораров, золотую цепочку, перевесив крестик на шнурок... Оставить только на дешевейший билет до Парижа, проклятого, недостижимого города. О контрабандистах на этой границе у него были сведения только из древней комедии с Фернанделем. Вероятней всего, что теперь, в их единой Европе, контрабандистов вообще нет, но другой возможности придумать не мог...

Никакого центра не оказалось. Вместо этого через десять минут ходу все по той же широкой, прямой и абсолютно безлюдной улице, ровно текущей черным асфальтом среди темных машин и домов с закрытыми ставнями, между планок которых пробивался слабый свет, он вышел к грязному пустырю. За пустырем стоял непроглядно темный лес, круто забиравший в гору. На вершине горы из лесу торчала, черным силуэтом туры на почти черном небе, башня.

Он оглянулся. Редкая цепочка фонарей спускалась по пройденной им улице, до самого вокзала. Далеко слева — там, видно, и остался центр — мигали несколько разноцветных вывесок, среди которых выделялась огромная зеленая

«7 ур». Ничего гаже этого напитка он в своей жизни не пробовал... Справа улица завершалась высокой каменной стеной с мощными, но ажурно кованными воротами, в стиле «арт деко». Он двинулся обратно по правому тротуару, у ворот остановился, заглянул...

За воротами был запущенный, колючий, мало отличающийся от недалекого пустыря сад, двор с кустами и толстыми, кривыми деревьями. Среди кустов поднималась к стоящему в глубине дому широкая каменная лестница с обрушенными ступенями, а дом, неярко освещенный фонарем, стоявшим на противоположном тротуаре, был не совсем дом, а скорее маленький дворец. Облупленные тонкие колонны поддерживали широкий навес над крыльцом-террасой, колонны стояли на спинах каменных львов с орлиными головами, а по всему краю крыши третьего этажа шла низкая балюстрада, столбики которой были так пузаты, что почти смыкались друг с другом. Ставен на окнах дома не было, но никакого света не падало из них, только желтое отражение повторялось в пяти высоких и узких черных стеклах.

Дворец был прекрасен, но выглядел настоящей руиной.

Как же я живу теперь, подумал он, если даже эта декорация к хоррору не может меня особенно удивить.

— Интересно мне, чего этот пидар здесь трется, — сказали позади него, не повышая голоса, но внятно.

В ту же секунду над краем каменной стены появилась широкогрудая, лобастая черная собака, вернее, хорошо очерченная тень собаки, и захрипела, нависая над ним. Ротвейлер, узнал он, если прыгнет — конец, это убийца...

А позади другой голос спокойно поддержал диалог:

— Ты что, Саша, не видишь, кто это? Куда ж ему деваться, как не сюда... Все по плану, Саша, все по плану...

Он оглянулся, сделал шаг к кабине огромного трейлера «вольво», стоявшего напротив ворот. Тут же дверца кабины распахнулась, и один за другим на землю спрыгнули старший научный сотрудник Кравцов, академики Плотников и Журавский. Все трое были, по обыкновению водителей колесящих по всему миру трейлеров, голы до пояса, и зрелище это внушало уважение: страшный рваный шрам на груди Кравцова, под правой ключицей, хорошо прочерченные, густо заросшие седым волосом мышцы

Плотникова, баварский живот, отдавливающий вниз парусиновые штаны, и жирные бицепсы Журавского... Пес за спиной перестал хрипеть, он услышал тяжелый прыжок, треск раздвигающихся кустов — зверь передал его дежурной группе и ушел в глубь двора.

— Ну, что ж так у ворот топтаться? — спросил Плотников голосом хорошо воспитанного хозяина. — Входите, входите, вы очень вовремя успели...

— Давай, — Кравцов хлопнул его по плечу, сунул руку дощечкой, даже почти обнял, — давай, давай, старичок, посидим, примем понемножку... У нас там еще есть, Петрович?

Журавский досадливо пожал круглыми плечами:

— Вы, Саша, честное слово, меня прямо барменом назначили. Ну, думаю, найдем что-нибудь, а то вон на человеке с дороги лица нет.

Ворота открылись легко и беззвучно, они начали подниматься по лестнице, он впереди, остальные следом. Ротвейлер остался на нижней ступеньке, радостно дергая обрубком хвоста, изображая им виляние.

Наверху, на террасе, почти точно посередине между львами, их ждал высокий человек в светлом костюме. В полутьме он разобрал только, что человек был очень стар, руки и лицо его были темными не то от возраста, не то от загара, на голове была светлая, под костюм, шляпа с широкими опущенными полями.

— Прошу в дом, — сказал человек в белом, делая шаг в сторону, снимая шляпу и жестом приглашая его в темный проем настезь открытой двери. — А вас, господа, благодарю, можете пока спокойно отдыхать...

Он оглянулся на коллег. Секунду помешкав на ступеньках, они развернулись и потопали вниз. Первым шел Журавский... Вот они вышли за ворота, осторожно прикрыв их за собой, и, один за другим, полезли в просторную кабину...

— Прошу, прошу, — повторил белый господин и пошел впереди. Вдвоем они миновали абсолютно темное помещение, видимо, холл, и двинулись в глубину дома. Он шел за колеблющимся впереди белым пятном.

— Осторожно, сударь, здесь порожек, а после три ступеньки вверх, — сказал хозяин, одновременно, судя по звуку, поворачивая где-то впереди ключ в замке.

Дверь распахнулась, они вошли в гостиную, и впервые за этот вечер он подумал: «Все же... странно. Может, правда, повредился я? Или так бывает? Что ж, к князю тьмы меня Сашка Кравцов привел, что ли?»

Меньше всего удивляло его появление Сашки и остальных, он уж привык к их возникновению в самых разных местах, к меняющемуся, но всегда непотребному виду. А к крикам в голове своей давно не прислушивался... Но гостиная его поразила.

Была она не слишком велика и довольно тесно заставлена красного дерева мебелью, настоящей павловской. Во всех углах стояли застекленные горки, в ближней он усмотрел эмалевое яйцо Фаберже, прочие мелочи были примерно того же свойства. Вдоль стены, противоположной двери, стоял, как положено, длинный диван, с жесткой гнутой спинкой, с сиденьем, обтянутым синим полосатым шелком. Перед диваном был круглый стол на львиной мощной ноге, на столе стояла фарфоровая лампа под темно-оранжевым абажуром с золотистой бахромой, лежал альбом для фотокарточек в отделанном металлом, с ирисами и длиннобедрыми дамами, переплете, стояли две гарднеровские чашки, чайник, серебряная сахарница с торчащими из нее щипцами. Слева от дивана — фортепиано с заваленной нотами крышкой, клавиатура была открыта, а свечи в поворотных шандалах сближены к пюпитру и горели. Справа стояли два кресла в таком же, что и на диване, синем шелке, а между ними второй столик, поменьше, с бутылками, синими и лиловыми стопками и лафитниками, с плетеной из белой соломки тарелкой, на которой лежали бутерброды — пара с паюсной икрой, пара с окроком, несколько с розовыми ломтями лососины...

На диване сидела дама. Лицо ее было в тени, видны были только светлые, слегка распушенные на висках, забранные назад волосы. Лампа освещала белое широкое платье, загорелые руки, сизо вспыхивали камни в ромбе единственного перстня. Ноги дама подобрала, белые ее муаровые туфли чуть косо стояли на полу.

— Позволь, милая, тебе представить, — сказал хозяин и назвал его фамилию, имя и отчество.

— Очень рада... — дама протянула руку. — Много слышала о вас, и так... вообще, и вот он, — она дотронулась дру-

гой рукою до белого пиджачного рукава, — дружочек мой, мне все подробно всегда рассказывает... Очень, искренне рада видеть у нас. Чаю хотите?

— Ты, милая, ей-Богу, предлагаешь усталому мужчине чаю, словно в насмешку, — хозяин сел в кресло, потянулся к бутылкам на маленьком столике. — Водочки? Вот “смирнов” есть двадцать первый номер, найдется и наша, “столичная”... Впрочем, что это я? Знаю ведь, что вы шотландское предпочитаете. Простите великодушно, для русского человека, по-моему, странный вкус. Но... мы с вами и поколения разного и закалки. Прошу, вот есть, кажется, неплохой сорт, как его... а, вот, пожалуйста: Dimple. Любите? Ну, так и наливайте себе сами, хелп, как ваши друзья-то говорят, ёселф, а я за льдом... И бутербродцы вот, берите, берите...

Он глотнул, задержал воздух.

— Виски превосходный, — сказал он в тень от лампы, — я и не слышал прежде о таком. Благодарю... Простите... вы и ваш...

Дама подсказала:

— Друг. Ежели уж тридцать лет вместе, так иначе, чем друг, не назовешь. Прежде сказали бы — любовники, да на такой долгий век одной любви не хватило бы, выходит — друзья...

— Вы и ваш друг... Вы из первой волны, видимо? — он почувствовал, что и сам начинает говорить в их старомодном, таком прекрасном стиле. Ответил ему уже господин, как раз вернувшийся с хрустальной селедочницей, в которой скользили полые ледышки:

— Другой-то и посудыны не нашел, мы лед в напитках не жалуем... Из какой, из какой, вы говорите, волны? То есть... О нет, что вы, молодой человек, ни из какой мы не из волны! Правильно, милая? Мы сами, сами по себе... Да не о нас сейчас речь, это все позже, позже. Вы выпили? Ну и прекрасно, и еще налейте, и закусите. Хоть нерусское питье, а заесть-то по-нашему очень рекомендую. И я с вами... чистенькой и бутерброд.... А тебе вина?

Он налил и передал даме высокий бокал, красное вино вспыхнуло под светом лампы. Некоторое время все трое молчали, подносили ко рту выпивку и еду, глотали... Наконец хозяин поставил свою рюмку.

— Ну, червячка заморили, и ладно. Сигару?

— Я, если можно, сигарету, — он похлопал себя по карманам куртки, вытащил мятую голубую пачку «Ducados». Хозяин замахал руками:

— Что вы, дорогой мой, с ума сошли, простите, здесь эту вонь испанскую разводить? Здесь дама. Вот, если уж вам угодно, как обычно, крепких, пожалуйста, любимые ваши...

И протянул, взяв со столика, пачку «Ripсе», сам закурил длинную и тонкую сероватую сигару. Затянулись... Дама чуть отодвинулась от курильщиков, устроилась в уголке дивана, но лицо ее так и осталось в тени.

Все это было похоже на вечер где-нибудь в квартире старых мхатовских актеров — и мебель, и хозяева... Только по стенам не фотографии в ролях, а сплошь темные портреты, мундиры, декольте... Да пол не паркетный, а мраморный под ковром.

— Теперь можно и о делах, — сказал хозяин. С этими словами вместе с креслом передвинулся ближе к лампе, и он наконец смог рассмотреть это лицо как следует.

Хозяин был очень стар и худ, коричневые его щеки были впалы и покрыты частыми и глубокими морщинами, обтянутые темной кожей скулы сильно выдавались. Лысая, коричневая, словно полированная голова была обрамлена совершенно седыми, до короткой щетины подстриженными волосами, седые усы почти закрывали рот, свешиваясь над верхней губой — старый морж... Полотняный белый костюм сиял чистотой, но был сильно помят, зато белая рубашка выглажена идеально, кремовый в мелкий голубой квадратик шелковый галстук повязан туго, в нагрудном кармане пиджака — шелковый голубой платок. Ногу он положил на ногу, замшевая белая туфля едва заметно покачивалась.

— И поскольку времени у нас немного, утром вам надобно ехать, предисловия все и пояснения убедительнейшим образом прошу опустить, — продолжал хозяин. Заметив же выражение его лица, поспешил добавить: — И вопросы, не относящиеся до самого главного, тоже потом, потом! Давайте лучше сразу: что вас наиболее мучает в сей именно момент?

— Я хочу ее видеть, — сказал он.

При этих словах дама пошевелилась, сделав движение встать. Ее лицо впервые оказалось освещено, и он увидел

никак не старуху, а именно немолодую даму, блондинку — седина в таких волосах не видна, голубоглазую, нос чуть уточкой, лицо чуть широковато... В общем, обычный славянский тип... И при этом безусловная, очевидная красавица! Лет ей может быть и семьдесят... Что изумительно — ровный загар правильного золотого цвета.

— Я, пожалуй, пойду? — с некоторым сомнением спросила она как бы одновременно у обоих мужчин. — У вас, господа, разговор мужской..

— Ну что вы... — сказал он и был тут же поддержан хозяином:

— Ни в коем случае, милая! Если ты, понятное дело, не устала... Нам как раз женский ум и суждения могут очень даже понадобиться, чтобы все разрешить. Остайся, уж я тебя прошу! Итак...

— Я хочу ее видеть, — повторил он. — Я... я ее люблю. Я жить без нее не могу. Я обожаю ее. Я...

— Слова правильные, — негромко сказала дама, — все сходится.

— Ты думаешь? — так же негромко ответил ей хозяин. — Ну слава Богу. Я был уверен, но все же без тебя не решался... Простите, простите стариков, никак за жизнь между собой не наговоримся! Продолжайте, прошу вас.

— А мне, собственно, больше нечего сказать, — он почувствовал, что сейчас заплачет, и заплакал уже. Повернулся к столику, потянулся, налил светло-соломенного спасения почти до половины в стакан с толстым дном. Хозяин засуетился:

— И я, и я с вами... Своей, родной... С икоркой-то не осталось? Ладно, можно и свиной зажевать. Будьте здоровы, дорогой мой!

— Будьте здоровы! — дама потянулась своим бокалом тоже чокнуться. Оба делали вид, что слез его не видят, просто всем захотелось выпить.

— Мне нечего больше сказать, — упрямо, уже не вытирая слез, он смотрел на них. — И желать больше нечего. Я хочу ее видеть, быть с нею, вот и все. И у меня есть только два условия, через которые я не могу переступить даже... в общем, даже ради любви.

— Опять все правильно, — почти прошептала дама, но мужчины ее расслышали, — надеюсь, что и условия тоже...

— Уверен, — громко ответил ей хозяин. — Ну, молодой человек, не томите: какие же ваши два условия? Вдруг окажутся для меня непомерны — это будет огорчительно, весьма...

— Я не хочу причинять большого зла никому, кто не сделал зла мне, — сказал он. Подумал, добавил:

— И вообще... никому, если возможно. Если возможно... Я не святой, но не хочу...

— Второе? — коротко, без дополнительных вежливостей спросил хозяин.

— Я хочу остаться способным зарабатывать на жизнь, себе и ей. Если я стану... калекой, или совсем потеряю рассудок... тогда...

— Так, — крикнул хозяин. — Договорились-таки... Что это значит: потеряю рассудок? С какой стати?

— Ну что ты кричишь? — дама встала, подошла к гостю, как ребенка погладила его по голове. — Вы простите, что я с вами так, старухе можно... Что ты кричишь? Разве ты не понимаешь, почему у нашего гостя такие мысли? Зачем ты делаешь вид, будто не понимаешь, что именно может навести человека в его обстоятельствах на такие страхи?

— Ты права, — хозяин грустно, «домиком», поднял брови, — ты права... Значит, вы предполагаете, что сходите с ума?

— Уже сошел, — он усмехнулся. — С призраками воюю, преследования мерещатся... Сбежал от них, а они всюду... И потом... вы... как бы это сказать...

Тут оба, и хозяин, и его дама, рассмеялись. Хозяин смеялся неожиданно тонко, даже со взвизгиванием, дама же совершенно детским, звенящим смехом.

— Ох... — хозяин отдышался, вытащил из внутреннего кармана пиджака круглые очки в золотой оправе, надел, посмотрел на него пристально. — Ну, будем говорить в предложенном вами порядке. Призраки, преследования — это все в Москве, за это я отвечать не могу. Город такой... Может, и вправду было. Слышите? Не вы умом тронулись, господин ученый, а город ваш! Понятно? И шум в голове ни при

чем, это давление... Теперь относительно того, что они всюду... Где именно? Где вы их в последний раз видели?

— Да здесь же... — он от этого вопроса даже опешил. — В грузовике же... И Сашка Кравцов, и академики эти...

— Это служащие мои, — холодно и спокойно ответил хозяин. — У меня, видите ли, есть бизнес, дело по-нашему: грузовиками продовольствие по всей Европе вожу. Сегодня утром один как раз из рейса вернулся, ребята заехали ко мне по делам. Есть среди моих водителей люди и из бывших... ну, как бы выразиться?.. несчастных стран, поляки, чехи... Но именно русских, которых, увы, теперь немало бродяжничают в Европе, я не беру, у меня есть принцип. Не та Россия страна, чтобы граждане ее по миру слонялись да чем попало подрабатывали, не та! Так что насчет этих троих, которых вы встретили — ошибаетесь, уверяю вас. Да сейчас сами убедитесь... Паспорт при вас?

— У меня нет паспорта, — сказал он, — в этом и проблема.

— Что?! — удивился хозяин. — Да как же вам не стыдно? Вы что же, русский паспорт и за бумагу не считаете? Вы ж его не пропили, он небось в кармане этих порток негодных лежит?

Он сунул руку — и с восторгом и счастьем вытащил из заднего кармана собственный, темно-розовый, с давно закончившейся датской визой, забытый начисто...

— Дайте-ка, — хозяин протянул руку, а другой одновременно взял и потряс довольно большой медный колокольчик. Дверь отворилась, и появился Сашка Кравцов — хотя теперь это уже очевидно был не Сашка Кравцов, а просто несколько похожий на него парень, но явно местный, с маленькой серьгой в левом ухе и аккуратно подстриженными темными волосами. Одет он был в приличную лакею куртку. Хозяин сказал ему короткую фразу по-испански. Сашка поклонился и вышел. Через минуту дверь снова открылась и вошли Журавский с Плотниковым, оба в чистых теннисках, стали у порога.

— Вот, знакомьтесь, — обратился к ним хозяин по-русски, — этот господин должен завтра быть в Париже. Значит, вы, Мирек, — он протянул его паспорт Журавскому, и тут же обнаружилось, что никакой это не Журавский,

а типичный чех, ну, может, похожий на Журавского немного, — вы займитесь в этой бумажке визами. Чтобы была французская, «до сорти» на всякий случай, и чтобы с русскими датами было все в порядке... Инструменты у вас с собой?

— То праца, — буркнул Журавский, взял паспорт и вышел.

— А вы, Анджей, — продолжал хозяин, — сделайте вот что...

— Слухам пана, — сказал как бы Плотников и подошел на шаг.

— Вот что... Вы купите билет в Париж на завтра. Ну, конечно, первый класс, сами там разберетесь... Не на самый ранний рейс. А прямо с утра любым способом узнайте вот что: в каком отеле будут жить участники открывающейся завтра в Париже встречи ассоциации гуманитарных исследователей... Правильно? Да, ассоциации. И в этом же отеле, или, в крайнем случае, поблизости закажите нашему гостю номер. Да! Билет, конечно, тоже на его имя, паспорт возьмете у Мирека. Все.

— Моге запытаць пана? — спросил польский Плотников. Хозяин кивнул. Поляк-Плотников улыбнулся, достал трубку, не раскуривая, сунул ее в зубы, почмокал...

И вдруг глянул на гостя резко: — Чи ест пан задоволеный вшистким тераз? Мы в гувне, пан не в бялом, так з бялым сядзи...

Хозяин молчал, смотрел с интересом, Плотников ждал, дама привстала и сама налила себе вина, глотнула...

— Как вам сказать, Федор Владимирович... — он закурил, встал, оказался со старым негодяем лицом к лицу. — Если честно... В свое время вы были отличным мужиком, я и сам вас любил. А теперь... Вы мне безразличны, вы все. У меня своя жизнь, и завтра я к ней вернусь. А вы свою напоследок изгадили. Это грустно, и совсем я не радуюсь, радоваться тут нечему. Надеюсь только, что вам не удастся изгадить и общую нашу жизнь, может, люди спохватятся... И зачем вы в поляки подались? Это народ твердый, их вам не обдурить. Да, надеюсь, и нас тоже.

— Все, абсолютно все сходится, — сказала дама и, встав, поцеловала его...

Утром хозяин открыл гараж и сам вывел оттуда синий jaguar «sovereign». В десять они уже медленно плыли по дороге к аэропорту... В зале было абсолютно пусто, они присели к стойке выпить кофе. Дама попросила чаю — это наделало переполох...

— Паспорт у вас в кармане, билет тоже, — сказал хозяин. — Номер в отеле «Меридиан» заказан, и если все так, как сказал этот мошенник Анджей, вы будете с нею на одном этаже... О собаке не волнуйтесь: она, — усмехнулся в сторону дамы, — сама следит, такса ваша в порядке, даст Бог — свидитесь... Теперь вот еще что: деньги...

Он протестующе замотал головой.

— Да не перебивайте же меня! — остановил его хозяин. — В конце концов, я старше... Значит, деньги вашему Антонио — за билет до Барселоны и прочие мелочи — я послал. С Яном сложнее... Так получилось, что мне неизвестна его фамилия, это со мною в последнее время бывает, возраст... Но еще хуже, что неизвестен и его адрес... Паспорт вы посеяли. Что будем делать?

— Я могу сказать, в каком баре он сидит по вечерам чаще всего, там встречается вся их элита... — начал он, хозяин перебил:

— А, знаю, знаю. Ну и чудесно. Мы давно собирались в этот сумрачный город, походить по Христиании, повидать осевших там друзей... Я сам верну ему ваш долг.

— Но... — снова начал он, однако хозяин опять не дал ему продолжать.

— Вы все еще ничего не поняли? Меня считаете князем тьмы, романым героем, а даму небось воображаете передвигающейся на метле? Ох, начитались вы все известных книг... Ну хорошо, допустим — я оттуда. И что? Вы удовлетворяетесь таким объяснением?.. А на самом деле суть вот в чем: время — оно, должен вам сообщить, весьма и весьма запутанная вещь. И уж если мы, бедолаги и мученики, в него попали, то не след рассчитывать на плавное скольжение, время — это вам, голубчик мой, не уан вэй роад, как на нынешнем англизированном волапюке выражаются. Вполне оно может закрутить, и двинетесь вы по собственному следу... Впрочем... Ладно... У вас ее фотография есть?

— Конечно, — он достал бумажник, вытащил уже немного помятую цветную фотографию. — Вот...

На фотографии она смеялась.

— Теперь посмотрите на эту красавицу, — сказал хозяин и тяжело положил руку на загорелое плечо своей дамы. Дама была сегодня в очень открытой блузке, и оказалось, что еще вполне могла себе это позволить. Выглядела, тем не менее, грустной...

— Посмотрите внимательней, — настаивал хозяин. — Ну, все поняли? Нет? Тогда идемте со мной.

Они встали с высоких табуреток, хозяин потащил его за собой. Зеркало во всю стену над умывальниками отразило двоих мужчин.

— Ну, — сказал хозяин, — наконец сообразили? Так что эти деньги — не подарок, скорее наследство... И даже не совсем понятно, чье и кому...

Два лица, будто негатив и позитив одного снимка, положенные рядом, смотрели из зеркала...

Когда самолет, круто задирая нос, пошел вверх, он прижался к иллюминатору, и ему показалось, что он видит двух человек в белом. Они шли, две сплюсненные фигурки, а земля, по которой они ступали, отсюда, освещенная ярким солнцем, казалась красной.

Он развернул газету, «International Herald». На первой полосе было сообщение из Москвы. Не сразу поняв заголовок, он перечитал, перечитал еще раз, начал разбирать текст...

«В России не было власти почти год, теперь она будет, сказал новый премьер, вчера приступивший к обязанностям...»

Он глянул на дату номера — 13 июля.

«... основания для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, заявил новый премьер-министр, пришедший в политику из научных кругов, у нас есть. Достаточно сказать, что нам удалось вернуть в страну миллиарды, спрятанные партийной номенклатурой в зарубежных банках. Одно это позволит в ближайшее время снизить цены на основные продукты питания в среднем на тридцать процентов... По оценкам западных специалистов...»

Он снова посмотрел в иллюминатор. Летели уже совсем

высоко, но он почти разглядел плоскую синюю машину, плывущую по пустынной дороге.

Газета упала на пол, смялась, крупные строчки заголовка скрылись, и уж не понять было, о чем там речь, и есть ли там слово Russia.

Дождь лупил, как в Москве. Она порадовалась, что перед отъездом не было ни времени, ни настроения тщательно собираться, поехала, в чем ходила последнее время — в джинсах, в куртке, только юбку захватила для выступления да платье для коктейля, которое не понадобилось, маленький прием начался прямо в зале, после заседания никто не переодевался. Народ не столько пил и ел, сколько обсуждал последние события в России. Неожиданно центром внимания оказался Сашка Кравцов, на многих, надо отдать ему должное, языках объяснявший, что в Кремле наконец обосновались серьезные люди, с позитивной программой, не авантюристы, декларировавшие благие намерения и выпрашивавшие под эти декларации да свои сомнительные научные степени помощь от всего мира, а настоящие лидеры, возможно, кому-то они покажутся жестковатыми, но следует вспомнить, какими жесткими были руководители, начинавшие модернизацию в Южной Корее или на Тайване... Слушали с интересом, но смотрели с ужасом, особенно при упоминании о жесткости новых людей в Кремле.

Подошел изрядно поддавший Сережа Гречихин, симпатичный малый, попавший сюда явно по недоразумению и симпатии Федора Степаныча, делать ему было нечего, большую часть выступлений он не понимал с синхронным переводом так же, как и без, и откровенно снимал наушники: к статистике темы не имели отношения.

— Ну что, — сумрачно сказал он, — что, красавица? Говорила ты здорово... Только какой теперь во всем этом смысл? Хоть не возвращайся... Трогать-то сразу они не будут, но вспомнить — потом вспомнят, каждое такое слово зачтут. Да и мне мои справки и опросы отольются... Эх, японский бог! Насочинял все это один, извини, мудило пять лет назад, с тех пор и пошло — что ни год, то переворот. Как в Венесуэле какой-нибудь... Только хуже.

— Не расстраивайся, Сережа, — она положила руку бедняге на плечо, но Гречихин взглянул на нее с трезвым интересом, и она руку тут же сняла. — Не расстраивайся, чепуха все эти перевероты, обойдется...

Говорила не задумываясь, и вдруг сама вспомнила Москву накануне отлета, лозунги и призывы, вспомнила рабочих, сдиравших вывеску Института, рядом стояло уже приготовленное солидное черное с золотом стекло: «Российская Академия Структурных Проблем». Вспомнила тихое бешенство мужа: «Не успели... не успели... накрылся Мадрид, наверняка...»

— Извини, Сережа, — сказала она, — я, по-моему, перебрала. Вон что-то говорят насчет первого автобуса, который пойдет в гостиницу сейчас, ты не провожай, это ж не пешком, останься, тут все еще в разгаре...

И вышла под дождь. Блестел асфальт, лучились и отражались в лужах огни пронсящих, огибающих площадь машин, в темноте вырисовывался Дворец, парный тому, в котором они заседали. Два эти куба, словно отражаясь друг в друге, часовыми у официального входа, стояли по обе стороны верхней площадки огромной лестницы, спускавшейся к реке. Днем она видела, как по этой площадке носились парни на роликовых досках, это был настоящий цирк — доски переворачивались в воздухе, и парни снова вставали на них, и летели дальше, и прыгали со ступеньки на ступеньку, почти до самой реки, за которой сейчас плыла, взлетала в небо на клубящемся прожекторном свете, отталкиваясь всеми четырьмя расставленными лапами, башня.

Как он найдет, думала она, несясь в темном автобусе по мигающим сквозь дождь цветными огнями улицам, принимая в номере очень горячий душ, устраиваясь в широченной постели, как он найдет, не зная ни отеля, ни Дворца, как он доберется в Париж? Откуда у него здесь деньги, визы?.. Внезапно впервые задумалась: а что он вообще делает без нее? Про себя употребила самое простое и грубое: как обходится? Она знала свои муки и примерно могла себе представить его — они всегда совпадали, хотели одинаково... Какая-нибудь датчанка или немка — с его страстью к северному типу — уже наверняка нашлась.

Вместе со злостью окатило желание, постель стала жечь

сквозь ночную рубашку. Она сбросила легкое, но слишком теплое одеяло, потащила вторую подушку, устраиваясь поудобнее...

В дверь негромко постучали. Она замерла. Постучали снова. Она бросилась, чуть не расшиблась, опрокинув стул с одеждой.

За дверью тихо назвали ее имя. «Нет, — сказала она, — нет...» «Да, — ответил он, — да».

Когда она открыла, он произнес непонятную фразу: «Скотина Федя, не мог узнать, что здесь два «Меридиана», я три часа искал». Больше ничего не сказал...

Дождь шумел за окном, городские огни вспыхивали сквозь дождевые слезы. Она не успевала, не успевала за ним, и тянулась, тянулась, но он все время обгонял, и все начиналось снова, и наконец она успела, он сжал ее так, что дыхание кончилось, кончилось, все кончилось, кончилось, кончилось, и он остался лежать вниз лицом, а она еще выгибалась, ее выкручивало, она нечаянно дотронулась до его груди, под кожей вздрогнули мышцы, и он застонал, подброшенный ее прикосновением.

И снова, второй раз за этот месяц, услышал, как она плачет.

В первом часу они вышли из отеля, пошлепали под непрекращающимся дождем наугад. Этот город был для них, как «Остров сокровищ» для мальчишки — никогда не виденный, тысячу раз исхоженный по карте, такой изумительно достоверной перед текстом. Блокгауз... Дерево скелета... Оба были здесь впервые, деловые их путешествия, к счастью, оставили в стороне этот город — в стороне любви... Лил дождь, вставала в перспективе арка, за ней лежал необъятной ширины проспект, потом по его сторонам исчез асфальт, они шли по мокрому, подающемуся под ногой гравию. Справа, в проемах коротких улиц, возникала тьма, за ней снова городские огни — река, новый берег. По реке медленно двигалась баржа, на ней ярко горел свет, в окнах надстройки мелькали люди, донеслась музыка — там веселились. Они зашли в бар — немного просохнуть, он взял выпить: «ун скотч, силь ву пле, ун амаретто». Бар был пуст, только одна грустная пара сидела в углу: полный, рыхлый, лысоватый блондин и очень худой брюнет, с мелко завитой,

спускающейся на лопатки гривой. Лица у голубых были отчаянные — может, предстояла разлука, может, просто в их любви было слишком много проблем, как во всякой не совсем законной любви — блондин гладил руку любимого, потом наклонился, поцеловал у запястья...

От бара снова повернули к широчайшей улице, оказались на площади с иглой обелиска посередине, двинулись влево. Теперь шли обнявшись, по очереди держа над двумя безумными головами ее зонтик, он что-то рассказывал, она сначала перебивала, переспрашивала, потом отчаялась понять последовательность и связь, просто слушала, тихо дышала. Глядели по сторонам, постояли минуту перед мрачной, совершенно питерской колоннадой.

Неожиданно, через какие-то короткие пустые пассажи, заброшенные мусором, вышли к уныло освещенному огромному зданию, здесь мелькали человеческие фигуры, шла жизнь, они сообразили — вокзал, вошли... На табло светилась надпись: «Versaille». «Поедем, посмотрим на рассвете дворец, лестницу, на которой Д'Артаньян задел Порто́са, — предложил он, — а там видно будет...» Сели без билетов, не найдя мелочи для кассы. Вагон был пуст, свет в нем от этого казался особенно, бессмысленно ярким. Объявления были невнятные. Вдруг им показалось: «Версаль», они, повоевав с дверями, найдя, наконец, зеленую кнопку, от нажатия на которую створки разошлись, выскочили. Дождь...

Поезд ушел. Разобрали название станции — это был вовсе не Версаль, а какой-то Шавиль или что-то вроде того. Деваться было абсолютно некуда. «У меня совсем мокрые тапки, — сказала она, — может, попытаемся вернуться в город?»

Они остановились на перекрестке у станции, он прикуривал...

— Идем, маленькая, — сказал он. Безумие проходило, и прежде всего он начал бояться, что она заболит.

— Идем, милый, идем быстрее, — ответила она, уже дрожа, это не было простудой, скорее, это было страхом.

Потому что она уже знала, что все кончится, чувствовала, что после такой ночи ничего не может быть дальше, слишком близки они были, бредя по невероятному городу, слишком соединились, теперь их обязательно разнесет в разные стороны, и ничего с этим поделать нельзя.

На перекрестке, освещенном витриной табачной лавки, под дождем, глядя на смешную фигуру мучающегося бессонницей обывателя, появившуюся на балкончике выходящего фасадом на перекресток дома, она поняла, что вернется туда, в Москву, что, может, это их последняя ночь.

Потом я умру, подумала она, собственно, можно считать, что я уже умерла. И он тоже умер, хотя он, наверное, еще долго будет скитаться по этому странному миру, все больше становясь не похожим на того пятидесятилетнего мальчишку с Преображенки, к которому я бегала за любовью. Он уже не похож...

Русские улетали назавтра, дневным аэрофлотовским рейсом. Кравцов объявил, что ситуация в стране заставляет их делегацию немедленно вернуться.

Она сумела дать ему знать, и он успел поменять билет, достал на тот же день, только, конечно, на «Air France», через три часа после ее рейса. У него была совершенно сумасшедшая улыбка, когда он показывал ей свой паспорт, полный порядок с визами и датами. Он мог вернуться, он возвращается!

Она шла, не глядя по сторонам, Сережа Гречихин толкал тележку с их сумками. Впереди важно шагал Кравцов. Вдруг засуетился, кинулся: из-за барьерчика показались первые дождавшиеся багажа пассажиры из Москвы, ви ай пи, фест класс. Журавский двигался тяжело, летний его костюм был мят, пиджак распахнут, между концом галстука и пряжкой выпирал тяжелый живот. Плотников летел, сдерживая рядом с приятелем легкий свой шаг, шелковая куртка, фуляр на шее, издалека благоухающая трубка. Поганец Сашка кланялся, тряс руки, скалился, подмигивал: поздравляю, поздравляю, господа министры! С первым официальным визитом, Петрович, с нашей удачей, Федя...

Отодвинув его, Журавский направился к встречающим французам, рядом летел Плотников, вдруг остановился, вернулся к Кравцову, что-то сказал коротко — и поспешил здороваться с представителями местных властей...

Он сидел в белом пластиковом кресле, с чашкой остывшего кофе в руке, смотрел ей вслед. Он не видал ничего — ни суеты мерзавцев, ни внезапно, неведомо откуда появившихся смуглых, плохо бритых молодых людей в коже, как

всегда, среди которых один, с полным ртом золотых зубов, нес в руке мотоциклетный шлем и немного прихрамывал — он ничего не видел, только ее, уходящую, пропадающую за чужими спинами.

Ничего, думал он, завтра мы оба уже будем в Москве, все устроится, обойдется... В своем городе я всегда выгребу, выплыву...

В баре беззвучно работал телевизор, шли всемирные новости CNN, по экрану двигалась огромная демонстрация, она выползала с Красной площади, над ней колыхались гигантские флаги. Вперемежку с флагами качались портреты, уже почти забытые монстры и уроды...

И призывы — бей, бей, бей!..

Ничего, думал он, ничего, выживем. Теперь хотя бы ясно, как придется выживать.

Когда он пошел к регистрации, на ходу вынимая из кармана длинный конвертик с билетом, толпа вдруг налетела, закрутила его: шла какая-то шумная немецкая группа. В этой толпе к нему прижался один кожаный молодец, другой, а третий, золотозубый, толкнул его так, что конвертик с билетом вылетел, упал на пол — впрочем, тут же извинился, пардон, месье, и даже наклонился поднять, их руки соприкоснулись, золотозубый тут посмотрел ему в глаза и усмехнулся, оскалился: ну вот, фраер теплый, мы и сочлись...

Девушка на регистрации посмотрела в его билет и с милой улыбкой переадресовала к другой стойке. Здесь еще раз улыбнулась та же — или такая же? — девушка, дала посадочный, он отправился по прозрачным трубам, положим эскалаторам и коротким лестницам в самолет. Сосед, едва он присел, чудовищно быстро и с непонятым акцентом заговорил по-английски. Не кажется ли джентльмену, что он слишком легко одет? Там, куда они летят, сейчас зима... Сам попутчик выглядел как чучело: в короткой дубленой куртке и широкополой, вроде ковбойской, но с перышком, шляпе. Он усмехнулся — все здесь считают, что в России вечная зима... Пилот представился по трансляции и еще что-то долго говорил.

Самолет уже набрал высоту, показали, как обращаться со спасательным жилетом — стюард показывал жестами, текст по-французски и английски транслировали по радио.

Разнесли обед — или ужин? Опустили экран, погасили свет, начали показывать совершенно идиотскую комедию.

Вдруг до него дошло. «Куда мы летим, — спросил он соседа, — увэа ви а флаинг?» «Острэлиа, — захохотал сосед, — дис ис гуд джок, е квесшен, ю хэв э гуд сенс оф хьюмор. Острэлиа, даун андер, бадди...»

И тогда он наконец потерял сознание.

Сосед снял шляпу, вытер пот со лба, раскурил трубку. Седые кудри, веселые глаза, скорбные скульптурные складки у рта...

Дурачок, думал Плотников, он считал, что мы такие же. Нет уж, мы и он всегда были и будем разными. Другое дело, кто в конце окажется в выигрыше? Но тут уж ничего не поделаешь: каждый есть только тот, кем он может быть.

Стюард уже бежал со льдом.

— Когда придет в себя, — сказал седой, — дайте ему виски. Без воды. Я его хорошо знаю, этого парня. У него чудесное чувство юмора, просто он немного устал.

В Сингапуре седой господин вышел, побродил по бесконечным стеклянным садам, холлам и магазинам аэропорта — и как-то получилось, что опоздал на свой самолет... Служащая в мундирчике, с дощечкой в руке, на которой был написан номер рейса, собиравшая пассажиров по всему необозримому аэропортовскому пространству, до седого шутника не добралась...

А спустя два часа седой человек в австралийской шляпе вылетел обратно, в Европу. Через Москву.

Тот же, о ком он заботился в самолете, в Мельбурне сошел нетвердым шагом — и был тут же задержан иммиграционным офицером за попытку незаконного проникновения в страну, однако уладилось и это — как улаживались с некоторых пор все его неприятности.

Дул сильный ветер, и в аэропортовском шопе он купил пальто — и уж потом вышел, прикурив в дверях, чтобы не задуло огонь.

Я вернулся в комнату. Дверь закрылась с негромким щелчком, но металлическая ручка не стукнула, я придержал ее. Что же это такое, соображал я, что же заставляет

людей брести под дождем, в маленьком, неизвестном им городе, в чужой стране, что же мучает, корежит их жизнь, и нет ли способа избежать этого наказания?..

Включив свет, я принялся снова перебирать прочитанные вечером бумаги: старая русская дама, жившая в этом доме, умерла, остались письма, фотографии, кое-что из них уже опубликовала «Русская мысль»... Ночник светил, казалось, слишком ярко — так всегда светит поздно горящая лампа. Снова и снова я перечитывал две короткие записки...

Больше полувека назад была дама молодой, на весь — не только эмигрантский — Париж известной красавицей, и увлекся ею живший тогда здесь и уже к этому времени испытавший мировую славу немолодой господин, тоже русский. Писал, посылал «пневматички», была тогда такая почта в этом городе, звонил, ждал в кафе, а красавица не приходила, не отвечала на звонки — сказывалась занятой... И ничего не вышло, романа не получилось. Впрочем, господин бывал женщинами увлечен часто, так что если бы и получился, то, скорее, рассказ, а не роман.

И умер господин, и дама, много спустя, умерла. Идет время, темнеют тайные складки тела, утоньшается кожа, исчезают люди, с которыми провел годы, хотя многие еще живы, кончается жизнь, а еще раньше кончается страсть любить. Продлить ее можно лишь ценой мук, скитаний в непогоду, мучая себя и других, сокращая жизнь так, чтобы стала она короче любви. Но кто знает, может, самое горькое горе — подрубить страсть, сразу лишить ее сил, которые прибывают от любовных встреч и быстро иссякают от встреч случайных... Страсть иссохнет, и все соки ее, иссохшей, останутся жизни, и жизнь будет длиться еще долго, долго — чтобы долго вспоминалась давно мертвая страсть.

Кто ж выигрывает, размышлял и прикидывал я, складывая письма, испещренные твердым знаком, похожим на мужественный знак Марса, и фотографии откинувшейся в кресле, нога на ногу, узкоплечей блондинки с волосами, зачесанными надо лбом валиком — по последней предвоенной моде... Да и выигрывает ли кто-нибудь?

Или, может, иных награждает Господь равно с жизнью длящейся страстью... Но если возможна такая награда, то чем я могу заслужить ее, чем?!

Красная, словно из старого кирпича, земля истерзала ноги. Идти по этому камню было невозможно, шаг отдавался ударом, к тому же городская, низкая и нетуго сидящая туфля на трещинах выворачивалась, приходилось напрягать и щиколотку, и пальцы, от этого усталость накапливалась много быстрее, чем от самой ходьбы.

Он представил себе: ночью, под нелепым светом звезд, каких никто никогда не видел в нормальной жизни, по каменной пустыне идет человек в тяжелом и длинном пальто, в длинном шарфе, болтающемся и закидываемом ветром, пот течет по лицу человека, стекает под уже грязный воротник рубахи, пятнает и без того быстро засалившийся узел яркого, но потемневшего шелкового галстука, и шляпа уже тоже пропотела по краю ленты, потные пятна выползли на поля — он идет, распахиваются и хлопают по коленям полы пальто, тяжелое, шумное, нездоровьем пахнущее дыхание вырывается изо рта, обжигая ссохшиеся, сморщившиеся губы.

Боже, подумал он, у меня нет сил убить себя — убей же меня Ты, неожиданно, внезапно и сразу, я уже готов считать такую смерть истинным счастьем, мне уже неважно и неинтересно, что будет наутро. Пошли мне смерть, Боже, думал он, не заставляй меня делать выбор, лиши меня выбора, Боже милосердный. Все равно это уже не будет жизнью, то, что наступает теперь...

Становилось все светлее, из-за горизонта поднимался сизый свет, он поднимался все выше и наконец оторвался от края земли, а край этот стал неровным, будто щербатый, гнилой, полувывломанный оскал. Он понял, что это город, и что теперь он уже дойдет — даже если сделать добавку на ровную пустыню, то оставалось не больше десяти миль.

Телефонная будка стояла на первом же углу. В ней горели яркие лампы, прекрасный, новой модели телефон-автомат сиял разноцветным металлом и пластмассой, сверкали обложки телефонных книг, толстые тома которых в ряд висели на специальных штырях. А невысокие, двух- и трехэтажные дома, уходившие от перекрестка в четыре сто-

роны, были черны, и некоторые темные окна к тому же закрыты ставнями.

Он сунул в щель сразу три пятидолларовые монеты. Это было настоящее счастье — новый автомат, принимающий не только карточки, но и монеты. Услышав гудок, он нажал кнопку оператора. Плиз, хелп ми, сказал он, ай вонт колл ту Раша, ту Москоу. Тэнк ю.

Он ждал, пока в трубке сменяли друг друга гудки разного тона, что-то со щелчком переключилось, что-то пропело, опять раздались гудки — и после молчания он услышал голос.

— Здравствуй, — сказал он, — это я. Да, я звоню тебе отсюда. У меня не очень много монет, и сейчас ночь, да и днем мне их неоткуда будет взять, дело не в том, что нет размена. У меня осталось ровно сто долларов пятидолларовыми монетами, и я их все прозвоню, и не спорь со мной по телефону — у нас мало времени и, кроме того, на таком расстоянии невозможно спорить, слишком долго идет сигнал, между словами надо делать полусекундные паузы. Поэтому выслушай меня наконец.

Теперь уже пора рассказать тебе все. Очень легко признаваться через океан, через пустыню, через много пустынь, и лес, и мелкие города, и пустыни, и реки, и опять пустыни. Знаешь, я совсем не помню географию, но уверен — больше всего на земле пустынь. Там, в Москве, вся земля представлялась мне городом, и где бы я ни был, я получал этому подтверждения, потому что и Париж, и Лондон, и райцентр в Заволжье равно доказывали, что существует только Москва, слякоть на входе в метро, смрад незнакомых людей и плохого бензина, запах жизни. Но здесь я понял, что это было заблуждение, глупое сладостное обольщение, уют от настольной лампы и теплых, журчащих батарей в дождливый вечер — а правда заключается в том, что все есть пустыня. Пожалуйста, не перебивай меня, потому что уже третий пятидолларовый кружок провалился, и их осталось всего семнадцать.

Я расскажу тебе о человеке, которого ты любила довольно долго и думала, что успела узнать о нем многое.

Сначала я выдавал себя за доброго, очень, удивительно доброго. У меня это получается лучше всего — такой взгляд,

едва заметная улыбка, только чуть-чуть, в уголках глаз, сочувствие, готовность бежать, ждать, слушать, помогать. Это совсем не трудно. Ну, например, ты болела, я доставал лекарства, будто из-под земли, и когда ты удивлялась и восхищалась — как тебе удалось?! — я молчал, улыбался, морща уголки глаз и наконец называл имя дальнего, почти случайного знакомца, и ты изумлялась, сколько же я смог перебрать вариантов, чтобы в конце концов натолкнуться на этот! Но я-то знал, что был всего один звонок, потому что парень известен именно своими возможностями по части аптек, один звонок и деньги, довольно много, но ничто в те времена для меня.

Ладно, это чепуха.

Я вообще играл в очень щедрого, и действительно тратил, и тратил, и тратил — но и это была ложь, потому что я тогда как раз стал сравнительно богат, сравнительно, например, с тобою, и траты эти были ничтожны, но и их я считал, всегда зная, сколько потрачено, и ублажал себя этой щедростью скупого.

Потом ты разобралась, но было уже поздно — я проник в тебя.

Кроме того, ты считала меня умным, хорошо — пусть без должной системы — образованным и вполне интеллектуальным, загорающим от твоей мысли, как спичка от спички. Бедная, бедная простушка! Не буду вдаваться, скажу только, что необразован я фантастически, и если б знала ты, что все, почти абсолютно все, о чем я с тобой спорил часами, мне было известно лишь понаслышке! Что правда — то правда: схватывал всегда легко, но это не ум, а лишь актерская восприимчивость, сообразительность, обезьянья имитация.

Пожалуй, это и есть мой единственный талант, это — а совсем не то, что ты принимала за истинный дар, назначение, миссию. У меня нет миссии, и даже в том, что, вроде бы, было настоящим — в жизненных удовольствиях, во вкусе к выпивке и табаку, одежде и красивым игрушкам — даже в этом был я лишь тенью, подобием, но, на несчастье свое, ты не знала оригиналов.

Впрочем, осталось только двенадцать монет, я перейду к делу.

Наверное, не очень убедительно и, безусловно, на совершенно пустяковых примерах я попытался объяснить тебе, кто я. Теперь я вижу, что объяснить это не удастся: ты либо не поверишь в мои откровения, либо не придашь им значения. Ведь многое из того, что я тебе сейчас говорю, ты знала и сама, давно о многом догадывалась, даже посмеивалась кое над чем, а кое из-за чего ссорилась со мною, но все-таки всерьез не задумывалась. Иначе тебе пришлось бы самой сделать вывод, что ты годами любила ничтожество, а сделать такой вывод самой почти невозможно, почти так же невозможно, как признать нечто подобное о себе. Мне жаль тебя, и я сделаю этот вывод сам и сейчас сообщу тебе.

Слушай.

Я — самозванец.

Составь представление, что именно может означать для тебя это слово. И совмести теперь это представление с тем человеком, который однажды привел тебя в комнату с дрянным раскладным диваном и ждал, пока ты раздевалась в ванной, переступая там по ледяному кафелю босыми ногами. Знаешь, почему он был еще в плавках, когда ты вернулась, набросив рубаху, из-под края которой, из-под отошедшей чуть в сторону полы, тенью проступили русые, почти не скрученные в кольца волосы, знаешь, почему? Он точно знал, что так, в плавках — привлекательнее, красивей, и успел об этом подумать, и принял точную позу, чуть расставив ноги и сложив на груди руки, чтобы поднатянулись мышцы, и не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы ты чувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была, но и ее он умудрился одеть в самозванство.

Я всегда, каждую секунду жизни был самозванцем, обманщиком, лжеперсоной. Те, кто знал меня долго, постепенно начинали замечать вылезавшее то тут, то там из-под рясы книжника, из-под камзола кавалера, из-под потной рубахи труженика настоящее обличье — маленького вруна, трусливого, жадного и безразличного ко всему, кроме собственного восхождения к успеху. Наконец заметила это и ты. К тому времени я уже успел потешить тобою и жадность свою, и тщеславие. Я получил тебя для жадности и — для тщеславия — постоянно напоминал себе, кого именно я получил.

Но ты заметила, заметила! И то, что я признаюсь тебе сейчас — это вынужденная честность, я понял, что ты не можешь больше делать вид, будто не догадалась, а я — будто не догадался, что догадалась ты...

Все, хватит.

Знаешь, в пустыне самое интересное — это ее пустота. Здесь ничего нет, понимаешь, совершенно ничего. И я понял, что это самое подходящее для меня место. Нечего пожелать, нечего захватить, присвоить, и некому это показать, разве что себе самому, но что? Километры красного камня, потрескавшегося, как старый кирпич? Не моя эстетика, и не нужно мне этого.

Я достиг Рая. Здесь ничто не вызывает моего желания, в пустыне я чист. Если б ты могла сейчас увидеть меня, подойти ко мне — грязному, отвратительно пахнущему, покрытому пыльными пятнами экземы! Это было бы последнее, неосуществимое счастье: я выдал бы себя за праведного, сыграл бы последнюю несыгранную роль и, вместе с тобою, восхитился бы ею. Но свидетелься невозможно, к тому же у меня осталось всего сорок долларов, и этого хватит только, чтобы попрощаться...

Он взял выложенные в ряд на полочку монеты и начал заряжать ими телефон.

В тот же миг возник и стал быстро приближаться со стороны пустыни гул. Он не успел даже прислушаться и понять, что это шум мотора — машина ворвалась на перекресток, это был темно-синий jaguar «sovereign», фары подожгли воздух, дома засверкали чернотой, свет в телефонной кабине поблек в этом электрическом огне.

— Але, — закричал он в трубку, — але! Ты слышишь меня?

Но там уже была тишина. Автомобиль стоял, остывал после дальней дороги, оседал, фары погасли... Он взял оставшиеся деньги и вышел.

Она с некоторым усилием открыла дверь и выбралась из-за руля. Почему-то на ней тоже была шляпа — широкополая, в которой она перестала ходить давным-давно. Узкие джинсы были заправлены в высокие сапоги, широкая рубашка — кажется, его старая — была надета навыпуск и туго перетянута ремнем.

Я все-таки простудилась, шляясь с тобой по лужам, да еще в этой машине, сказала она, было жарко, я открывала окно... А думаешь, я в этой пустыне чувствовал себя хорошо, сказал он ворчливо, ненавистным ей капризным голосом. Ну вот, сказала она, как всегда, начал считаться. Я не считаюсь, сказал он, сейчас не до этого, но я должен тебе повторить, ты уж извини: у меня действительно осталось всего сорок долларов, теперь даже меньше... А без долларов ты, конечно, не можешь, сказала она. Ладно, хватит, сказал он, пошли. Что здесь топтаться? Вечно мы отираемся на перекрестках. Идем, идем. Скоро начнет светать, а светает здесь резко, и мы не успеем смыться из города, будут дикие неприятности: ведь мы оба здесь незаконно. Мы везде незаконно, возразила она.

* * *

Они отошли километра на три в пустыню и остановились привести себя в порядок.

Он небрежно вытащил из кармана тридцать долларов — шесть монет все же осталось — и немедленно заказал комнату на сутки. Комната, конечно, была скромненькая, но в ванной было тепло, чуть слышно гудела лампа над зеркалом.

Она сразу же позвонила домой, чтобы все было спокойно.

Он занял пока ванную, быстро умылся. Бритвы с собой не было, но щетина очень шла к его нынешнему общему стилю — длинное пальто он вычистит и теперь наденет прямо поверх рубахи с шикарным шелковым галстуком, в этом сезоне так ходят.

Она выгнала его из ванной, мгновенно вымылась, молниеносно постирала и его белье, и свое, развесила на крючках для полотенец, накрутила трусы на горячую хромированную трубу и вышла в рубахе, из-под края которой проступила тень русских, почти не скрученных в кольца волос.

Он стал посередине комнаты в плавках, чуть расставив ноги и сложив на груди руки, чтобы поднатянулись мышцы, и не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы она чувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была.

В следующий раз я тебя застукаю на горячем, сказал он. Будешь, предположим, думать обо мне, или просто вспомнишь лицо, а я тут как тут. Приземлюсь, допустим, в популярном самолете “Сессна” на ни в чем не повинную крышу твоей девятиэтажки, посрамив в очередной раз отечественную пэвзо, и прерву тебя на самом откровенном месте... Хватит тебе болтать, болтун, сказала она, ты что, не можешь остановиться? Выдумал тоже: самозванец... Нашел-таки, чем гордиться. А я кто? Все мы — самозванцы, но на любовь это не распространяется. И хватит уже спорить, займись лучше делом!

Перемирие до утра, сказал он, согласен.

Потом они заснули рядом, она крепко прижалась к нему спиной, так что они вписались, вложились друг в друга, словно привычные, старые супруги, но через час, когда он открыл глаза, она спала, как обычно, глубоко спрятав лицо в подушку.

И это еще не самое последнее счастье, подумал он, она еще проснется.

Он протянул руку, чтобы на ощупь налить. Рука ткнулась в мускулистое маленькое тело, собака тихонько вздохнула.

Так теперь и будем путешествовать все вместе, подумал он. Переживем всех хитрецов, все власти — будем жить тяжело, охая и стеная, радуясь ерунде, стремясь быть красивыми и легкомысленными вопреки истинному, безобразному и серьезному лику страсти — и успеем стать старыми, высохшими, легкими, а страсть сохранится уже сама по себе, не в нас, а рядом с нами, вокруг нас, как общий покров.

Будем жить долго, подумал он, любви хватит.

Март — май 1992

Кабаков Александр Абрамович
ПОХОЖДЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
В МОСКВЕ И ДРУГИХ
НЕВЕРОЯТНЫХ МЕСТАХ

Редактор А.С.Захаренко
Выпускающий редактор М.В.Писарева
Художественный редактор Т.Н.Костерина
Корректор А.Ю.Мажугин

Подписано в печать 20.06.93. Формат издания 60×84/₁₆. Гарнитура Датч.
Тираж 75 000 экз. (1-ый завод 1-25 000 экз.) Изд. № 25. Заказ № 3930

Издательство „ВАГРИУС“
129110, Москва, а/я 987

Отпечатано с готовых диапозитивов в Российском государственном
информационно-издательском центре „Республика“.
Полиграфическая фирма „Красный пролетарий“.
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.